

МАРАФОН

(РОМАН)

Ложь! Время ран не излечивает. Тысячью повседневных забот, радостей и неожиданностей оно, может, оттесняет куда-то в темный уголок души твои обиды и горе и иногда предает забвению.., но не излечивает, не в силах излечить. Достаточно малейшего повода, знакомого лица, имени, сходства, мимолетного взгляда, чтобы... А чаще всего и повод не нужен, ничего не нужно, просто невозможно забыть, невозможно убежать... Воспоминания преследуют тебя, они с тобой, в тебе. Душа – не простой архив, она может все вынести, выкристаллизовать, спрятать. Но ты больше не сможешь оставаться прежним, вместе с прошлым ты уже несешь в себе и то новое, уйти, оторваться от которого тебе не дано.

Я тоже долго пытался забыть некоторые лица, некоторые события. Порой, когда мне бывает очень весело, вдруг приходит мысль, что все уже забыто, но именно она и будит воспоминания, и я всегда ощущаю где-то в груди тупую боль.

И, удивительное дело, в такие минуты мне всегда кажется, что Нанар снова, как очень-очень давно, пальцем приподнимает мне кончик носа и тихонько шепчет:

- Ну, ну! Улыбнись!.

СТАРАЯ БОЛЬ И ТОСКА

Эту улицу я знаю наизусть. И ничего удивительного. Уже более двадцати лет я хожу по ней. Точнее, сперва меня носили на руках, потом стали спускать на ножки, чтоб посмотреть, научился ли я ходить. И я, действительно, отлично ходил, крепко сжимая сперва руку мамы, а затем – сестры. А еще позже решили, видно, что я могу ходить и сам, и больше не следили за мной. Так я начал свой путь из мира в дом и из дома в мир. Мир в то время был для меня довольно велик: была в нем и школа, и маленькая зеленая площадь; был в нем и удивительный магазин детских игрушек, и Дворец пионеров. А во Дворце пионеров ставили “Давида Копперфильда” и “Ярость”, на которых нас учили быть стойкими и смелыми. Я тоже очень хотел быть смелым и стойким, но, увы, спектакли кончались поздно. И я, громко декламируя и угрожая про себя невидимым разбойникам и фашистам, мчался, охваченный безотчетным страхом, по пустынной и темной улице имени Богдана Кнунянца.

Это улицу я знаю наизусть. Часто, проводив Нанар, я пытаюсь пройти ночью от трамвайной линии до стадиона с закрытыми глазами. И уж поверьте, всего три-четыре раза открываю глаза. Безошибочно определяю даже, когда кончится отрезок тротуара и мимо чьего дома я иду. Особенно весной. Вот доносится шум воды. Значит, близок Гедар. Над моей головой глухой шелест. Все ясно – это тополя азербайджанца Рашида. А здесь меня охватывает аромат цветущего абрикоса. В этом саду живет очень грустная и очень красивая девочка. У нее белое-белое лицо и... глаза тоже белые. Будто пыльца с цветков абрикоса осела на них и осталась навсегда. Слепая... А это дом доктора; только у него одного в садике растут такие розы, темно-красные и белоснежные. Чудо – какие розы... Ну, а отсюда до нашего дома всего несколько шагов – осталось пройти маленький садик полисца Тиграна-ахпара...

Но сейчас я иду не домой, а из дому. И хотя уже поздно и на улице попадаются лишь редкие прохожие, я не имею права закрывать глаза. Я еду на велосипеде. И не еду, а мчусь. Весь пригнулся к велосипеду, ветер раздувает блузу, гудящую как парашют. Опоздал. Нанар ждет меня на Круговой, под часами.

Удивительная девушка Нанар, такая удивительная, что иногда я в шутку называю ее “Хонар”, что означает “смирная”. Другие девушки нарочно опаздывают на свидание, а она – нет! Приходит точно вовремя и, если я вдруг задержусь, ждет и даже не жалуется, встречает так, будто ничего не случилось. Поэтому я всячески стараюсь не опаздывать, не хочу, чтобы она стояла одна на Круговой под часами. А ведь когда мы впервые встретились у моего друга Саро и я узнал, что она актриса, не осмелился даже заговорить. Не знаю почему, я всегда относился к актерам с опаской. Мне казалось, что они очень умны, высокомерны и избалованы. Вот почему, когда сестра Саро предложила мне сесть за столом рядом с Нанар, я выскочил из комнаты, якобы позвонить, и битых четверть часа сжимал в руке трубку, лихорадочно вертя диск телефона. Уверенность вернулась ко мне лишь когда Саро, предложив тост за Нанар, сказал, что

она несколько месяцев назад окончила театральное училище и теперь работает в кукольном театре.

Вот оно что!.. В кукольном. А я-то чуть не удрал. Нет, можно спокойно заговорить, я ведь, в конце концов, студент четвертого курса университета!

Впрочем, и после этого я долго не мог придумать повода заговорить с ней. Почему-то мне казалось, что я скажу что-нибудь ужасно глупое. Хотелось вести себя раскованно и непринужденно. Задать очень умный вопрос. После долгого раздумья я его задал. И это оказался самый идиотский и нескромный вопрос из всех возможных:

- А почему вы не работаете в театре имени Сундукяна?

Не дожидаясь ответа, я со стыда потупился. Лицо мое пылало. Я клял и себя и невесть кем придуманные законы этикета, заставляющие людей обязательно беседовать с соседями по столу.

И вдруг Нанар заговорила. В ее голосе не было ни обиды, ни издевки.

- Комиссия решила, что у меня не сценичная внешность, - она замолчала, а потом тихо добавила, - тем лучше. Я очень люблю кукол.

Я посмотрел на нее и в душе полностью согласился тогда с комиссией. Действительно, какую героиню могла сыграть она с ее тонкой фигуркой и худенькими, почти прозрачными руками.

Да, тогда... А сейчас я думаю, что жестоко ошибались и комиссия и я...

У Нанар прекрасная сценичная внешность и данные настоящей актрисы. И совсем не обязательно, чтобы на сцене все были исполинами, вроде Айкануш. Куклы моей Нанар играют получше многих актрис с мощными торсами. – Сценичная внешность!..

- Нанар!..

Она удивленно смотрит то на мой велосипед, то на мои спортивные доспехи.

- Ты никак на соревнования приехал? – смеется она.

Я прошу извинения и объясняю все. Так бы не получилось, если б не заболел секретарь нашего райкома Месроп. Это он должен был присутствовать на комсомольском собрании в медицинском институте, а послали меня. В воскресный-то день!

Собрание кончилось очень поздно, и пока я дошел до дому, было уже восемь. Вот и решил приехать на велосипеде.

Нанар держит руль велосипеда и продолжает хохотать.

- И ты, автор нашумевшего сегодня на весь Ереван фельетона, катаешься по городу на велосипеде? Вот разочаруются читатели, если узнают, что ты и есть тот самый А. Левонян.

Я тоже смеюсь. А потом мы идем к парку имени Гукасяна: Нанар по краю тротуара, а я по мостовой.

- Нанар, - говорю я, - скажи честно, фельетон действительно хороший? Тебе понравился?

- Очень, - отвечает она, - знаешь, повсюду говорят об этом. Оказывается, в нашем городе все знают этого Везирияна. Во время войны он распределял ордера на одежду. Утром еду в трамвае на рынок и вдруг слышу – двое мужчин передо мной беседуют: “Кто бы мог подумать! – говорит один, - такой уважаемый человек, орденоносец, с председателем горсовета на “ты”. “А я побольше знаю. – отвечает второй, - в этом фельетоне и десятой доли всего не сказано. Удивляюсь только, как это осмелились на него фельетон тиснуть. Вы знаете, он близкий друг самого... (да так тихо прошептал фамилию, что я не расслышала). Видимо, или поссорились, или...”. “А кто этот Левонян? По всему видно, очень хорошо знает Везирияна”. “Впервые встречаю эту фамилию. Я лично думаю, что это фельетонист Сарьян, просто счел нужным выступить под псевдонимом”. Представляешь себе, Артак, я чуть не лопнула от злости. “Дяденька, - говорю, - вы ошибаетесь. Левонян еще совсем молод, еще университета не окончил...” Хорошо, трамвай остановился, а то выскочила бы на ходу. Из-за тебя пришлось до медицинского пешком топтать...

Нанар ловит мою руку. Пальцы у нее теплые, чуть влажные. Я наклоняюсь, будто проверяю колесо, и тайком целую ее руку.

- Представляю, сколько тебя поздравляли...

- Нет, какие поздравления? Говорю всем, что я автор, но никто не верит. Клянусь – все равно не верят! Некоторым пришлось даже наизусть прочесть.

Нанар смеется. Голос у нее тихий, грудной. И, когда смеется, то не откидывает голову, как другие, а опускает, будто стесняется своего смеха.

И удивительное дело, мне всегда кажется, что только я слышу ее смех, что она смеется только для меня одного. Может, оттого, что и во мне достаточно сомнений.

Мы входим в парк и под мерный тихий шелест нашего спутника велосипеда направляемся к нашей скамейке. И, о ужас, она занята! Какие-то злые, бессердечные люди, точнее, какие-то юноша и девушка уже заняли ее. Да и уселись прямо посередине так безмятежно, будто она их собственность! Из дому принесли! Увидели нас и сразу стали говорить о Гегеле. За дураков принимают. Знаем мы этого Гегеля!

- Давай подойдем, извинимся и сядем рядом, - свирепо предлагаю я. Предлагаю, хоть и знаю, что не подойду. И Нанар отлично знает, что говорю просто так, но все же берет меня за руку.

- Нет, - говорит она, - вспомни, каково нам, когда подходят другие. Давай лучше поищем другую скамейку.

Другую скамейку!.. Легко сказать! Другие-то либо заняты, либо так освещены, что можно читать газету. И кто это изобрел электричество?! То есть не электричество, конечно, а развешивание фонарей в парках. Продолжая ругаться про себя, я веду Нанар к скамейке, не уступающей по освещенности любой эстраде. Но не удерживаюсь и, обернувшись, бросаю парочке, оккупировавшей нашу заветную затемненную скамейку: "Привет от Фейербаха!"

А они тихонько заливаются нам вслед, проклятые! Что поделаешь, придется найти другое занятие...

- Что ты сегодня взяла с собой? – спрашиваю я.

У Нанар с собой всегда какая-нибудь книга в маленькой, протертой по бокам, сумке: или Терьян, или Исаакян, или Туманян, а из прозы чаще всего Горький или Зорьян. Смотря по настроению. Я очень люблю, когда она читает вслух. Как-то по особенному читает Нанар.

- Вртанеса Папазяна, - говорит Нанар.

- "Гибель восставшего" – прошу я.

Нанар читает тихим и мягким голосом, а я слышу шум леса. Я в жизни не видел настоящего леса. Может, оттого, что уж слишком сильно запечатлелся во мне лес Папазяна. Я представляю его таким, каким описал Папазян; вижу лес с огромными дубами и дремучими болотами, где много пиявок, и все опутано плющом и где все довольны и ни к чему не стремятся. И из этого болота встает, подымается ввысь, к солнцу, гордое одинокое дерево. Не знаю почему, вспоминаю старшего брата – может, потому, что он тоже был высоким. А может и потому, что всегда представлял его в вышине и всегда думал, что он вернется откуда-то оттуда, сверху.

Он был летчиком, мой брат. Последнее письмо мы получили в сорок четвертом из какого-то городка Кедайний. Написано оно было красными чернилами. На снимках у него густые черные волосы, но я никак не могу их вспомнить. Я всегда вижу его с остриженной головой, вижу и других остриженных ребят, с которыми он сидел в нашей комнате и впервые в жизни пил вино при отце. Мать, вся в слезах, носила из кухни какую-то снедь, а потом укладывала в большой фанерный чемодан всю теплую одежду отца и брата и шерстяные носки. Отец сидел поодаль, в углу, курил и тяжело вздыхал, глядя в окно неподвижными, невидящими глазами. А Мелик и его друзья пели:

Я по улицам бродил,

Все тебя не находил...

Я стоял рядом с Меликом и все пытался понять, о чем они говорят. С ними сидел Бабкен, мой средний брат. Он был мрачен и смотрел на Мелика с завистью. Три года... Только через три

года он сможет вот так же собраться с друзьями, курить и пить при отце и петь “Я по улице бродил...”

А я, я был самым счастливым человеком на земле. Ура! Мелик идет в армию, ему прицепят на лоб красную звездочку, у него будут блестящие пуговицы и шашка, он ляжет на “Максим”и – тра-та-та-та – начнет косить белых, как в фильме “Тринадцать”. Тра-та-та-та...

Очень удивлялся, почему плачет мать, вздыхает отец. Разве они не рады, что Мелик идет в Красную Армию, что перебьет всех беляков? Удивительные люди!

- Финны – это что? Финнов мы в один месяц расколошматим, я боюсь, что мы и до места не доедем, как все кончится, – сожалел краснощекий парень.

- Говорят, они с ножом мастера, – твердил другой. – Говорят, с двадцати метров попадают прямо в глаз!

- Ха-ха! – пьяно смеялся краснощекий, – посмотрим, что они сделают ножами против наших танков. Танков, понимаешь!..

Все засмеялись. И тот, кто твердил о ножах, тоже. А я прямо закатывался... И вправду... танк – и вдруг нож! Мелик посмотрел на меня, улыбнулся. Я тут же схватил его за плечо, зашептал на ухо: “Мелик джан, ты кем станешь, а? Летчиком или пулеметчиком?”

Брат засмеялся: “Летчиком, летчиком! Буду летать высоко, братик, выше облаков, а тебе привезу настоящий самолет. Хочешь?” Обнял меня, посадил себе на колени, ласково взъерошил волосы. С того дня никто так не ерошил мне волосы...

Ах, Марго, джан Марго,

Не своди меня с ума...

С вокзала отец и мать вернулись с незнакомой взрослой девушкой. Красивая была она, с большими черными глазами. Алисой звали. Просидела у нас до полуночи. Наши все говорили и говорили без конца. Мне очень хотелось спать, но я лежал и не спал. Хотел узнать, кто эта Алиса. И услышал, что на вокзале, перед отходом поезда, Мелик познакомил ее с нашими, сказал, что любит, и попросил, чтобы мама и отец тоже полюбили ее.

Мать и отец очень любили Алису. И Бабкен любил. Все дарил ей бусы. Я тоже любил Алису. И Алиса любила нас. Часто заходила, показывала маме письма. Мама очень радовалась, но потом, когда Алиса уходила, всегда плакала.

- Если ей так часто пишет, пусть и нам пишет так же часто, – обижалась она.

Через два года, на год раньше срока, и Бабкен ушел в армию. Немцы начали войну. И Алиса опять часто заходила к нам, говорила, что Мелик стал летчиком. И мама опять плакала после ее ухода. А потом Алиса стала приходить все реже, потом не приходила целых три месяца. Теперь

Мелик часто писал нам, и каждый раз, со страхом и слезами прочитав его письмо, мама говорила отцу:

- Опять о той девушке спрашивает...

И однажды, получив новое письмо, отец вышел из дому и вечером вернулся с толстым пакетом под мышкой. Он будто съезжился весь и выглядел очень несчастным. Пакет он положил перед матерью и простонал:

- На!..

Это были письма Мелика Алисе. Некоторые так и не были распечатаны. Последние – из-под какого-то городка Кедайний. Написанные красными чернилами. Мы вскрыли все нераспечатанные треугольники и прочли подряд, по датам. И во всех Мелик писал, что уже совсем немного осталось, что скоро победим фашистов, и он вернется. И во всех просил Алису писать почаще, говорил, что он живет этими письмами, что они поддерживают его, спасают от вражеской пули, когда он ведет в бой свой “ястребок”.

Больше мы не получали писем. Только однажды пришла бумага. Там было написано, что при выполнении важного задания, в неравном бою, он героически погиб. Не смог увернуться от пули, погиб мой брат Мелик. Ведь Алиса больше не писала ему писем...

И я все ночи подряд видел во сне горящий самолет. Он падал с высоты, как комета, оставляя за собой светящийся след в небе...

“В вышине, – простонало дерево.

И в глубокой и темной ночи его пламя сверкало издали, подобно пылающей звезде. Трещало оно. Исходило дымом, будто возжигало ладан на могиле своей, оплакивая смерть свою, такую прекрасную, такую величественную, и земля вокруг него будто расступалась, готовя ему усыпальницу...”

Я открываю глаза и смотрю на Нанар.

Ее лицо побледнело от волнения, маленькие тонкие руки крепко сжимают книгу, глаза светятся огнем, губы слегка дрожат.

Я целую эти дрожащие губы, от которых всегда идет легкий приятный аромат вишни.

- С ума сошел, – говорит она, – посмотри, какой свет!

И впрямь, как я забыл про этот миллионноватный фонарь! Я беру ее за руку, мы встаем и идем по красной аллее. Я осторожно веду ее в тень. Нанар не удивляется, ни о чем не спрашивает.

- Нанар, – говорю я, – вдруг так захотелось тебя поцеловать...

Нанар улыбается, кладет на землю сумку и обеими руками обнимает меня. Мы долго-долго целуемся. Так долго, что у меня начинает кружиться голова. Ах, этот аромат вишни...

- Знаешь, – переводя дыхание, говорю я, – целуя тебя, я чувствую себя так, будто украл вишни. Все кажется, будто сейчас войдет мама и отругает меня...

- И за дело! В котором часу возвращаешься домой? – усмехается Нанар.

Ни у одного из нас нет часов, но и без часов ясно, что давно за полночь.

- Нанар! Давай вместе поедem на велосипеде. Ты садись сюда, на раму, и я сразу довезу тебя до вашего дома.

- С ума сошел... – отшатывается она.

И это “с ума сошел” она произносит так, что действительно можно сойти с ума.

АХ, НАТАША, НАТАША...

И вот мы остались вдвоем: я и мой “Харьков”, мой преданный, усталый, старенький велосипед. Он бесшумно несет меня по ночным улицам, объезжая выбоины, лужи и оскалившиеся, как пасть дракона, решетки водосбросных люков. Я дал ему свободу, отпустил руль и только легонько балансирую. Он тоже легонько балансирует, что-то бормочет, жужжит. Где только мы с ним не были! Ездили в Тбилиси и Баку, пересекали горы и равнины, переправлялись по мостам через реки; стесняясь, обогнали лошадей или осликов, и с чувством собственного достоинства пропускали вперед автомашины; падали на дорогах, получали ссадины и царапины, но сразу же вставали и продолжали путь. А когда он изнемогал от усталости или из-за ранения отказывался нести меня, я не пинал его, не ругал, как некоторые, а бережно поднимал, взваливал на плечи и нес его сам. Вместе с ним мы совершали и дальние вояжи. Путешествовали в поездах, на кораблях и самолетах, доезжали до Тулы, Москвы и Киева. Побывали на родине моего велосипеда, видели Ригу, Симферополь и Одессу, встречались со многими людьми. По этому поводу ребята с нашего курса даже острили: “Хорошо, что ты велосипедист, – на одном уме так далеко не уедешь”.

- Мы с тобой еще многое увидим, братец, – говорю я моему велосипеду. А он жужжит себе тихонько и порой ворчит. Это его ворчание мне не нравится. Значит, он в чем-то нуждается. Ведь ни с того, ни с сего никто ворчать не станет. А мне очень важно, чтоб именно сейчас мой “Харьков” чувствовал себя хорошо. Через месяц нам ехать в Москву, на Всесоюзный парад физкультурников. Каждый день тренируемся – по часу утром и вечером. Распределено удачно. На работу опаздываю всего на десять минут, то есть ровно на столько, сколько нужно, чтобы доехать от стадиона до райкома. Ничего, что не успеваю позавтракать, ничего, что не успеваю использовать талоны, выдаваемые на сборах. Даже хорошо. Раз в три дня беру с собой в ресторан и Нанар.

В прошлом году я впервые затащил ее туда. Не шла, чуть не расплакалась. Я уговариваю, убеждаю, сержусь, даже угрожаю, а она твердит свое:

- Стыдно, – говорит, – что подумают?

Я ей объясняю, что ничего зазорного в этом нет, сейчас многие ходят в ресторан, вот пойдем, и она сама убедится, что девушек там полным-полно. Я добавляю, что в России все ходят в рестораны, дома обедов не готовят. Разве она в фильмах не видела?

- В фильмах – совсем другое дело, – говорит Нанар. – Будто сам не знаешь, как косят у нас на девушек, которые ходят по ресторанам.

- Кто косится? Только дураки и невежи могут дурно подумать, – искренне возмущаюсь я и чувствую, что краснею. Ведь один из тех, кто косится, я сам...

- Нет, Артак, давай знаешь что сделаем, – Нанар берет меня за руку, – пойдем поедим пирожков с мясом, Ты же знаешь, что я их очень люблю. Купим, зайдем в скверик и...

- Пирожки с мясом! – презрительно говорю я, – ты хотела сказать с требухой, впрочем для их начинки и требуха комплимент! Знаешь что, Нанар, если я когда-нибудь покончу с собой, то лишь из-за этих пирожков. Когда говорят “пережиток прошлого”, я сразу представляю эти твои пирожки...

Нанар смеется, и мне кажется, что победа близка. Я очень хочу, чтоб она пошла в ресторан, и ради этого уговариваю, не переводя дыхания. Чего только не придумываю, но видя, что она непоколебима, прибегаю к запрещенным приемам, соблазняю, совращаю Нанар. В своих фантазиях я веду ее под руку по залам волшебного замка, осторожно спускаю по мраморным ступеням и привожу в сказочную гридницу, где за столиками, под ветвями пальм, сидят сплошь одни девушки. Издали, с высокого помоста, доносятся звуки великолепной эстрадной музыки. Это Леонид Утесов со своими друзьями-моряками с тоской вспоминает Черное море. Потом я с изощренной невозмутимостью садиста перечисляю блюда ресторанного меню, благоухающие земными и небесными ароматами и... И здесь, у самого входа в ресторан “Севан”, я перевожу взор с небес на лицо Нанар. И чувствую угрызения совести: глаза Нанар блестят, она зачарованно внимает мне. Наверное, очень голодна моя Нанар.

- Но видишь, ни одна женщина не входит в ресторан, – тихим голосом приводит она последний довод защиты.

И... о чудо! Я, несомненно, родился под счастливой звездой. Мимо нас проходят и направляются к входу две самые натуральные девушки.

- Смотри, смотри! – восклицаю я и почти насильно вталкиваю Нанар во внутрь.

В ресторане конечно, нет никаких пальм, нет Утесова и даже тех девушек, которые только что вошли. Вероятно, просто работают на кухне.

Зато стоит такой гул, какой бывает, пожалуй, только на Центральном почтамте. Держа Нанар за руку, как школьник, я ищу свободное место и, не глядя вокруг, направляюсь к угловому столику под самым окном. Мы садимся друг против друга. Нанар устраивается так, что ее лицо трудно разглядеть даже мне. Собственно, и мне не ахти как хорошо. Ведь я впервые в ресторане с девушкой. Только сейчас замечаю, что пиджак мой лоснится на локтях, что туфли мои давно уже стали неопределенного цвета и весьма симметрично залатаны с обеих сторон, что на одном колене у меня – внушительная клякса. Только теперь замечаю, почему Нанар спрятала руки под стол. Локти ее жакета связаны наново. И хоть нитки того же цвета, синие, но жакет давно уже стал голубым.

- Жарко здесь, - небрежно бросаю я, - не раздеться ли нам?

Нанар, покрасневшаяся, будто только этого и ждала, сразу снимает жакет, а я скидываю пиджак. Мы снова садимся друг против друга, переглядываемся и улыбаемся. Сейчас на Нанар прекрасное, цветастое ситцевое платье, будто кто-то разбросал на снегу синие васильки. Вдруг вспоминаю, что мы еще ничего не заказали, беру со стола меню и по всем правилам этикета протягиваю Нанар. Она еще больше краснеет.

- Выбери сам, - просит она.

- Нельзя, - говорю я, - принято, чтобы выбирала дама.

Нанар растерянно раскрывает меню и скользит взглядом по незнакомым названиям, в которых и я ничего не смыслю. Потом замечаю, что она больше смотрит на цены и выбирает самое маленькое из чисел. Не хочу расстраиваться. Рукой подзываю официантку.

- Наташа, милая, - говорю я, - нам, пожалуйста, шашлык. А пока будет готово, принесите холодной осетринки, сыру, швейцарского, конечно, две бутылки фруктового сока... - в уме я с бешеной скоростью складываю, считаю и сопоставляю сумму с моими четырехдневными талонами. Нет, кажется, еще что-то остается. - И... и еще, пожалуйста, не забудьте икры. Красной, конечно. Или ты хочешь черной, Нанар?

- Нет, нет, - испуганно отказывается Нанар.

- Наташа меня знает, знает, что я не люблю черную, - говорю я, стараясь не смотреть на официантку.

Я чувствую, как Наташа хохочет про себя. Ведь она, и вправду, знает меня. Знает, что каждый год перед соревнованиями я обедаю в ресторане "Севан" по талонам спортобщества "Динамо". И что никогда не ходил в ресторан за наличные. Она не знает, впрочем, что я в жизни не ел ни икры, ни осетрины в холодном или горячем виде, зато отлично знает, что никогда еще не заказывал ни икры, ни осетрины, ни швейцарского сыра. Собственно, и нужды в них не было. Я вполне удовлетворялся своей порцией котлет, а сдачу мог использовать по своему усмотрению.

- Что будете пить?

Я бледнею, Это уже удар в спину. Обиженно смотрю на Наташу. Хорошо, что Нанар ее не видит. Дебелое тело Наташи сотрясается от беззвучного смеха, в окруженных морщинками глазах проскакивают озорные искорки. Эх, Наташа, Наташа...

- Нанар, ты хочешь что-нибудь? - с отчаянной решимостью спрашиваю я.

- Нет, что ты, - немедленно отказывается она.

- Наташа, - говорю я, - к сожалению, перед соревнованиями нам запрещается пить.

После ее ухода Нанар укоризненно смотрит на меня.

- Артак, почему ты зовешь ее Наташей? Она же пожилая женщина. Хоть тетей назвал бы.

- Пробовал, - смеюсь я, - битых два часа продержала голодным!

Через несколько минут Наташа, нагруженная закусками, подходит к нам и начинает быстро накрывать на стол. И вдруг я с ужасом замечаю, что рядом с бутылками фруктовой воды возникает большая серебристая бутылка шампанского.

- Наташа, - выдавливаю я, - но я просил, чтобы выпивки...

- Знаю, знаю, - говорит Наташа, - но что я могу поделать? Это вам послали вон с того столика...

Я смотрю в ту сторону, куда показывает она, но никого из знакомых не вижу. В недоумении поворачиваюсь к Наташе и вдруг замечаю, что она еле заметно подмигивает мне и... заговорщически улыбается. Я пьянею, еще не выпив ни глотка, уже опьянел; так растроган, что чуть не плачу от того, как хорош этот мир, что люди могут понимать друг друга и без слов, что на свете есть такая тетя Наташа, о которой я, фактически, ничего не знал и которую случайно открыл для себя сегодня.

- Ты узнал, от кого шампанское? – спрашивает Нанар.

- Конечно, - говорю я, - сразу же узнал. Наташа! – обращаюсь я к доброй пожилой официантке,

- Наташа! Мы выпьем только с тем условием, если вы составите нам компанию.

Наташа улыбается. Она и сама счастлива. Даже морщинки на лице зарумянились.

- Нам на работе пить не разрешается, - тихо шепчет она, - но – была не была – я тайком выпью с вами... За молодость!

В МИРЕ “ЧУТО”¹

У лестницы схожу с велосипеда, взваливаю мой “Харьков” на плечи и в три-четыре прыжка оказываюсь на втором этаже. Слева наша дверь. Еще не нажав кнопку звонка, знаю, что произойдет в следующие пять минут. Сначала прозвучат два коротких звонка, то есть по азбуке Морзе – точки, затем – один длинный – тире. Это должно означать, что звонят не к нашей соседке из ближайшей к входу комнаты, не к моему брату с женой, что живут во второй комнате, а к моим родителям из самой дальней. Но этот хитроумный сигнал никакого значения не имеет, потому что пока мать встанет с постели и подойдет, дверь уже откроет соседка, не дожидаясь моей благодарности пробурчит что-то под нос и громко хлопнет дверью своей комнаты. Никак не пойму, почему она так поступает. Ведь может и не открывать, знает ведь, что почти одновременно с ней к двери подойдет моя мать. Так почему же открывает она, да еще и ворчит? Не понимаю... Нашей соседкой она стала недавно, у нее дети, весь день она занята по горло – разогнуться некогда... Не знаю даже, удастся ей хоть поспать, так как ее швейная машинка стучит без устали. Вообще она молчунья, со многими из соседей, порой даже с нами, не здороваются. Но достаточно, чтоб с кем-нибудь что-либо стряслось, чтобы кто-нибудь нуждался в помощи, – наша соседка сразу тут как тут. Забывает все свои дела и заботы, забывает даже детей своих, распрямляет спину, становится приветливой и доброжелательной, бодрой и расторопной и умудряется поспевать всюду. Болен – лекарства раздобудет, “скорую” вызовет, поспорит с врачами. Хочешь выдать замуж дочку – она добровольный шеф-повар и придворный портной. Надо куда-нибудь пойти, да не с кем оставить грудного ребенка, – она всегда под рукой! Запеленает, покачает, песенку споет, с бутылочки покормит, да еще и на дочек своих прикрикнет: мол, не мешайте ребенку спать.

Но вот выздоровеешь, выдашь дочку замуж, идти тебе некуда, – все, конец! Опять наша соседка мрачна и погружена в заботы, опять ночи напролет стучит ее машинка, и по утрам она проходит мимо так, будто тебя просто не существует на свете. И поздней ночью, когда я возвращаюсь домой, она первая открывает, что-то пробормочет и хлопает своей дверью, не дожидаясь благодарности.

Почему открывает и почему ворчит? Кто знает? Говорят, муж ее был пьянчуга... Горланил на улицах песни и возвращался домой лишь поздно ночью... Вот и сейчас, услышав неприветливое хлопанье дверью и произнося традиционно безответное “спасибо”, я на цыпочках направляюсь к нашей комнате и целую в коридоре мягкую, худую, дряблую щеку мамы.

- Ужин на кухне, - шепчет она.

¹чүто – букв: “детеныш, малыш”

Я осторожно выхожу на балкон, вешаю велосипед на вбитый в стену гвоздь и снова возвращаюсь на кухню. И открываю все кастрюли по очереди. Совершив под мелодичный перезвон крышек этот обязательный ритуал, я, наконец, сажусь за стол и приступаю к ужину. Мать входит на кухню, ставит на электроплитку чайник, садится напротив меня и, продолжая вязать свой неизменный носок, следит за мной.

- Почему не спишь, мам?

- Вот, думаю, помыть посуду и сварить обед твоему отцу. Ему, бедняге, ведь в пять утра вставать.

Отец... Ему давно пора бы выйти на пенсию, но он продолжает работать, да еще так добросовестно, что я просто поражаюсь. Представьте себе человека, который за всю свою жизнь, за пятьдесят с лишним лет трудовой деятельности ни разу не опоздал на работу. Если можете себе представить – так это мой отец. Порой меня даже зло берет:

- Ну ладно, если ты опоздаешь минут на пять-десять, мир рухнет? Ешь спокойно! Сменщик твой подождет немножко.

- А ты знаешь, что значит для семейного человека последние пять-десять минут смены, сынок? Вот займешь семью, поймешь. И потом, если я могу не опоздать, зачем опаздывать? “Мир рухнет!”... А что ты думаешь? Если все начнут опаздывать – рухнет!

И идет на работу: день – днем, другой – вечером, третий – ночью. Выходит из дому ровно за два часа до начала смены, чтобы мир не рухнул, чтобы пешком, спокойно дойти до Механического завода, где работает кочегаром. Кочегаром он был не всегда. Пришлось стать, когда большой палец правой руки отрезало станком и он не смог больше работать токарем. Мать рассказывает, что в тот день он впервые напился. Выйдя из больницы, он где-то выпил и пришел домой только поздно ночью. Достал из кармана отрезанный палец, положил перед собой на стол, положил рядом свой старый тар, которому уже больше никогда не суждено было зазвучать, и запел. Он пел на армянском и турецком грустные песни о юноше, ушедшем из села в город и тоскующем по далеким зеленым нивам и студеным родникам, пел и безутешно плакал. А утром встал, как всегда, швырнул куда-то отрезанный палец и, не слушая мою мать, не глядя на нее, обхватил правую руку левой и пошел на завод, попросился в кочегары.

- Мало осталось, мам, - весело говорю я, - еще через пару месяцев окончу университет, буду много писать и заставлю папу уйти с работы.

Мама улыбается, мама мне верит.

- Да, Артак джан, - говорит она, - жалко его, он уже не прежний, устает. – Потом смотрит на меня мгновенно повлажневшими глазами, и губы ее дрожат, - впрочем, тебе тоже пора на пенсию. Уже сколько лет ты работаешь... Дитя мое работающее...

Она поднимает руку и долго смотрит на маленькое желтое колечко на безымянном пальце. Я тоже смотрю на колечко и, то ли от усталости, то ли еще от чего-то, в глазах моих

расплываются десятки, сотни желтеющих колечек, и в ушах звучит голос товарищ Эстер: “Чуто! Нашел время читать. Доставь это извещение в Сари-Тах”.

...Какие они интересные, эти матери: всю свою жизнь посвящают детям и не замечают этого. Но стоит детям уделить им хоть капельку внимания, теряют голову от радости и готовы, если представится возможность, раструбить об этом на весь мир.

А ведь дети всегда больше берут из дому, чем отдают. Но если матери или не замечают взятого детьми вовсе, или так, будто смотрят в подзорную трубу с широкого конца, то для принесенного детьми они разом переворачивают трубу и все повышают и повышают увеличение...

- Чуто! Слетай в каучуковский нарсуд и передай эти дела. Да напхни, чтоб расписались в журнале!

- Сейчас, - говорю я, потому что “Чуто” это я, и, крепко зажав под мышкой толстенные тома уголовных дел, шагаю по направлению народного суда, что неподалеку от завода “Каучук”.

Правда, кроме трехсот рублей зарплаты, я получаю еще и пятнадцать рублей на трамвай, но кто же надеется на трамвай? Кто его знает, будет он или нет? А иногда трамвай так набит, что дыхание спирает, и в грудь впиваются пряжки чужих ремней. Нет, лучше уж пешком. Конечно, иногда так устаешь, что хочется растянуться прямо на дороге, положить голову на сырую землю и спать, спать... Но, в общем, работа не такая уж трудная. Во-первых, ходьба закаляет организм, как отмечает наш физрук, а потом - к трем сотням прибавляешь еще пятнадцать рублей... Пятнадцать мороженных, как говорит мой коллега, обслуживающий северные и западные районы города, рассыльный Панос.

Мне мороженого не нужно. Мне нужны деньги. Вот почему, когда наш соседский мальчик Коля однажды сказал, что в прокуратуре есть место рассыльного, я, не сказав ничего нашим, после уроков тайком пошел в прокуратуру и, читая таблички на дверях, нашел общий отдел: просторную комнату, где были четыре тети, четыре больших стола и множество толстых и тонких папок и конторских книг на этих столах.

- У вас есть место рассыльного?

Четыре тети смотрят на меня, разглядывают, изучают аккуратно заштопанную и чистую мою одежду, висающий на плечах зеленый воинский ранец, что прислал с фронта Бабкен и в котором я держу свои тетради и учебники. Сердце бьется тревожно. Интересно, возьмут или нет? Эх, хоть бы взяли, хоть бы понравился! Нет, не возьмут, как-то не так смотрят. Я поворачиваюсь к той, у которой худое, вытянутое лицо и очень строгий взгляд.

- Тетенька, очень прошу, возьмите меня!

- Сколько тебе лет? – спрашивает она и, кажется, старается смягчить свой строгий вид.

- Пятнадцать, - быстро отвечаю я и, вероятно, краснею, потому что в ее голосе звучит ирония.

- Или тринадцать?

Опускаю голову и еще больше краснею. Дурак! Теперь тебя назовут лгунишкой и точно не возьмут.

- В каком классе учишься?

- В шестом.

- Сколько двоек? – это уже спрашивают из-за стола под окном.

Мое самолюбие уязвлено.

- У меня даже троек нет, - гордо отвечаю я.

- Ну-ка скажи, чему равно “а квадрат плюс б квадрат”?

- Равно “а квадрат плюс б квадрат”, - смеюсь я.

- Съела? – радостно аплодирует сидящая справа от двери красивая светловолосая девушка.

- Замолчите, - останавливает их обладательница строгого взгляда и спрашивает меня: - Отец есть?

- Да.

- На фронте?

- Нет, братья на фронте.

- А мать?

- И мать есть. Дома, - отвечаю я и удивляюсь, о чем это спрашивает тетя. Как то есть “отец есть, мать есть?” А почему я не должен их иметь? Как же это без отца, без матери...

- Так почему тебя сюда послали, - вдруг сердится она, - почему школу бросаешь, а?

- Я... я...

- Отвечай, когда тебя спрашивают! Погляди на них, учиться не желают! Вот и мой сын нос задрал – на завод, мол, хочу, там снаряды делают! А язык-то, язык! “Хочу, чтобы мои снаряды уничтожали врага!” А сам- как этот – от горшка два вершка! На одной странице по пять ошибок делает. Таких драть надо как следует... - Она подходит ко мне, останавливается и вдруг спрашивает тихим, изменившимся голосом, - почему не хочешь учиться, а? Ведь у тебя отец есть... У тебя отец есть, - повторяет она, - у тебя отец есть...

Я понимаю, что ей очень грустно, и чувствую себя страшно виноватым за то, что не сказал ей с самого начала, что понапрасну расстроил ее. Думает, что хочу бросить школу. Нет, нет, тетя! Вы меня не так поняли... Заикаясь, объясняю ей, что наши уроки кончаются в час и до пяти я могу работать. Пусть тетя поверит – я буду работать так, что все останутся довольны, все буду делать бегом. Я и не думаю бросать школу. Нет! Просто мне необходимо работать...

До этого я и не знал, что такое рассыльный. Не знал даже, что на свете существуют “мальчики на побегушках”. Но, поработав две-три недели, убедился, что они не только существуют, но что их очень много и они вездесущи. Я встречал их у нас на работе, на улицах, в других учреждениях, куда относил дела и бумаги, и большинство курьеров пешком пересекали город из конца в конец, или ездили на подножках трамвая, подальше от грозных взоров кондуктора и от еще более грозной их расправы. Мы уже знали друг друга, еще издали проветствовали, потрясая конторскими книгами, осведомлялись о здоровье и работе, жаловались на своих начальников и с удивительным единодушием уважали свою “табель о рангах”. Все мы, к примеру, с завистью и почтением относились к курьеру Совнаркома, который обычно ездил на автомобиле, а в остальных случаях шагал с высоко поднятой головой, преисполненный сознания собственной значимости. Рангом ниже были рассыльные исполкома горсовета, наркоматов, управлений, райсоветов. Да и у меня было немало причин гордиться, поскольку мы с Паносом по нашему ведомству занимали руководящие посты, являясь рассыльными Республиканской прокуратуры. Ведь на служебной лестнице значительно ниже нас были курьеры городской прокуратуры, районных прокуратур, нарсудов и прочая мелюзга...

Но в одном, несмотря на все эти нюансы, у нас не было различия. Ни у одного из нас не было собственного имени. Все мы были “чүто” – и оптом, и поодиночке. Нас называли “чүто” все – все, кому не лень, независимо от национальности, цвета кожи, пола, рода занятий и служебного ранга. Нас называл “чүто” даже сам товарищ Ваган, вероятно, старейший “чүто” в мире, служивший рассыльным и при царском наместнике, и при дашнакском владычестве, и после установления Советской власти в Армении. Учитывая его заслуги и добросовестную службу на курьерском поприще, особенно в годы Советской власти, многие руководители делали ряд попыток выдвинуть его, но он оставался непоколебим в преданности своему званию. Его послали в ликбез, вручили свидетельство об окончании семилетней школы, но товарищ Ваган не сложил своей курьерской сумки и на последнюю попытку перевести с повышением на другую работу ответил двенадцатистраничным воззванием, направленным прокурору республики. В этом воззвании он, в частности, писал, что, если ему больше не доверяют, могли бы сказать прямо. Он подаст заявление и уйдет сам, благо, его приглашают во многие другие учреждения. Так зачем прибегать к подобным методам?

После этого его оставили в покое.

Прошли годы, прокуратура обросла новыми правами и обязанностями, что, естественно, сопровождалось соответствующим увеличением переписки. А товарищ Ваган состарился, он больше не поспевал повсюду, и работникам прокуратуры пришлось взять нового рассыльного, четырнадцатилетнего паренька, который, конечно же, справлялся с работой лучше товарища Вагана. Это обстоятельство до глубины души задело заслуженного курьера, он заболел и слег. В прокуратуре все очень ценили и любили его, этого доброго, ворчливого старика, и поэтому в

дни его болезни прибегли к из ряда вон выходящему средству: обратились в Прокуратуру СССР с просьбой разрешить прокуратуре Армении открыть особый штат старшего рассыльного. В Москве знали товарища Вагана. Разрешили...

И теперь товарищ Ваган, на котором лежали лишь почтовые операции и надзор за нами, рядовыми курьерами, взирал на нас с Паносом слезящимися глазами и, видя, с каким предосудительным безразличием используем мы клей, запечатывая конверты с перепиской, разъяренно ворчал:

- Эй, Чуто, это что вы делаете? Товарищ Эстер, товарищ Эстер, это-это что они делают? Ведь за это деньги плачены, нет? Одну-одну капельку клея вот-вот сюда, и хватит...

И с убежденностью пророка предсказывал, что из нас никогда не выйдет порядочных курьеров, так как мы не ценим, не живем работой; удивлялся руководству, доверившему нам столь ответственное дело, и даже с тревогой вопрошал: "Это-это государство как может выстоять, имея таких курьеров, как мы".

Мы же, кстати, работали от души. Из школы голодный я бежал прямо в прокуратуру, хватал дела и конверты и в зимнюю стужу или летний зной, задыхаясь от пыли или увязая по щиколотку в вязкой желтой грязи Шенгавита², разыскивал адресатов. По дороге я читал подряд все известные мне стихи, чтобы скоротать время, пел про себя выученные в школе веселые песенки и плакал от усталости. И так же спешил назад, чтобы поспеть до конца работы в прокуратуру, получить извещения и раздать их вечером.

- Сегодня извещений много, когда ты успеешь?.. – сочувственно говорила товарищ Ася, красивая светловолосая девушка, что сидела справа от двери.

- Ничего, товарищ Ася, – бодро отвечал я, – пустяк, бегом донесу...

- А уроки?

- И уроки успею, товарищ Ася...

- Э, нет! Дай-ка извещения... – Товарищ Ася брала извещения, просматривала адреса и откладывала некоторые в сторону, – эти по соседству с нашим домом, сама занесу.

- Товарищ Ася!..

- Но взамен... – Она подбегала к двери, закрывала ее на крючок и, подняв руку, звонким голосом объявляла: – В связи с окончанием рабочего дня и отсутствием товарищ Эстер состоится выступление самодеятельного кружка общего отдела прокуратуры. Солисты: старший Чуто – художественное слово, Эгине – пародии, Ася – пение, Гегуи – танцы, младший Чуто – ударные инструменты.

²Шенгавит – пригородный район г. Еревана

И начиналось веселье, которое могла породить только тоска. Весь день склоненные над столами, уставшие от серьезной работы и строгости товарищ Эстер молодые секретарши “раскрепощались”. Пели, шутили, смеялись, смеялись непрерывно, до колик, до истерики, смеялись просто так, будто от непреодолимой потребности смеяться, будто мстили кому-то этим. Смеялись наперекор запоздавшей весне, затянувшейся войне, зашторенным окнам, затемненным улицам, проходящей молодости... и была в их смехе неопределенная, необъяснимая боль, большая, давящая тоска...

- Не забудь извещения, Чуто...

Забывать-то я не забывал, конечно, но в первое время никак не мог понять, почему те, кому я приносил извещения, встречали меня неприязненно, а зачастую даже враждебно. Почему?.. Ответ на это я получил вскоре вечером на улице Дзорагюха.³

³Дзорагюх – район на склоне берега р. Зангу в Ереване

РАДОСТНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

Уже темнеет, а я никак не могу найти адреса, обозначенного на извещении: улица Дзорагюха, 2-й переулок, дом 22, Вартан Асланян. В этом местечке, Дзорагюхе, никакой улицы нет и в помине, какие-то извилистые тропинки спускаются к реке Зангу и либо обрываются на отвесных скалах, либо ведут в отдельные дворики. Дома маленькие, глинобитные и расположены террасами, нигде ни огонька, ни дымочка над очагом. Да и людей почти нет. Только тяжелая гнетущая тишина над Дзорагюхом и мрачный гул Зангу подчеркивают эту тишину. Как же мне найти дом но.22? На сердце у меня становится жутковато, от непонятного страха шевелятся волосы. Такие вещи рассказывают об этом месте...

Стучусь в первую попавшуюся дверь. Долгое время никто не откликается. Мне становится еще страшнее, и от этого я еще громче барабаню в дверь. Через несколько минут я слышу сердитое ворчание и приглушенную ругань.

- Ты кто? – слышится за дверью.

- Дяденька, - умоляю я, - мне нужен дом 22.

- 22? – переспрашивают из-за двери, - это который дом 22? – обращается голос к кому-то, затем снова спрашивает у меня. – А кто тебе нужен?

- Вартан Асланян.

- Вартан? А зачем он тебе?

- Ему извещение из прокуратуры.

- Из прокуратуры? – снова переспрашивает человек за дверью и замолкает. До меня доносится какой-то сдавленный шепот, потом голос отвечает. – Здесь таких нет.

- А где двадцать второй дом, дяденька?

- Откуда я знаю? Что я тебе – адресный стол? Убирайся, а то как выйду!..

Ну почему, почему? Что я сделал такого? Мне сказали – отнеси извещение в дом двадцать два, второй переулок Дзорагюха, отдай Вартану Асланяну. Я и принес. Что я такого сказал, почему дяденька обиделся, может, не так понял? Ну конечно, не так понял, иначе зачем он ругался? Удивленный и огорченный, я обхожу еще несколько домов и, наконец, обращаюсь с тем же вопросом к стоящей во дворике женщине.

- Тетенька, это второй переулок?

- Этот самый!

- А который дом двадцать два? - радостно спрашиваю я.

- А кто тебе нужен?

- Вартан Асланян.

- А что? – спрашивает она, и в голосе ее звучит тревога.

- Извещение из прокуратуры.

- Нету, нету! – вдруг сердится она, - никаких Асланян-Масланинов тут нету!

- Может, покажете мне, где живет домком, тетенька, - прошу я. – Вот уже два часа ищу, а домком напишет на извещении, что тут таких нет. Я и пойду себе.

- Давай-ка бумагу, - неожиданно говорит она и вырывает из моих рук извещение.

Руки у нее почти черные и потрескавшиеся, левый рукав блузки разорван, а на ногах – деревянные шлепанцы, как в бане.

- Ну, ты иди, - приказывает она.

- Подпишите корешок и дайте мне.

- Иди, иди, - кричит она, - иди и больше здесь не показывайся.

Откуда-то изнутри поднимается во мне ком и начинает душить.

- Тетенька, - говорю я, - тетенька! Дайте мне корешок, если не дадите, подумают, что я не отнес...

- Боишься, что выгонят, да? – с издевкой спрашивает она, - тебе очень нравится кружить, как сова. Найди порядочную работу, работу, говорю! А то ведь проклинают тебя, парень. Боятся, что уволят... Ему-то что, а людей в тюрьму зовут.

Она, конечно же, что-то путает.

- Я из прокуратуры, тетенька, дорогая, какая тюрьма, кто сказал – тюрьма? Написано же на бланке...

- Знаю, что написано, - с ненавистью цедит она сквозь зубы, - знаю! А внизу, внизу что вы написали? “В случае неяви...” Ну что вы сделаете, что? Ну идите, чего же вы ждете, идите забирайте, и меня забирайте, и моих пятерых детей, всех забирайте! Все равно своим ходом он прийти не может.

И вдруг она всхлипывает, обхватывает своими темными потрескавшимися руками голову и начинает рыдать, будто поет какую-то жуткую, невыразимо горестную песню, и в такт ей качает головой.

Не знаю, что происходит со мной. Невыносимо болит голова, ноет все тело, но ноет так, будто весь я превратился в огромную, гудящую от боли голову. Меня охватывает какое-то оцепенение, и я не понимаю, почему эта женщина вдруг обнимает меня, почему хочет поднять – ведь я же не упал; что за капли падают на меня... Когда успел пойти дождь?.. Погоди, погоди, куда несет меня на своих темных, потрескавшихся руках эта плачущая, как ребенок, женщина?

- Мама, мама! – зову я. – Мама!..

И слышу издали какие-то голоса. Сперва густой, сердитый, затем другой – тонкий, дрожащий.

- Да ведь он совсем еще ребенок, будь я проклята, ведь я же плохо вижу, Вартан. Девочка, дай воды, чего стала, как истукан... Пей, пей, детка, пей, дорогой...

Я жадно пью, и в голове моей проясняется. Я открываю глаза и вижу себя на стуле в полутемной комнатке. Прямо напротив меня, на железной кровати лежит пожилой мужчина с бледным, заросшим лицом и большими добрыми глазами. На столе стоит керосинка, и в ее тусклом свете видны дети: один, второй, третий... Четвертый сидит за столом, а перед ним тетрадь, книга и чернильница.

- Ну, как ты, парень? – спрашивает мужчина мягким голосом. – Хорошо уже? Вижу, что хорошо! Ты не обращай на нее внимания, – говорит он мне, кивая на грустную, скрестившую на груди руки женщину, сидящую рядом с ним, – женщины, они такие. Им всегда кажется, что если посылают извещение, значит, обязательно арестуют. Но ведь не так, правда? Понимаешь, возвращался я домой после ночной смены и наверху, у самой церкви, подвернул ногу. Распухла, посмотри, ходить не могу, – он высовывает из-под одеяла распухшую, перевязанную какими-то тряпками ногу, – уже три дня не хожу на работу, вот там и решили, наверное, что я прогуливаю, отлыниваю, понимаешь? Поэтому и написали в прокуратуру. Мы вызывали врача, но его до сих пор нет, наверное не находит. Ведь у нас ни нормального адреса, ни дома...

- А прокуратура сразу нашла, – тихонько говорит женщина.

- Из-за этого вызывают, правда? Больше не из-за чего. Сейчас прогул – самое тяжелое преступление. Но я не могу, понимаешь, не могу. Болит нога. Дай извещение, – приказывает он жене, – принеси ручку, чернила, я прямо здесь напишу, почему не могу прийти. Правда? И тебя ругать не будут, да? .. Ты-то в чем виноват... – Кашель не дает ему договорить, он подносит ко рту платок и беззвучно кашляет, сотрясаясь всем телом, закрыв глаза и сквозь кашель, задышавшись, продолжает, – вот из-за этого и не взяли в армию.

Я не понимаю, почему его не взяли в армию, но чувствую, что он этим совсем не так доволен, как некоторые из прокуратуры. И не знаю почему, но мне хочется сказать ему такие слова,

чтобы он не огорчился, чтобы верил своим мыслям, своим догадкам. Ведь если кто-нибудь все время повторяет “правда?”, “не так ли?” – значит, сомневается, не верит, как говорит мой отец.

- Конечно, – говорю я и чувствую, что вдруг начинаю говорить омерзительно взрослыми словами, – я же не виноват. Сказали, отнеси, я и отнес. Если не я, то Панос бы доставил извещение или... товарищ Ваган. Это другие наши курьеры, – объясняю я. – А тут что могут сказать? Упал, скажу, человек, я сам видел. Наш кладовщик тоже упал, на работу не приходит, но ведь никто ничего не говорит...

- Вот видишь, – Вардан Асланян победоносно смотрит на жену, – я же говорил, ведь все могут увидеть мою ногу. Возьми корешок, сынок, и иди. Хотя нет, погоди...

Я останавливаюсь в дверях, а он подзывает жену, что-то шепчет ей на ухо. Женщина смотрит на него, а он говорит чуть громче: “Ничего, ничего”. Женщина нагибается, достает что-то из-под кровати и протягивает мне. У нее на ладони маленькая, настоящая земляная груша.

Я чувствую, что на глаза мои наворачиваются слезы.

- Нет, нет, спасибо! Зачем мне? Большое спасибо! У нас дома много, – говорю я и выбегаю, чтобы не видеть земляную грушу.

Я бегу вверх по узенькой тропке, спотыкаясь о камни, проваливаясь в выбоины, плачу от боли и продолжаю бежать, тяжело дыша, с широко раскрытым ртом.

Ветер свистит в ушах, дует мне в рот, издавая необычные смешные звуки, вдруг куда-то уносится, потом возвращается и, как шаловливый ребенок, толкает меня в спину, бросает вперед и вперед, к нашей улице, к моей крепости – нашему дому рядом с маленьким садиком Тиграна-ахпара.

ИДУ ОСВОБОЖДАТЬ

- Чуто джан, ты хочешь мне что-то сказать? – спрашивает товарищ Ася.

Она пишет нарочно медленно, чтобы я немножко отдохнул, но делает это так ловко, что никто не замечает. Я подхожу к ней и тихо спрашиваю:

- Товарищ Ася, всех, кому я отношу извещения, сажают в тюрьму?

- Нет, что ты, – смеется она в кулак, – куда бы это годилось? Нет, не многих. Если кого решают посадить, тому, обычно, извещений не посылают.

- Значит, Вартана Асланяна не посадят?

- А кто такой Вартан Асланян? – удивляется товарищ Ася.

- Вы вчера написали извещение, не помните?

- Как тут запомнишь, в день по тридцать-сорок извещений, – снова смеется она.

- Вспомните его, пожалуйста, – прошу я. – Он ни в чем не виноват, подвернул ногу, не может ходить на работу, у него пятеро детей, и жена весь день плачет, а врач никак не может найти их дом.

Товарищ Ася внимательно смотрит на меня, и ее всегда улыбающиеся глаза становятся серьезными.

- Хорошо, – говорит она, – я сейчас найду это дело. Но это должно быть в последний раз. Не будь таким, не интересуйся всем этим, малыш, тебе еще рано, не порть себе настроение, хорошо? Все равно ты ничего сделать не сможешь. Хватит и того, что работаешь. Разноси себе свои бумаги и все – вот твоё дело. И больше ничего. – Она смотрит на меня ласково и нежно, потому что знает, что так жить невозможно, потому что сама она не такая и такой стать не может. И трудно понять, меня она уговаривает или себя. Потом она быстро просматривает тоненькую папку, – нет, больше ничего нет, – с нескрываемой радостью говорит она. – Больше ничего нет. Если он сможет доказать, что болен, ничего ему не будет. Ну, ликуй! – улыбается товарищ Ася. – Я сейчас провожу тебя, а потом позвоню в поликлинику, заставлю послать врача. У тебя есть еще что-нибудь?

Не понимаю, как она догадывается, что я хочу задать еще один вопрос. Может, я, когда думаю, беззвучно шевелю губами?

- Товарищ Ася, – спрашиваю я, – товарищ Ася, все мои извещения будут такие... такие невеселые?

Товарищ Ася только кивает в ответ.

- Значит, товарищ Ваган всю жизнь носил только такие извещения, – я чуть было не добавил “как сова”, но вовремя прикусываю язык.

- Смотри для кого, Чуто, – говорит она. – Для одного – печальные, а для других – радостные, если этот один мешает многим жить спокойно. Понимаешь? Поэтому его и сажают в тюрьму. Я не знаю, как бы это тебе получше объяснить. Все равно ты поймешь не так, как нужно. Подожди, вот подрастешь, и все поймешь без чьей-либо помощи. В свое время это понимают все.

- А нет такого места, такого учреждения, откуда носят только хорошие, радостные извещения?

Товарищ Ася на миг задумывается.

- Нет, – говорит она, – такого места нет. Добрую весть люди получают без извещений. У тебя все?

- Все, – отвечаю я, – спасибо, товарищ Ася.

Мне страшно хочется спросить, наступит ли когда-нибудь такое время, когда люди будут получать только радостные извещения, вернее, совсем не будут их получать, и во всем мире не будет ни извещений, ни посыльных. Но сразу же подумал, что же тогда будет делать товарищ Ваган, и, не найдя ответа, замолчал.

- Чуто, иди сюда, – зовет товарищ Эстер. Она строга, никогда не улыбается, поэтому я очень боюсь ее и стараюсь не попадаться на глаза. Она и сейчас мрачна и недовольна, может, оттого, что я так долго шепчусь с товарищ Асей, – Чуто, брось все свои дела и отнеси этот конверт в тюрьму. Вручишь лично начальнику тюрьмы. Ася, зарегистрируй!

Товарищ Ася берет у нее из рук какую-то бумагу, кладет в конверт, ставит по углам печати, а в середине – опечатывает сургучом. Значит, конверт очень важный, строго секретный.

- Знаешь, с каким нетерпением тебя сейчас ждут? – быстро шепчет мне товарищ Ася. – Это приказ об освобождении. Как только отдашь, из тюрьмы выпустят заключенного.

- А этот заключенный знает, что его освобождают?

- По всей вероятности, да. Ну, беги!

Я выхожу из нашего общего отдела и впервые мне по-настоящему хочется делать все бегом. И в то же время что только не проходит у меня в голове. То мне представляется, что какие-то злые люди нападают на меня и пытаются отнять конверт. Я ловко ускользаю от них и мчусь, почти лечу по улицам зигзагами, чтобы выпущенные ими пули в меня не попали. То с тревогой

думаю, а вдруг со мною действительно что-нибудь случится на улице. Снова упаду в обморок, как вчера, или попаду под трамвай, а заключенный будет ждать, волноваться, спрашивать все время, не пришел ли еще курьер из прокуратуры.

В конце коридора стоят несколько человек. Завидев меня, подходят. Старая женщина, закутанная в шаль, мужчина с длинными усами и молоденькая девушка.

- Братец, дорогой, ты несешь бумагу нашего Саркиса? – спрашивает девушка.

- Какую бумагу? – притворно удивляюсь я. – Никакой бумаги у меня нет.

- Да буду я жертвой за тебя, товарищ дорогой, – хватает меня за руку старуха. – Если несешь бумагу Саркиса – скажи, я его мать.

Я, конечно, польщен, что впервые в жизни меня назвали “товарищ”, и, может, именно поэтому не скрываю ничего.

- Я не знаю, о какой бумаге вы говорите, матушка, – говорю я, – но я иду в тюрьму освобождать заключенного.

Эти слова я, зазнайка, произношу таким тоном, будто и впрямь я освободитель и если захочу – могу передумать и вернуться.

- Это наш Саркис, наш Саркис! – восторженно кричат они и каждый норовит схватить меня за руку. – Пошли, братец дорогой, товарищ дорогой, брат наш старший.

Даже “старший брат”!

- Пошли, – говорю я.

Спускаюсь по ступенькам и шагаю по улице гордый и счастливый. А они окружили меня и сопровождают. Мужчина с длинными усами – по всей видимости, отец заключенного, – постукивая кривой палкой по асфальту, семенит передо мной, а мать и жена идут рядом со мной, осыпая меня благословлениями.

- Идем, дорогой! Да святится солнце твое, да будет долгой жизнь твоя, пусть цветы растут под ногами твоими, да не взвидеть тебе несчастья в жизни, да будет на тебе рука божья!

Не думаю, чтобы кто-нибудь шествовал по Еревану такой гордый и веселый и с такой преданной и заботливой свитой.

У тюрьмы я предлагаю им подождать внизу, а сам поднимаюсь на второй этаж административного корпуса и вручаю конверт начальнику тюрьмы, который по моим предположениям должен был быть хмырем в ярко-красной одежде, а оказывается подвижным и смешливым молодым человеком в форме капитана милиции. Он тут же отдает необходимые распоряжения, расписывается в моем журнале, и я спускаюсь вниз. Мои спутники тут же окружают меня, горя от нетерпения.

- Что он сказал, братец дорогой?

- А что он мог сказать? – с оттенком легкого презрения в адрес начальника тюрьмы улыбаюсь я.

– Немного погода отпустят. Пойдем, подождем у ворот.

Я свободен, могу идти, но мне что-то не хочется уходить. Очень хочу увидеть того, кто еще недавно был заключенным, а сейчас выходит на свободу, очень хочу видеть радость. Мы все стоим и смотрим на ворота, из которых он должен выйти.

Не знаю, сколько проходит времени. Женщины устали, сели на камни у стены, а старик с длинными усами что-то рисует на земле своей кривой палкой, не отводя глаз от железных ворот, и рассказывает мне о своих горах, подобных которым нет на свете, рассказывает о своем сыне Саркисе, который сражался против волков с одной дубинкой в руках.

- А однажды случилось так, что какой-то нечестивец из нашего села подмигнул твоей сестрице...

- Какой сестрице? – удивленно спрашиваю я, думая, откуда это они могут знать мою сестру?

- Сестрице, говорю, нашей невестушке, – он указывает своей кривой палкой на сидящую у стены молодую женщину. – Как узнал об этом наш Саркис, схватил его да и задал ему трепку... Год дали. А как же! Сасунец скорее умрет, но чести своей не уронит.

Потом он заявляет, что подарит мне ягненка, белого, с черным пятнышком на лбу, что может привести его хоть сейчас, но уж очень тот тощий и маленький, так что лучше подождать до осени... Я отказываюсь, а он...

А он и женщины, что сидели у стены, с радостными криками бросаются к худому невысокому юноше с обритой головой, который вышел из ворот и оглядывается по сторонам, прищурив от яркого солнца глаза и улыбаясь жалкой, кривой улыбкой. Его обнимают, целуют, вырывают друг у дружки, отодвигаются, чтобы получше разглядеть затуманенными от слез глазами и снова обнимают, стеная и мешая друг другу.

Парень смеется, сердится, пытается вырваться из их объятий, но его не отпускают. Так, не размыкая рук, смеясь и плача, они проходят мимо меня, проходят, не заметив меня, оставив и меня, и свое горе под стенами тюрьмы. Они уносят в своих объятиях свое счастье.

Я несколько секунд провожаю их взглядом, затем срываюсь с места, бегу к проходящему трамваю, прыгаю, повисаю на поручнях и смотрю на них сверху до тех пор, пока трамвай не сворачивает у цирка к базару и они исчезают из поля моего зрения.

И вдруг открываю для себя, что радость бывает значит, более подчеркнутой, более яркой, более сильной после горя, как после тьмы бывает намного ярче свет.

И думаю, какая же будет радость, когда кончится эта проклятая война...

КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Быстро поднимаюсь по улице Абовяна, не вынимая из кармана правую руку, и мне кажется, будто меня сопровождает целый оркестр. Торжественно и громко звучат фанфары, восторженно звенят цимбалы, быстро и размеренно, как мое сердце, стучит барабан, с деревьев с шумом срывается стая птиц...

Быстро поднимаюсь по улице Абовяна, опустив в карман правую руку, и никто не может заставить меня вынуть ее. Никто. Даже товарищ Андриасян, наш учитель армянского языка, который говорит, что держать руки в карманах неприлично. Сегодня, вы уж простите, товарищ Андриасян, не могу. Если встречу вас, не буду стараться, как обычно, обязательно попасться вам на глаза, не буду обгонять вас по другому тротуару, чтобы потом, перейдя улицу, повернув вам навстречу и сняв шапку, радостно прошептать: “Здравствуйте, товарищ Андриасян”. Нет, сегодня не могу.

У меня в кармане – первая получка!

Сколько раз я представлял себе этот день, сколько раз мысленно поднимался по Абовяна, зажав получку в руке, покупал у стоявшего на углу старика все его леденцовые пушки и красных петушков, клал целый рубль в лежащую на асфальте перед слепцом шапку, покупал в книжном магазине авторучку, в которой не кончаются чернила, потом золотое колечко для мамы, потому что по рассказам отца, она обменяла свое в голодный год на два пуда зерна, чтобы покормить нас...

Но сегодня я спешу и стараюсь не смотреть по сторонам, не смотреть на витрины магазинов.

Только один раз не выдерживаю и останавливаюсь на углу у магазина, в котором раньше, давным-давно, когда не было войны, продавались детские игрушки. Сейчас там ничего нет. На дверях висит большой замок, а витрины забиты досками. А тогда это был изумительный магазин. Такие в нем были игрушки, что я добирался от школы до дома за два часа. Останавливался у витрины и забывал обо всем. Там были и зеленые попугаи с загнутыми клювами, и разноцветные мячи, и маленький поезд, конец которого скрывался в глубине тоннеля, автомобильчики, ключики которых, торчащие сбоку, сводили меня с ума, и, наконец, маленький красный велосипед. Долше всего я смотрел на велосипед... И всегда его видел во сне. Когда мы с отцом проходили мимо магазина, я невольно замедлял шаги и тянул отца за руку.

- Не висни, – тихонько говорил отец, отводя взор от витрины.

Я не осмеливался просить, чтобы он купил мне этот красный велосипед: я знал, что у него сейчас нет денег. Если бы были, он бы и сам купил. Если бы были, он не давал бы мне с каждой получки только пятнадцать копеек, чтобы я покупал у торговца сладостями Али всего одну конфету “Коровка”. Давал бы больше – ведь он знал, как я любил “Коровку”.

Но в то же время мне очень хотелось, чтобы отец знал, как я мечтаю иметь этот маленький красный велосипед. Я снова тянул отца за руку и говорил: “Давай немножко посмотрим, а?..”

И я смотрел. И все время ждал, что отец спросит, на что это я так долго смотрю. Но отец ничего не спрашивал и только говорил еще тише: “Пошли, сынок”.

Мы шли, держась за руки, и больше ни о чем не говорили по дороге. Мне почему-то было так жаль его, что я в мыслях плакал и за себя, и за отца. А на следующий день, возвращаясь домой из школы, снова останавливался у витрины и смотрел на маленький красный велосипед. И чего только не придумывал! Я уже прочел тогда несколько книжек, и в их числе “Козетту”. Козетта была маленькой бедной девочкой, которую хозяйка все время била и держала под столом. Хозяйкины дочери имели все – разные игрушки, красивые куклы, – но они не разрешали бедной Козетте играть с ними. И однажды один человек по имени Жан Вальжан увидел, что у Козетты нет куклы, пошел в магазин и купил ей самую красивую куклу, ту самую, которая стояла на витрине и на которую смотрела, проходя по улице, Козетта.

Я тоже смотрел на маленький красный велосипед и непрестанно ждал, что вот сейчас, откуда ни возмись, подойдет ко мне кто-то, увидит, что я смотрю на велосипед, и спросит:

- Ты хочешь этот велосипед?

- Да, - сказал бы я.

- Подожди здесь, не отходи, я сейчас приду.

Войдет в магазин, купит маленький красный велосипед и подарит его мне...

И хоть я долго-долго смотрел на витрину, но никто не подходил ко мне. По нашей улице не проходил ни один Жан Вальжан, и вообще не было никакого Жана Вальжана. Неправда все в этой книжке под названием “Козетта”...

Теперь я смотрю на забитую досками витрину магазина, и мне становится грустно. Правда, если бы велосипед там был, я бы все равно не купил его. Но лучше бы он там был. Я бы хоть подумал, что если захочу, куплю его прямо сейчас, на свою зарплату. А его нет. Когда у меня не было денег, велосипед был... Сейчас – нет.

Взбегаю по ступенькам. Все уже дома. Отец режет самодельным вращающимся ножом табачные листья, мать шьет в углу телогрейки для бойцов Красной Армии, сестра помогает ей.

- Голоден до смерти, - говорю я громко.

Швейная машинка перестает стрекотать. Мама идет на кухню и приносит мне тарелку пиперта⁴ без масла и картошки, то есть просто отварной зелени, которую она раз в неделю собирает с особого разрешения и благоволения Тиграна-ахпара под оградой его сада.

- А где хлеб? - спрашиваю я разъяренно.

⁴ Пиперт – съедобная зелень (арм.)

- Я кусочек припрятала тебе на вечер, Артак джан, - удивленная моим тоном, растерянно отвечает мама.

- Надо, чтобы и днем был, и вечером, - бросаю я.

- Откуда, сыночек? – еще тише спрашивает мама, - по карточкам столько не дают.

- А вы покупайте на рынке!

Наверное, даже землетрясение так не потрясло бы отца.

- А деньги, деньги где взять?

- Ах, да... Деньги... - восхищен я. – Значит, деньги нужны, да? А почему мне не говорите? Эх, папа и мама, интересные вы люди...

С этими словами я лениво лезу в карман, достаю триста пятнадцать рублей – всю мою зарплату – и небрежно швыряю на стол.

- Вот, берите деньги!

Сейчас отец и мать радостно возьмут деньги и...

Но никто не улыбается, и такая тишина воцаряется в нашем доме, что слышны голоса всех соседей. Потом отец мрачно подходит ко мне:

- Откуда принес? – спрашивает он тоном, не обещающим ничего хорошего.

Мне немного страшно, но я пытаюсь с улыбкой продолжить игру:

Деньги как деньги, папочка.

Откуда принес? – яростно спрашивает он снова.

Нет, сейчас того и гляди, ударит! Я вскакиваю с места, бегу к матери, прячусь за нее и победоносно объявляю:

- Это мои, моя зарплата, папочка! Клянусь тобой, клянусь мамой! Я работаю курьером...

И торопливо рассказываю им, какие хорошие люди товарищ Эстер, товарищ Ася, товарищ Эгине, товарищ Гегуи, товарищ Ваган... Но почему наши не радуются, почему еще больше мрачнеет отец, почему плачет мать? Неужели они думают, что я говорю неправду?

- Не спишь, Артак джан? – шепотом спрашивает мама.

- Нет, – говорю я.

- Как ты устает! – вздыхает она. – Ведь у тебя и силенек-то еще нет, сыночек! Уйди с работы, как-нибудь проживем...

Она снова молчит и ласково гладит мне лоб, щеки и за ушами, как в детстве. Я целую ее руку, маленькую мягкую руку, от которой вечно пахнет материей и на безымянном пальце которой когда-то было золотое колечко.

Нет, я не уйду с работы, мамочка! Именно ради тебя не уйду. Думаешь, у меня очень тяжелая работа? Рассыльный – бегаю себе по городу и еще буду бегать, буду делать все, получу много денег и куплю тебе блестящие лакированные туфли, красивые цветастые платья и много-много колец для всех твоих пальцев, - потому что ты самая лучшая на свете, самая добрая и самая красивая мамочка!

КАК МОЖНО НЕ ВЕРИТЬ?

- Ну, иди спать, Артак джан, а то уже дремлешь за столом!

Желтые кольца прекращают свою пляску, быстро сливаются в одно, и я смотрю на единственное пока тоненькое желтое колечко на мамином пальце.

- Спокойной ночи, мам!

Выхожу из кухни и осторожно, чтобы не разбудить отца, открываю дверь нашей комнаты. Отец покашливает в углу. Огонек папиросы на мгновение освещает его бледное морщинистое лицо и широкие, коротко подстриженные усы.

- Это ты, Артак? – спрашивает он, хоть я и уверен, что он ждал именно меня.

- Да, добрый вечер, вернее, доброе утро, папа!

- Если будешь писать, зажги свет, не иди на кухню, - говорит он.

Вот тебе раз! Ослышался я, что ли?

- Но ведь ты при свете...

- Ничего, ничего, работай.

Ясно, отец прочитал мой фельетон! Впервые он не только не предупреждает, чтобы я не включил свет, но даже сам предлагает работать при свете единственной в комнате лампочки. Нет, значит, точно прочел мой фельетон. И, небось, всем на заводе показывал.

- Нет, папа, спать хочется, – растроганно произношу я.

Я, видимо, вздремнул на кухне, и сон пропал. Честно говоря, спать мне совсем уже не хотелось.

За эти последние несколько дней произошло столько радостных и важных для меня событий, что я не хочу спать, хочу просто лежать, погрузившись в свою радость, лежать и мечтать.

- Послушай, сынок! Что ты сделал с этим Везирианом? – смеется отец, и я чувствую, что он расположен к беседе. – Все, что ты там написал, – правда?

- Ну конечно же, правда!

- Или только пять процентов? Наш мастер Михаил говорит, что если есть хоть пять процентов правды, уже разрешается печатать.

- Нет, папа, это раньше так было. Сейчас нужно сто процентов.

- Ну, ну, ну! – Чувствую в темноте, что отец качает головой. – Да пропади он пропадом. Ладно, зачем этому человеку столько денег? Разве столько проешь?

Эх, папа... Если всю твою зарплату до копейки мы проедаем, то ты и думаешь, что деньги уходят только на еду. Я представляю себе, как Везирян проедает нахапанные десятки тысяч, и давлуюсь от подступившего смеха. Отец, кажется, понимает меня и с удовольствием и недоверием в голосе продолжает:

- Ну хорошо! Скажем, дом свой обставил, скажем, жену и детей в коверкот одел. Скажем, каждый день едят толму и ходят в кино... А дальше? А остальное? Впрочем, я, честно говоря, не верю, чтобы такой жадный, загребуший человек жил хорошо, - заключает он. – Обязательно будет скупердеем, будет дрожать над деньгами и, в конце концов, сдохнет, а деньги останутся. Другой кто-нибудь попользуется ими, да еще и посмеется, как наш односельчанин Ханес рассказывал. Ты помнишь рассказ нашего Ханеса? Значит, так! Однажды этот наш Ханес в Баку...

Я не знал рассказа Ханеса, зато еще с колыбели слышал, как отец сам рассказывал об этом самом Ханесе. И с тех пор слышал его много-много раз. Эту историю о человеческой жадности я знаю наизусть, но не могу сказать отцу, не хочу его расстраивать. Ведь он рассказывает с таким воодушевлением...

- Вай! Да вы еще не спите? – входит мать и укоряет отца. – Ребенок устал, самому тебе через три часа на работу, а ты надумал в тысячный рассказывать эту байку!

Отец обиженно умолкает, затем обращается ко мне:

- Артак, разве я тебе рассказывал?

- Нет, папочка, а что было дальше? – спрашиваю я.

- Эх! – обижается мать.

- Вот видишь! – победоносно покашливает отец. – Если ты слышала, то не слушай, ложись спать, - говорит он матери.

Мать грузно опускается на кровать, а отец еще долго рассказывает заговорщическим шепотом, чтобы не мешать матери.

- Хорошая история, правда, Артак?

- Очень поучительная история, папа!

Отец довольно покашливает и поворачивается на бок.

И вот я уже наедине с моим первым фельетоном, с моей гордостью, моим восторгом. “А. Левонян”... Красивая фамилия, даже за псевдоним принимают.

“Звучит!” - Как сказал наш лектор, он же редактор газеты Овик Сарьян.

Месяц назад я проходил практику в редакции. Поручали мне разные фитюльки, поэтому, когда сказали, что меня вызывает редактор, я облегченно вздохнул. Значит, хочет дать серьезное задание. Когда я, волнуясь, вошел в просторный кабинет, редактор разговаривал по “вертушке”, что-то объяснял и, так как на другом конце провода его не понимали, ерзал багровый от злости в своем широком кресле, огорченно мотая головой. Пару раз я попытался улизнуть, но он жестом останавливал меня. Наконец, со стоном швырнул трубку на рычаг.

- Да-а, думаешь легко быть редактором? Трудно-о, трудно-о, – как всегда растягивая последнюю гласную, произнес он, проводя правой рукой по широкому лбу, будто стараясь стереть плохое настроение.

Потом взял со стола какое-то письмо и протянул мне.

- Пойди проверь и, если нужно будет, если почувствуешь, что писать необходимо, – напиши. Через пять дней отчитываешься. Речь тут о начальнике стройуправления Везириane. И вот еще что – возможно, автора письма не найдешь. Не обращай внимания – иногда боятся, подписываются чужой фамилией. Ну, иди!

Я потом долго думал, откуда он знал, что подпись чужая? Долго искал того, кто предъявлял начальнику стройуправления серьезные обвинения, но выяснилось, что человека с такой фамилией и именем на участке нет. Оставалось проверить факты, но те, кого я спрашивал, неуверенно переглядывались, опускали глаза и молниеносно исчезали. А когда я попросил одного молодого каменщика уделить мне несколько минут, тот с нарочитой грубостью отказался и намного громче, чем нужно, когда беседуешь со стоящим в метре от тебя человеком, процедил сквозь зубы:

- Чего вам нужно, а? Не видите – работаю. Не отрывайте от дела, и без того мешающих много. Хотите что-нибудь узнать – спрашивайте у Везириана. Здесь он хозяин.

В другое время я бы плюнул и ушел. Но сейчас не мог. Очень уж был взбешен: молодой парень, косая сажень в плечах, силой – Давид Сасунский, наверняка, бывший комсомолец, – а сам дрожит, по сторонам поглядывает, начальника “хозяином” величает.

- Ну, знаете, вы просто трус, – вышел я из себя, – вам только анонимки писать. Собственно, чему тут удивляться: если ваш начальник – “хозяин”, то уж вы, конечно, слуга.

Сказал, и сразу пожалел. Что же это я делаю? Сейчас он тоже взбесится, и неприятностей не оберешься. Вот влип в историю! Но, удивительное дело, каменщик не только не рассердился, но даже раскатисто, от души, расхохотался.

- Сколько вам лет? – давась от смеха, спросил он.

Терпеть не могу, когда спрашивают о возрасте. В этом вопросе всегда есть что-то обидное, независимо от того, кто спрашивает. А если еще спрашивает такой тип!..

- Это к делу не относится, – сухо ответил я.

- Относится, – вдруг посерьезнел он. – Да еще как!

Он присел на камень, который только что обтесывал, и, глядя снизу вверх, сразу перейдя на “ты”, сказал с нескрываемой горечью:

- В твои годы и я так думал. Потом поумнеешь, поутихнешь. Коли попадешь к такому Везириану – и голос потише станет, и спина согнется, и сам научишься по сторонам поглядывать. И не говори – “Нет”! А то вроде меня, восемь лет проработав десятником, – станешь рядовым каменщиком.

Теперь мне все было ясно. Этот из тех, кто, потерпев на работе первую же неудачу, впадает в уныние, начинает злословить, отравлять и себя, и окружающих, и весь мир.

Он, кажется, понял меня. И я не удивился. Почти все разгадывают мои мысли. Непонятно, как это им удастся? Почему-то я не могу, а они – пожалуйста! Как-то раз даже спросил у матери. Она грустно улыбнулась и сказала: “От молодости это, Артак джан, повзрослеешь, не смогут разгадывать”. “А это хорошо или плохо, мам?” – спросил я. “Смотря кто читает твои мысли, – сказала она, – а вообще-то не очень хорошо, трудно тебе будет жить”. И так как я загрустил, добавила: “Но ты не думай, это пройдет само собой, непременно пройдет”.

- Ты сейчас думаешь, какая у меня мелкая душонка, да? – ухмыльнулся каменщик. – Хорошо, что подтверждаешь, значит, еще не научился врать. Потому и спрашивал, сколько тебе лет. Ну, садись рядом, расскажу. Садись, садись! Не бойся, подложи свой блокнот и садись, я все равно не для записи рассказываю. Да, брат, не отрицаю, измельчал я душой. Вернее – довели... И знаешь кто? И в мыслях у тебя нет! Дети мои, малышки, бабочки мои сладкие, как их мать зовет. Удивляешься? А ведь удивляться нечему...

Помолчал, ковыряя землю носком ботинка.

- Раньше, когда я видел несправедливость, не молчал, говорил. Говорил во весь голос – не слушали. На собраниях глотку надрывал и в конце концов добивался своего. Что мне могли сделать? С работы снять, да? Ну, а дальше что? Думал – пусть снимают – тесла ведь моего не отберут. Похожу пару месяцев по разным инстанциям, докажу, что они не правы. А вот теперь не могу. У меня трое детей, понимаешь, браток? Они не такие принципиальные. Им есть надо, и сегодня, а не через два-три месяца...

- И вы продаете свои принципы за паршивый кусок хлеба?

- Да, – вдруг разозлился он, – да, продаю, купишь? Дешево отдам. Надоело, – перешел он на крик, – устал я! Чего тебе от меня надо? Сейчас эти вещи очень подорожали, дефицит... Принципы!.. А то у вас их много. Знаем мы! Ходите взад-вперед – ведь мы все видим! Могу с

десяток очерков и статей показать. Все обо мне, но меня-то ни в одном нет! Слушай внимательно, ни один – не я. Читаю и, смотря по настроению, то плакать хочется, то смеяться. Давеча тоже приходил один. Улыбается, по плечу похлопывает. “Как дела?” – спрашивает. “Плохо, – говорю, – стройматериалы вовремя не подвозят, простаиваем”. “А планы, планы выполняете?”. “Да как их выполнять, – говорю, – когда стройматериалов нет”. “Но тем не менее выполняете, правда ведь?” – снова спрашивает он и не глядя на меня, строчит что-то в блокноте. Так и не дожидаясь ответа, упорхнул на другой участок. А через два дня читаю в газете, что “я, делом откликаясь на призыв передовых строителей района, широко развернул предмайское соревнование и добился огромных производственных успехов”. То-то! Нет, брат, нечего мне говорить. Собственно, чего там говорить? Если очень хочется, возьми ведомости на зарплату по любому участку и пойди разыщи получающих зарплату рабочих. Коли найдешь – и мне покажи. Ну а теперь задай мне пару вопросов попроще, о планах что-нибудь, – вдруг сказал он с какой-то растерянной, фальшивой улыбкой, – наш прораб идет. Не оборачивайся...

Я тоже растерялся, как пойманный на месте преступления, и, хотя уже слышал за спиной шаги прораба, не мог выдать ни слова. Положение спас молодой каменщик:

- Вот товарищ Солахян, – сказал он, указывая на высокого мужчину в синей сатиновой куртке и с традиционным карандашом за ухом, – что я могу ответить на ваши вопросы? Все данные у товарища Солахяна.

Я обернулся и, уже окончательно растерявшись, хотел задать какой-нибудь вопрос о предмайском соревновании, но, к счастью, прораб опередил меня.

- Вы из редакции? – спросил он. – Товарищ Везирян просит...

- А откуда он знает, что я здесь? – удивленно спросил я.

- Не знаю, – ответил прораб и, мгновенно бросив на каменщика подозрительный взгляд, прошел вперед, показывая мне дорогу.

Несмотря на хаос и мусор, царившие на всей огромной строительной площадке, кабинет начальника управления был довольно чист и со вкусом обставлен.

Сам Везирян сидел в невесть откуда взявшемся на стройке старинном барском резном кресле и подписывал бумаги. Лицо его показалось мне знакомым. Никакого сомнения – я где-то видел этот широкий квадратный подбородок и добрые ясные глаза, которые будто говорили собеседнику: “Я отлично тебя понимаю, я сам такой же и охотно извиняю тебя”. Этими самыми добрыми глазами он улыбнулся и, быстро вскочив, направился мне навстречу.

- Приветствую, товарищ корреспондент! Будем знакомы. Левонян? Очень, очень рад, люблю вашу работу. Сам иногда бумагу мараю, да что подделаешь – не получается. Хотя да, тут без таланта не обойдешься. Муза нужна... Позвольте, я, кажется, с вами уже встречался? Ну да,

конечно, память меня еще никогда не подводила. У Бадамяна! Правильно? Вспомнили? В горкоме комсомола, вас тогда утверждали завотделом райкома? Теперь, никак, перешли в редакцию?..

Я же говорил, что где-то его видел!

... Я ждал в приемной секретаря горкома Бадамяна своей очереди – надо было взять выписку из решения бюро горкома комсомола о моем назначении заведующим отделом райкома. Этот человек с квадратным подбородком и добрыми ясными глазами вошел в приемную и, не глядя на очередь, сразу открыл дверь кабинета. Изнутри раздался радостный возглас, и целых полчаса Бадамян никого не впускал. Затем стал вызывать ожидающих, но человек этот остался в кабинете и, по-хозяйски развалившись в кресле у окна, листал какой-то журнал.

- Итак, товарищ Левонян, идите и работайте, помните, что вас назначили в порядке исключения по рекомендации товарища Сарьяна. Вообще-то студенты-очники не имеют права работать. У вас еще впереди госэкзамены?

- И диплом, – сказал я.

- Да, кстати, откуда вас Сарьян знает?

- Он наш лектор, – сказал я.

- Ну смотрите, работайте хорошо. Работать в райкоме комсомола – большая честь! – сказал секретарь горкома, и его худощавое длинное лицо приняло еще более торжественное выражение. – Постарайтесь оправдать доверие комсомола.

- Оправдает, Каро, оправдает! Сразу видно – хороший парень!

Это сказал мужчина в кресле. Он смотрел на меня с симпатией и одобрением и широко улыбался. Я бросил на него полный признательности взгляд и, пробормотав какие-то слова благодарности, вышел из кабинета секретаря. Уже потом, на улице, я удивился, почему Каро Бадамян не сказал этому человеку, что наши родители односельчане, что мы почти родственники? И почему со мной он был так официален? Может, не вспомнил? Я же очень хорошо помнил его. Когда в детстве мы ездили на лето из Еревана в село, я всегда его видел. Он был на несколько лет старше меня. Длинный и тощий, в сырмятных обутках на ногах, он шел за волами, то и дело нещадно ударяя их хлыстом и покрикивая тонким голосом "хоп-хоп". Я жалел волов, когда он изо всех сил бил их, и злился, почему они так безропотно, так смиренно покоряются ему. Почему не обернутся и не поднимут его на рога? Хлыста боятся, что ли?

Настроение мое сразу упало. Дома я рассказал отцу о встрече в горкоме. Отец нахмурился.

- Бадалов сын? Уже до этого дошло? Э, если он сын своего отца, – далеко пойдет! Наверное, не узнал тебя, а то бы вообще не принял.

- Редактор газеты, наш лектор, звонил ему.

- А-а, это другое дело! Теперь понятно.

- Папа, – сказал я, – почему ты так? Я его знаю, много раз слышал его выступления. Знаешь, как здорово и умно говорит? Как-то на университетском собрании он говорил о положении негритянских детей в Америке – так весь зал рыдал.

- Сын своего отца... – помолчав, повторил отец.

- Кто? – спросила мама, войдя в комнату.

- Сын Бадала, Артаков начальник, – с ухмылкой объяснил отец.

Мать тоже нахмурилась.

- Да прекратится род их, – прошептала она. – Сколько невинных людей погубил его отец!

- За что? – удивился я.

- Кто его знает, сынок? Всех “контриками” окрестил...

Родители для меня священны, но, честно говоря, их отношение к Бадамяну мне неприятно. Село, да!.. Мало ли какие там были ссоры да споры. Может, Бадал Бадамян, действительно, плохой человек, ну и что? Какое имеет к этому отношение Каро Бадамян, который, блестяще окончив университет, удостоился высокого доверия комсомола и был избран секретарем горкома. Я снова вспомнил его искренние, пламенные выступления. Вспомнил его худощавое, слегка желтоватое лицо и пылающие глаза, когда он говорил об американском империализме, и пожалел, что завел весь этот разговор с отцом. Подумаешь, был официален, большое дело! А что, должен был обнимать и лобызать? Ведь он, в первую очередь, секретарь горкома, и я не у него дома, а в кабинете...

- Хорошо я вас поддержал, правда? – засмеялся Везириан, возвращая меня к действительности. – Теперь вспомнили?

Я извинился, что сразу не узнал его, снова поблагодарил и в ответ на его вопрос сказал, что все еще работаю в райкоме, но сегодня пришел по заданию редакции. Не знаю почему, я почувствовал какую-то вину перед Везирианом. По дороге, на основании данных письма и бесед с рабочими, я был полон такой ненависти к начальнику стройуправления, что представлял его себе мрачным и подлым негодяем.

А тут оказывается, что Везириан – это обаятельный, улыбчивый человек, способный протянуть руку помощи любому.

- Давайте перейдем к делу, – серьезно сказал Везириан, хотя глаза его продолжали излучать тепло. – Дорогой товарищ Левонян, молодой друг мой! Разрешите спросить, кто дал вам право без разрешения руководителя учреждения, в данном случае моего, бродить по строительной площадке, беседовать с рабочими и задавать вопросы, подрывающие мой авторитет?..

“Оперативно донесли” – изумился я.

- Удивляетесь? – добродушно засмеялся Везириан и, встав с места, положил руку мне на плечо. – Да, я все уже знаю. Я могу весь день просидеть в этой комнате, но буду в точности знать, что происходит у меня в любом уголке стройки. Я могу сказать, с кем и о чем Вы говорили. Иначе невозможно было бы столько лет честно руководить этим огромным учреждением. И если б я искренне не уважал Вас, вашу молодость, если б я сам не внес некоторой лепты в Вашу, так сказать, карьеру, я мог бы со спокойной совестью написать маленькое письмецо в Центральный Комитет, а копию – Вашему редактору. Вы, конечно, представляете себе, какого содержания? Я попросил бы строго наказать корреспондента, который нарушая нормы журналистской этики, отрывал рабочих от дела, пытался настроить их против руководства, требовал дать ложные сведения и выражал недовольство нынешней системой оплаты труда, утвержденной правительством. Ну, товарищ Левонян, что бы Вы сделали с таким корреспондентом?..

Я удивился и растерялся. И вправду, если б он не был честным и добрым человеком, мог бы все это написать. Ведь я именно так и действовал, неосознанно, конечно. Не думал, что все можно воспринять и так. Вот так напасть! Что же мне теперь делать? Как беседовать о редакционном задании, не говоря уже о о письме, которое как гиря повисло во внутреннем кармане... А если промолчу, что сказать в редакции? Нет! Обязательно надо показать письмо, ясно ведь, что все там ложь. Такой человек не может быть нечестным, не может быть подлецом!

Читая письмо, он ни на секунду не изменился в лице. С доброй и слегка грустной улыбкой он скользил взглядом по кривым строчкам и только изредка огорченно покачивал головой. И от этого еще больше щемило у меня на сердце. Я проклинал и себя, и редакционное задание, из-за которого невольно причинил огорчение людям.

Кончив читать, он грустно улыбнулся.

- Вот ведь какие люди есть на земле, – сказал он, протягивая мне письмо, – жертвуешь собой ради дела, забываешь и себя, и семью, днем и ночью в пыли и грязи строишь людям дома и вот, пожалуйста, получай награду! Какая-то злая душа, какой-то лодырь и бездельник, которого, вероятно, когда-то вышвырнул со стройки, пытается запятнать твое имя, твою честь и делает это из-за угла.

Я вас спрашиваю, товарищ Левонян, зачем нужно было честному человеку, человеку, болеющему за интересы государства, прятаться за чужой фамилией? И это в наше время, когда критика и самокритика являются мощным, важным орудием прогресса. Я искренне сожалею, что в вашей редакции придают значение подобным кляузам, и поговорю, где надо!

В ответ я, окончательно сломленный, объявил, что полностью с ним согласен, что я не виноват, мне просто поручили проверить, и я был вынужден...

- Не оправдывайтесь, друг мой, я вас ни в чем не виню, – сказал Везириан. – Вы делаете свое дело. А как вы могли иначе? Вам все описали так, будто я занимаюсь приписками, за ту же работу оплачиваю разным людям по-разному, что у меня здесь “мертвые души”, то есть деньги

выписываются на несуществующих людей и присваиваются. Вот вы и пришли, чтобы увидеть виновника всех этих злодеяний, преступника.

Он горько засмеялся, потом нагнулся и нажал скрытую кнопку звонка.

- Прошу вас, сейчас я затребую ведомости зарплаты. Проверяйте!

- Ни за что, – сказал я, искренне обидевшись, – я и сам уверен, что все здесь ложь! И не позволю себе...

- Залибек! – обратился он к бухгалтеру, который, подобно всем главбухам, был в очках, но смотрел поверх их. – Принеси ведомости зарплаты за прошлый месяц!

Главный бухгалтер на секунду застыл со склоненной головой, вопросительно посмотрел на начальника, затем, не говоря ни слова, повернулся, почти мгновенно принес и положил перед Везиряном кипу ведомостей и, по знаку последнего, вышел.

Снаружи кто-то вбивал гвозди в сухое дерево, и ритмичные удары молотка будто опускались на мою голову. Я просил Везиряна отказаться от своего намерения, говорил, что не буду смотреть эти ведомости, что мне и без того все ясно, и что я так и доложу редактору.

Но он, не обращая внимания на мои слова, подошел ко мне и, продолжая грустно и обиженно улыбаться, свернул ведомости в рулон и, отогнув борт моего пиджака, засунул рулон во внутренний карман.

- Возьмите, возьмите, спокойно проверьте их там, – сказал он, – я вам доверяю, друг мой, возьмите, разоблачайте меня, преступника!

Снаружи продолжали вбивать гвозди в сухое дерево, и я не выдержал.

- Почему вы хотите меня оскорбить? – выкрикнул я и, достав из кармана рулон, швырнул его на стол.

В коридоре он догнал меня, крепко обнял за плечи, затем, взяв под руку, провел по двору, шепча на ухо: "Спасибо, спасибо, что верите. Я расскажу обо всем этом Каро, представляю себе, как он будет доволен".

У ворот несколько рабочих, обнаженных до пояса, умывались под сильной струей воды, бьющей из изогнутой, как змея, трубы и вскрикивали от удовольствия. Когда я проходил мимо, один из них выпрямился и посмотрел на меня долгим презрительным взглядом. Это был недовольный и трусливый каменщик, которого сняли из десятников. Я не отвел глаз и ответил таким же презрением – ишь, каков! Сняли с должности, так он клеветает на людей!

Он что-то сказал моющимся, потому что все посмотрели на меня и заржали. Но я, не обращая на них никакого внимания, вышел за ворота. Мне было так легко, так радостно, что я почти летел. Как хорошо, что письмо оказалось ложью! Какой превосходный человек этот Везирян,

какой мягкий, интеллигентный. Он обнял, меня, поблагодарил только за то, что я ему поверил!
А почему я не должен был верить, как можно не верить человеку?

ВОЛОСАТАЯ РУКА

Мне так хотелось разделить с кем-нибудь свою радость, что я решил немедленно повидаться с Нанар, и хоть до встречи с ней оставалось еще около часу, я прямо направился в кукольный театр. До начала спектакля оставалось совсем немного. Кассирша уже хотела закрыть окошечко, но я успел протянуть ей деньги и попросил один билет.

- Для ребенка тоже надо взять билет, – сказала кассирша, – или вы не пойдете?

- Какого ребенка? – удивленно спросил я.

- Так вы один? – в свою очередь удивилась она.

Нет, сегодня решительно все намерены поднять мне настроение. Значит, я настолько повзрослел, что было бы естественно видеть рядом со мной маленького мальчонку или девочку с белой лентой в волосах. Вот смеху-то! Если расскажу Нанар, как она отреагирует? Я выпятил верхнюю губу и скосил глаза на тонкие длинные кончики своих усов, один из которых предательски прерывался и восстанавливал свою целостность лишь с помощью черного карандаша. Тут я уловил удивленный и слегка испуганный взгляд контролерши и, едва сдерживая смех, с третьим звонком вошел в зал.

Оркестр начал выводить светлую и торжественную мелодию. Занавес горел, переливался и слегка вздрагивал в свете прожекторов.

Душа моя вдруг наполнилась воспоминаниями, а сердце облегченно забилося в тихом мирном ожидании. И сам я будто уменьшился в своем кресле, превратился в маленького мальчика в коротких штанишках с косой челкой на лбу, застывшего в предвкушении чуда, и мне захотелось заплодировать вместе со всеми, чтобы это чудо поскорее свершилось. Занавес открылся. Издали доносилась постепенно приближающаяся девичья песня, а когда девочка, наконец, появилась на сцене, оказалось, что это совсем даже мальчик, маленький крестьянский мальчонка с хурджином, закинутым за плечо, который самым смешным образом, как-то бочком, выплыл на сцену, огляделся выпученными глазенками, упал, чтобы скинуть хурджин, и, тряся головой, произнес закрытым ротиком:

- Ох, притомился совсем, задыхаюсь от жажды, а дорога все тянется и тянется. Что делать? Не знаю. Ага, хорошо придумал, лягу под этим деревом, посплю немного, а потом пойду дальше.

Мальчик с выпученными глазами принял горизонтальное положение на боковой стенке сцены, потом вдруг куда-то провалился. В следующую секунду чья-то большая волосатая рука подняла его и на сей раз так крепко пристроила на доске, что изображавший дерево кусок картона чуть не рухнул. Ощущение было такое, будто выругались в церкви.

Мне стало стыдно, я, кажется, даже покраснел и стал расти, расти, пока не превратился снова в парня в длинных брюках, который совсем недавно разглядывал у входа свои усы.

Я думал, что зрители возмутятся, засвистят, зашумят. Но ни звука не раздалось. Никто ничего не заметил. Я посмотрел на сидящую рядом девчущку, но она даже не заметила моего движения: с широко раскрытыми блестящими глазами она зачарованно уставилась на сцену, нижняя губа ее оттопырилась и дрожала от волнения.

Мальчик только заснул, как вдруг со сцены раздался жуткий рев, от которого маленькие зрители вздрогнули, а я улыбнулся. На сцену вывалилось нечто большое и красное, несколько раз проволочило по ней свое негнущееся туловище и прорычало ужасным голосом:

- Человеческим духом пахнет! У-у-у, человеческим духом пахнет...

Я сразу понял, что и этот густой голос, и большая волосатая рука принадлежат одному и тому же человеку.

- Наверное, тот мальчишка идет, - прогремел голос, - сейчас я его поймаю и сожру, ха-ха-ха... Куда еще идти ему? Пойдет по этой дороге, чтоб попасть к солнышку, ха-ха-ха!

Было ужасно смешно. Так называемое красное чудище то и дело падало, касаясь спящего мальчика, но не замечало его. Угрожало, что сожрет, но не имело предусмотренной для этой цели пасти. Чтоб не рассмеяться, я опустил голову и закрыл руками лицо, но в ту же секунду почувствовал, что кто-то тихонько тянет меня за руку.

- Не бойся, дядя, чудовище не съест Газара, сейчас птичка разбудит его. Не плачь, дядя, честное слово, я видела!

Я чуть не заплакал! Зря пришел сюда. Видно, больше никогда не смогу, как раньше, как эта маленькая девчущка, смотреть на сцену и верить. Не буду плакать, глядя на братца Гарника; не буду смеяться, видя, как младший брат дурачит жадного богача; мне уже никогда не будет казаться безоблачной жизнь, богатыми и роскошными – одежды придворных, золотой – царская корона. Я буду смотреть на все это и замечать прежде всего, что занавес обветшал, что сверху смотрит не месяц, а двадцатипятисвечовая лампочка, что за мальчика говорит девушка, что корона сделана из обыкновенной жести, а вместо дерева – зеленый картон. Тьфу!

Уже шагая по улице, я вдруг подумал, что, может, раньше, в мое время, куклы были лучше, глаза у них открывались и закрывались, когда они говорили, говорили ртом, и так, что я зачарованно слушал... Как моя маленькая соседка.

Через десяток лет эта девчущка, вероятно, тоже взгрустнет, вроде меня. "Нет, в мое время кукольный театр был другим" – уверенно скажет она. Тогда, как, в действительности, это она станет другой, как стал другим я и как станут все.

На углу торговали папиросами, и я решил купить свой очередной пяток папирос, которые курил только при Нанар, чтобы казаться солидным мужчиной. В первое время, когда мы только

познакомились, я покупал только две и старался не затягиваться, потому что очень кружилась голова и душил кашель. Потом мало-помалу стал затягиваться и довел число папирос до пяти.

Я сунул руку во внутренний карман, чтобы достать единственную купюру, и почувствовал, что там есть еще какая-то бумага. Удивленно извлек ее и еще больше удивился: в руках у меня была одна из ведомостей стройуправления. Тридцать пять имен и фамилий, тридцать пять адресов, тридцать пять чисел, тридцать пять подписей. Подумал, что надо немедленно отнести в стройуправление, может там ищут. Но Нанар, наверное, уже вышла из театра и ждет меня. Что делать? Отнесу завтра утром, решил я, и вдруг во мне заговорил давний критик кукольного театра. Все равно, идти нам некуда, предложу Нанар под предлогом знакомства с родным городом проверять некоторых из адресатов ведомости. Хоть для формы, но проверить, для собственного спокойствия.

Нанар стояла на трамвайной остановке, но любой человек сразу догадался бы, что она никакого трамвая не ждет. Я осторожно подкрался к ней сзади и зарычал на ухо: “У-у-у, человеческим духом пахнет...”

Нанар испуганно обернулась, тихонько рассмеялась, потом сразу посерьезнела и схватила меня за пуговицу пиджака.

- Ты что, был в зале?

- Угу, - сказал я.

- Говорят не “угу”, а “да”, понял?

- Угу, - ответил я.

- И меня слышал, Арт?

- Нет, я вспомнил, что у меня срочное дело, и сразу вышел. А ты кем была?

- Птичкой.

- А-а, так это ты должна была разбудить Газара?

- Откуда ты знаешь? – удивилась она.

- Одна девчушка сказала.

- Какая девчушка? У нас таких нет.

- Как то есть нет? В зале рядом сидели!

Нанар снова засмеялась, но отпустила пуговицу, и мы двинулись мимо застывших деревьев, застывших людей, застывших автомашин, застывших зданий... Во всем мире двигались только мы.

- Ну а Газар дошел до солнышка?

- Нет, - сказала Нанар, - но он достиг места, где люди живут радостно и счастливо, и узнал, что солнышко – это свобода.

- А что же, резонно, - выпучив подобно Газару глаза, кивнул я, - почему бы тебе вместо Газара не повести к солнышку меня. А еще говоришь – “люблю”. “Эй, красивый юноша, уходи немедленно, тебя окружают чудовища и заколдованные вещи. Быстрее в путь! И иди, не оглядываясь, как бы тебя ни звали, ни соблазняли, ни очаровывали! Слышишь? А не то окаменеешь!”

- “Благородная птичка! Почему они хотят превратить меня в камень? Ведь я никому не делал зла, - голосом Газара сказала Нанар, - я просто хочу дойти до солнышка”.

- “Тогда – в путь, добрый юноша, я буду сопровождать тебя”. К солнцу пока идти не стоит, Нанар, - сказал я, - а если хочешь обязательно сопровождать меня, то веди, пожалуйста, на улицу Конда⁵, в дом номер 163, где обитает рабочий-строитель Саркис Кюрегович Бабаян.

- Кто это? - спросила Нанар.

- Один из тридцати пяти, расписавшихся в этой ведомости. Пошли – по дороге расскажу.

Хорошо, что когда-то я был курьером. Город знаю, как наш дом, где, к великому удивлению матери, с закрытыми глазами нахожу припрятанные ею сладости и сухофрукты. Знаю много улиц и множество домов. По-моему, вообще было бы неплохо, если б все были хоть немножко курьерами. Другой бы битых два часа стучался то к одному, то к другому, а мы меньше чем за пятнадцать минут уже были во дворе дома 163. Нанар осталась у ворот, а я нажимаю кнопку звонка и спрашиваю у появившегося в дверях высокого юноши, где живет Саркис Бабаян?

- Здесь он жил, заходите, я его сын, - говорит юноша.

- Как то есть жил? Он, что, переехал?

- Да, - лицо юноши мрачнеет и будто каменеет, - переехал отец, два месяца назад... Скончался...

Что он, спятил, что ли, или меня разыгрывает? Как это умер два месяца назад, если в этом месяце он получил зарплату в стройуправлении и расписался? Я растерянно смотрю то на ведомость, то на юношу и снова полностью читаю имя, фамилию, отчество и адрес.

- Да, это мой отец. А вы по какому делу?

⁵Конд – район г. Еревана.

- Ваш отец работал в стройуправлении? – оставляя его вопрос без ответа, продолжаю я.

- На стройке? Да. В прошлом году месяц работал сторожем. Потом уволился. Восемь месяцев пролежал больной...

У ворот я хватаю Нанар за руку, и она, почувствовав что-то неладное, испуганно спрашивает: “Что случилось, Артак?”

Я весь дрожу и чувствую непреодолимое желание убежать. Бежать куда глаза глядят, бежать, сгинуть... Пропади все пропадом... Что это, как же так можно... Как так можно жить... Как же теперь жить?..

- Погоди, Артак, ведь я не могу бежать за тобой.

Нанар рядом со мной, и я немного успокаиваюсь. Я объясняю ей, что произошло. Объясняю ей несколько раз, объясняю, чтобы она поняла, и вместе с ней понимаю и я сам, хотя уверен, что она всего не поймет, что она не увидит всего, как я до сих пор не видел, как та маленькая девчушка не видела, не замечала волосатой руки. И я говорю ей, что произошла ужасная, невероятная вещь – оказалось, что один человек с добрыми глазами и квадратным подбородком, очень-очень интеллигентный, воспитанный человек, в действительности совсем другой: украл чужую улыбку, чужие глаза, чужие манеры и, улыбаясь, стал обманывать меня, людей, весь мир.

- Не может быть.

Я не знаю, говорит ли Нанар это ради меня или просто сомневается. Но я хватаюсь за брошенную ею соломинку и, будучи бывшим рассыльным и зная, что все неясные вопросы можно разрешить у управдома, возвращаюсь назад.

Управдом, пожилая женщина в очках, привязанных к ушам шнурком, слюнявя палец, перелистывает страницы выцветшей домово́й книги и скользит по строкам и адресам.

- Вот, - говорит она, - я же вас не обманываю. У нас других Саркисов Бабаянов нет. Вот, - говорит она, - посмотрите, я его выписала.

...На улице мне в лицо летит теплая капля, и я невольно смотрю вверх. Небо темное-темное, только в одном месте завеса облаков слегка приоткрылась, и видны несколько звезд, мелькающих как светлячки, и застывшая рядом с ними луна: она такая некрасивая, такая неестественная, будто двадцатипятисвечовая лампочка в кукольном театре.

- Хочешь – побежим, – говорит Нанар.

И мы медленно спускаемся по улице Конда. У одного из столбов останавливаюсь, нагибаюсь и, прикрываясь от дождя, читаю другие фамилии и адреса ведомости. Надо проверить все, проверить дотошно, до мельчайших подробностей. Домой заходить уже не стоит, зайду к товарищу и возьму его велосипед – так будет быстрее. Значит, здесь придется расстаться.

- Ну, ты иди домой, Нанар, – говорю я.

- Нет, сначала уходи ты, а потом я, – говорит она.

Это типовой финал наших ежедневных встреч. Мы всегда минут десять спорим, кто должен уйти первым. Но сегодня я выхожу из себя:

- Ну хватит, – иди!

И, не дожидаясь, поворачиваю направо, спускаюсь по проспекту. Спускаюсь сначала быстро, разозленный, хмурый, потом постепенно замедляю шаги и оборачиваюсь. Нанар нет. Представляю себе ее, одиноко и грустно шагающую под дождем, и все внутри переворачивается. На мгновение останавливаюсь. За что нагрубил ей? Что сделала Нанар? И ненависть, которая до этого растворялась в моих шагах и в складках на лбу, заполняет сердце, переполняет его, готовая излиться на тех, кто отнимает у человека веру и отравляет его душу.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ТОВАРИЩ САРЬЯН?

Спокойствия нет и в этой комнате с двустворчатыми окнами и отделяющими ее от мира тяжелыми гардинами. За окном начали свой шумный концерт водосточные трубы. Они так дребезжат, так грохочут, будто решили втянуть в себя все небо, прикончить его.

- Ну, что новенького, Левонян? – Сарьян задает этот вопрос, не поднимая головы; левой рукой он делает какие-то неопределенное движение, что, вероятно, должно означать – садись, а правой продолжает что-то быстро писать, губы его плотно сжаты. Я знаю, что он задал этот вопрос просто так и совсем не ждет ответа. Именно поэтому я не отвечаю, чтобы не мешать ему, и, подойдя к окну, смотрю из-за занавески на улицу, где хозяйничает дождь. Люди утратили свой естественный облик: ни одной подтянутой личности, ни одной гордо поднятой головы, ни одной упругой походки. Идут, съежившись, втянув головы в плечи, перескакивают через лужи, с ненавистью смотрят на автомашины, которые, подобно чудовищным насекомым, шевеля светлыми усами, проносятся с глухим шелестом, окруженные веерообразными шатрами воды. И люди в панике удирают от этих шатров, идут, прижимаясь к стенам, пока первый же водосток не отбросит их снова к мостовой. Нет ни одного модного костюма, ни одной шляпки с пером, ни одной яркой краски, которая так пленяет в солнечные дни. Все уравнил дождь, смешал цвета, вымочил и испачкал весь мир, всех людей уподобил друг другу и хохочет устами сотен своих водосточных труб.

- Какой дождь!

Я вздрагиваю и хочу отойти от окна, но Сарьян кладет мне на плечо правую руку и останавливается рядом, глядя вниз.

- Великолепный дождь, - говорю я, чувствуя на плече тепло и тяжесть руки моего лектора, и от этого становлюсь немного счастливее.

Сарьян задумчиво кивает головой, будто одобряя, затем говорит таким голосом, что, кажется, не он это говорит, а его крестьянин-отец.

- Лишь бы не переборщил. Семена сгниют в земле...

Затем, не снимая руки, ведет меня к креслу, сажает, сам подходит к двери, приказывает секретарше сдать передовицу на машинку и никого не впускать. Потом возвращается, садится рядом со мной и смотрит на меня слегка выцветшими голубыми глазами.

- Ну, что новенького, товарищ Левонян, госэкзамены сдал? – И опять, не дожидаясь ответа, потому что он как научный руководитель нашего курса сам все отлично знает, продолжает: – Как дела в райкоме, совершаешь революцию по пионерской работе? – Затем гасит искорку

смеха в глазах, и я замечаю, что глаза у него вовсе и не синие, а цвета чистого безоблачного неба.

- Все факты подтвердились, товарищ Сарьян, – говорю я.

- Рассказывай все, со всеми подробностями, старайся не упустить ни одной мелочи.

Легко сказать – рассказывай, когда тебя слушает твой лектор, да к тому же Сарьян, который, мне кажется на первый взгляд, больше следит за правильностью твоих предложений и логических ударений, чем за содержанием. Я стараюсь говорить абсолютно правильно, но не получается. Не успеваю за мыслью, сержусь, жестикулирую и, в конце концов, решаю рассказать просто. Будь что будет. Но нет! Он меня не перебивает, не поправляет, на лице его собираются морщинки, и глаза становятся синими-синими.

Я рассказываю ему о творящихся в стройуправлении беззакониях, отмечаю, что, вступив в преступную связь с прорабами, главным бухгалтером и кассиром, Везириан подписывает липовые наряды, выдает зарплату примерно сорока “мертвым душам” и присваивает эту сумму, что... Но здесь Сарьян меня перебивает.

- Что значит “примерно”? Что значит “примерно”, такие факты надо приводить точно.

- Тридцать восемь, – уточняю я.

- А дальше?..

Объясняю, что был в домах всех этих “рабочих”, проверял лично, из этих тридцати восьми некоторые, действительно, когда-то работали на стройке, потом по той или иной причине перешли на другую работу, но в ведомостях на зарплату продолжают существовать. А некоторые – попросту родственники или члены семей прорабов, начальника управления, бухгалтера и кассира, которые не имеют к стройке ни малейшего отношения. Когда я сказал, что в роли крановщика фигурирует семидесятилетняя теща бухгалтера Залибека, а в роли землекопа – семилетний племянник прораба Солахяна, я думал, что Сарьян засмеется. Но он покраснел от гнева, нахмурил брови и стал нервно барабанить правой рукой по столу.

- Дальше, дальше?..

Я перечислил еще несколько фактов. На строительстве не ведется строгий учет материальных ценностей, и стройматериалы десятники берут столько, сколько хотят; на стройке не получен целый ряд материалов, однако они неведь откуда добыты и использованы. Произвола творится много, за одну и ту же работу разным людям платят по-разному.

- Да, еще один фактик вспомнил, – сказал я, – в прошлом месяце начальник СУ приказал удержать из зарплаты бригадира маляров тридцать процентов и лишить его премии за то, что тот осмелился пререкаться с прорабом, причем прав был бригадир.

Черт меня дернул назвать это “фактиком”: Сарьян резко встал со стула и всю злость, которая, вероятно, накопилась в его душе от моего рассказа, излил на меня. Я еще никогда не видел его таким огорченным и сердитым, и скорее удивился, чем обиделся.

- Значит, по-твоему, товарищ Левонян, беззаконие – это “фактик”? Значит, отнимать у трудящегося его честный заработок, подвергать его хозяйственному террору, обижать, сеять семена неверия в его душе – это всего лишь “фактик”, да? И это говорит мой студент! А ты знаешь, что это гораздо более печально, чем все то, что ты рассказывал о воровстве на стройке. Да, да! И ты должен писать именно об этом, хотя, я уже сомневаюсь, сможешь ли ты написать так, как надо. Да, да, разреши усомниться... А этот твой Везирян – фрукт! Речи на конференциях произносит...

Слава богу, буря улеглась!

Я его почти не слышу. Опустил голову и думаю: ну вот, Везирян замутил еще одну душу, отравил ее, заставил еще одного человека говорить такие слова и таким тоном, о которых он вскоре будет жалеть и, сердясь на самого себя, стараться выйти из положения. И это будет мучить его тем более, чем более раним и добр этот человек. Уж это-то я хорошо знаю. Уже четыре года, как Сарьян преподает мне. Человек, способный как ребенок переживать чужую беду, радоваться найденному студентом удачному заголовку, точному эпитету, маленькой газетной информации. Он говорит, а я вспоминаю, каким грустным и подавленным вернулся он месяц назад из командировки в район. Как обычно бывает в таких случаях, темой всех кулуарных разговоров в редакции было настроение Главного. Тысячи предположений и догадок высказывались, пока замредактора, бывший вместе с ним в командировке, все не рассказал.

В одном из отдаленных горных районов Сарьян посетил среднюю школу райцентра. Сразу же собрал вокруг себя ребят и стал беседовать и шутить с ними. Это была одна из его известнейших слабостей. С нескрываемым удовольствием он требовал, чтоб каждый рассказал о своих успехах, сообщил свою, так сказать, биографию. Кто родители, где работают, сколько сестер и братьев, как их зовут, какие книги читают...

Очередь дошла до одной двенадцатилетней девочки.

- Тебя как зовут, красавица? – спрашивает Сарьян.

- Асмик, – отвечает девочка.

- Прекрасное имя. Обладательница такого имени должна хорошо учиться. А ты как учишься?

- Отличница, – подсказывают со всех сторон.

- Очень, очень хорошо, молодчина, – радуется Сарьян и вдруг, вообще очень щепетильный и чувствительный, этот человек задает еще один вопрос, который становится началом его страданий.

- А вот это нехорошо, - говорит он, - подошвы твоих туфелек, как я вижу, отклеились и висят, как язык собаки в жару. Прошу тебя передать папе, чтоб обязательно прибил их. Ладно?

На глаза девочки неожиданно набегают слезы, она всхлипывает и, закрыв лицо руками, выбегает из класса.

Сарьян бледнеет.

- Что случилось, почему она убежала? Может, я ее чем-нибудь обидел? – растерянно спрашивает он у собравшихся.

И ученики, перебивая друг друга, объясняют, что у Асмик нет отца, что ее отец погиб две недели назад в руднике, когда пытался спасти засыпанного оползнем друга.

Растерянный и подавленный Сарьян просит разыскать девочку, но ее нигде не могут найти, и он возвращается в гостиницу.

“Весь день он больше никуда так и не вышел, – рассказывал заместитель редактора, – к нему пришли друзья, с которыми он учился в институте и которых очень любил, но он объявил, что болен и хочет остаться один. Долгое время мрачно ходил по комнате взад-вперед, огорченно мотая головой и беззвучно шевеля губами.

Я попытался его утешить, сказал, что ничего особенного не произошло, что это просто недоразумение – откуда он мог знать, есть у девочки отец или нет.

- Вот в этом и все дело, – редактор остановился и стал барабанить по стене согнутым указательным пальцем, – в этом и все дело. Если чего-нибудь не знаешь, зачем интересуешься, зачем расспрашиваешь? Должен был почувствовать, я должен был почувствовать, ведь у девочки были такие грустные глаза. – И тут его глаза тоже заблестели от слез.

Потом вдруг решил разыскать Асмик. Позвонил куда-то, наверное, директору школы, узнал адрес и заставил меня его сопровождать. Но прежде чем пойти к Асмик домой, зашел в магазин, в полной растерянности накупил всего, не думая даже, соответствует ли это возрасту девочки. Купил большого медвеженка и электропоезд, купил цветастое платье примерно на семнадцатилетнюю и блестящие лакированные туфельки, купил большой резиновый мяч, разноцветные ленты и даже несколько воздушных шариков. Попросил подсчитать, порылся в карманах – денег не хватило. Растерянно огляделся, потом попросил меня одолжить все имеющиеся у меня деньги, взял еще и у водителя и, к великому удивлению опешившего продавца, накупил конфет и печенья, каких-то красивых коробок и консервов. И только тогда мы отправились к Асмик домой.

Хотя мы рано утром должны были быть в Ереване, он до поздней ночи не уходил от Асмик. Сидел рядом с ней, а когда она уснула, долго смотрел на ее личико, потом украдкой положил что-то ей под подушку. Вероятно, оставшиеся после покупок деньги. Когда мы уходили, он довольно сухо, чтоб не показаться вдруг сентиментальным, и скрывая свое волнение, сказал матери Асмик:

- Тикин⁶, считайте меня самозванным дядюшкой вашей дочери, то есть человеком, который несет определенную ответственность за ее будущее и только. Да, и только...”

- Ну, а теперь иди и пиши, завтра ровно в одиннадцать фельетон должен быть у меня на столе.

– Редактор снова положил мне руку на плечо, и глаза его были снова небесно-голубые. – Не вздумай ради красного словца или остроумного оборота исказить или преувеличить факты. Пусть лучше будет не очень красиво, но правильно. Ну иди, чего стоишь? Думаешь, у меня других дел нет?..

⁶Тикин – обращение к замужней женщине (арм)

МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ

Рядом с новыми большими розовыми зданиями есть еще в городе дома, похожие на остатки глиняных крепостных валов. Одноэтажные земляные домишки с грустными, затянутыми решеткой глазами, с проросшими зеленью кровлями и широко расставленными костылями подпорок. Человек может несколько раз пройти мимо этих домов, не найдя прохода. И, тем не менее, проход есть, есть маленькая узкая дорожка, которая вьется несколько метров и приводит прямо к дому, где живет Нанар. Я, который колоссальным волевым усилием смог на протяжении нескольких лет не писать стихотворений, сдался перед этой маленькой глинистой улочкой и после нескольких визитов, к своему стыду, написал на лекции по политэкономии:

Узенькая темная улочка моя,

Почему, ответь мне, так люблю тебя?

Всеми ты заброшена, но зачем порой

Сердце вспоминает о тебе с тоской...

И дальше в том же духе еще два четверостишия, где, омерзительно искажая факты, объявлял, что уже устал от городской сутолоки, асфальтированных проспектов и ярко освещенных ресторанов, и всей своей душой философа и пижона ищу одиночества и покоя на этой улице.

Ничего подобного. Более грязной и противной улицы на свете нет, и я в жизни не пошел бы второй раз по этой дороге, если б не было Нанар. Но она есть, есть моя Нанар! И поэтому я покорно стою сейчас на углу, в грязи, и, с небрежностью второгодника надув губы, высвистываю условный сигнал: “Скажите, девушки, подружке вашей...” И “Красавицы, не обижайтесь...”

Сегодня что-то не получается. Стоит только во второй раз затянуть “Красавиц”, чьи-то тяжелые шаги заставляют меня умолкнуть. Поворачиваюсь спиной и жду, когда пройдет мимо. Снова надуваю щеки и... снова шаги. Тьфу, будто стоишь на улице Абовяна. Скажите, какое движение! Если б только проходили мимо, еще ничего, так нет, этим, увы, не кончается. Каждый считает своим долгом изучить мое лицо. Неужели я так подозрительно выгляжу? Я поворачиваюсь, а прохожие, особенно пожилые женщины, отходят на несколько шагов, оборачиваются и внимательно изучают меня. Отворачиваюсь – заходят с другого фланга. Опускаю голову – ждут, пока не выйду из терпения и не начну так же пристально, разъяренно изучать их. А за соседними воротами живет мое самое большое несчастье в красном галстуке. В райкоме ли он видел меня, в школе или на каком-то слете, не знаю, но, кажется, вызубрил наизусть мое расписание. Как появляюсь на улице, выскакивает из ворот и, отдавая пионерский салют, вопит: “Здравствуйте, товарищ Левонян!”

Затем располагается на своем балконе и оттуда, будто из наблюдательного пункта, держит под прицелом всю улицу. Ну а я, конечно ж, не могу перед ним надувать щеки и просить красавиц не обижаться. Весь мой авторитет заведующего отделом школьно-пионерской работы растворится в моем свисте. Остается один выход, к которому я и прибегаю. Дохожу до самого конца улочки и возвращаюсь оттуда независимой походкой, насвистывая, будто между прочим. И вот, наконец, над белыми занавесочками появляется силуэт Нанар, и вскоре на деревянной лестнице слышатся ее шаги.

Мы, почти задевая стены домов, проходим по воспетой мной “узенькой, темной” проклятой улочке, и я говорю:

- Нанар джан, извини, пожалуйста, ладно?

Нанар ничего не говорит, но ее улыбающиеся ясные глаза – это уже ответ.

- Чем кончилось? – спрашивает она.

Я рассказываю ей все и зачитываю фельетон, первый в моей жизни фельетон, который сегодня в одиннадцать часов я положил на редакторский стол.

Нанар ликует, когда я описываю, как редактор, прочитав материал, ничего мне не говоря, вызвал ответственного секретаря, велел отправить фельетон в типографию и запланировать в воскресном номере.

- Джан! – хлопает в ладоши Нанар и сразу же с тревогой спрашивает: - Артак, а ты не боишься?

- Кого? – смеюсь я. – Все факты верны.

- Не знаю, - говорит Нанар. – Я боюсь за тебя...

И тут я решаю взять Нанар под руку, впервые при свете дня. Она отнимает руку, но я держу ее еще крепче. Она краснеет, опускает голову, щепчет:

- Ой, неудобно, увидят.

- Да брось, “неудобно, неудобно”, что неудобно? – сержусь я. – Хватит, в конце концов. Увидят – ну и пусть. Можно подумать...

Не окончив своей тирады, я сам, будто получив удар тока, убираю свою руку и отстаю на шаг. По другой стороне улицы навстречу нам идет мой брат Бабкен. Не смотрит, но знаю, что уже нас видел, ухмыляется и исподтишка грозит кулаком левой руки, мол, вот каковы твои собрания, гуляешь втихомолочку!

- Что случилось? – испуганно останавливается Нанар.

Я растерянно киваю головой в сторону Бабкена.

- Мой брат, – говорю я.

Теперь смущается Нанар, только что не плачет.

- Видишь, – говорит она, – нашел время. Скажите, какой смелый! “Увидят – ну и пусть...”

Она так похоже передразнивает меня, что я смеюсь – настоящая актриса! Нанар не выдерживает, тоже начинает смеяться, и я, воспользовавшись моментом, беру ее руку на сей раз со всей решимостью.

Теперь пусть видит, кто хочет!

- Давай возьмем билеты в театр, а? – предлагаю я. – Или в кино пойдем, что хочешь?

- Нет, только не в театр, только не в театр, – тотчас отказывается Нанар. – Пойдем в кино.

Она так поспешно отказывается от театра, что я начинаю злиться. Почему не хочет, может, боится, что нас увидят знакомые актеры? Если ничего нет, почему избегает? Что... Нанар? Нет, глупости... Или, может, есть другая причина?.. И вдруг замечаю, что в этот сырой весенний день на ногах Нанар босоножки.

- Как хочешь, – говорю я.

И как это я до сих пор не замечал, что она ходит в босоножках? Хотя да, как я мог разглядеть их в калошах, ведь мы не ходили в такие места, где надо было разуваться. Я тайком смотрю на ее маленькие ножки, на старенькие босоножки с темными следами от калош, которые, будто стыдясь бурных вешних вод, осторожно выбирают сухие места на асфальте, и еще крепче прижимаю к себе руку Нанар.

Она никогда не рассказывает о своей семье, никогда не плачется, хотя я знаю, как тяжело ей приходится, знаю, что на ее маленькую зарплату живут она и мать. Только однажды она сказала, что шести лет лишилась отца. Она почти не помнит его. Только смутно, очень смутно вспоминает маленькую дощатую будку на маленькой площади, где шатахец-парикмахер Григор – всегда немножко навеселе и, подобно всем парикмахерам в мире, чуть болтливее остальных людей – бреет чужие головы. Потом, закончив работу, сажает маленькую Нанар на плечи и, широко шагая, слегка покачиваясь, наклонив голову и мурлыча какую-то грустную песню, идет к их глинобитному дому в конце узенькой улочки. На всю дневную выручку он покупает в магазине вино и еду, созывает громким голосом соседей и начинает пировать, посадив Нанар на колени. Пьет мутное вино и, уставившись мутными глазами на дочь, тихонько сетует:

- Эх, Нанос, была бы ты парнем, пошли бы освободить нашу родину от нечестивцев, эх...

После смерти отца мать больше не вышла замуж, работала в двух местах уборщицей и содержала девочку.

А сейчас дочка содержит мать. Эта моя маленькая Нанар. Она не говорила, но я знаю: и в техникум она пошла только для того, чтобы получать стипендию, чтобы мать могла работать в одном месте.

Не доходя до площади Ленина, я хлопаю себя ладонью по лбу.

- Ты смотри, Нанар, чуть не забыл!

- Что? – беспокоится она.

- Сегодня день рождения моей сестры, – говорю я. – Утром пристала, мол, купи мне подарок. Что делать?

- А деньги у тебя есть? – спрашивает Нанар и быстро лезет к себе в карман. – У меня немного...

Я хватаю ее за руку.

- Дело не в деньгах. Сегодня я получил зарплату. Но что купить – ума не приложу. Слушай, может туфли купить, а? – говорю я. – У нее нет приличной обуви.

- Ага, – радуется Нанар, и глаза у нее радостно сверкают, – а размер ее ноги знаешь?

- Размер? Откуда мне знать, – теряюсь я, – и вправду, что нам делать? – затем с озабоченным видом смотрю на ее туфли, – знаешь что, Нанар, мне кажется, ее ноги точь-в-точь того же размера, что и твои.

Нанар тоже смотрит вниз, краснеет и отводит ногу назад.

- А если не подойдут?

- Не подойдут – завтра принесу и обменяю, – говорю я, – главное – преподнести сегодня. Ведь не оденет же она их сразу.

Мы заходим в небольшой магазинчик у площади и начинаем внимательно изучать разложенные на наклонных полочках туфли. И вдруг оба вместе замечаем лежащие в углу синие туфельки на толстой резиновой подошве. Удивительные туфли, самые модные, мимо них невозможно пройти. Жаль только – ценник не виден. Нанар просит продавщицу показать их, берет так осторожно, будто они из стекла, восхищенно осматривает и даже почему-то нюхает, закрыв глаза.

- Сколько они стоят?

Продавщица называет такую цену, что я слегка бледнею, а Нанар просто в испуге кладет их на прилавок и отодвигается. Продавщица лениво убирает туфли, улыбаясь с какой-то ехидцей, презрением, и именно эта улыбка все решает.

- Примерь, Нанар, – говорю я со злостью, нащупывая в кармане свою зарплату.

- Ты что, спятил? – еще дальше отодвигается Нанар.

- А твое какое дело? – разгневанно шепчу я. – Не имею права купить для сестры, что ли?

Нанар так смущена, что долго не может снять свои босоножки. А когда надевает эти великолепные синие туфли на толстой резиновой подошве, я впервые замечая, какие у нее изящные, красивые, маленькие ножки.

Я небрежно швыряю на прилавок свою зарплату, швыряю, честное слово, без всякого сожаления, гордо и с легким сердцем. Так идут Нанар эти синие туфли! Потом, заметив, что Нанар нагнулась и хочет снять туфельки, нагибаюсь сам и тихонько, счастливым голосом шепчу ей на ухо:

- Поздравляю с обновкой, Нанар!

- Что?!

Я почти силой вытаскиваю ее из магазина, и, чтобы не было больше никаких возражений, обезумев от радости, забегаю вперед и изо всех сил забрасываю ее завернутые в газету старенькие босоножки на плоскую крышу соседнего дома. Туда им и дорога...

- Избавились, - хохочу я.

- Псих, псих, - шепчет Нанар, - псих!..

... Я возвращаюсь домой почти бегом, высоко подпрыгивая и задевая вытянутой правой рукой мокрые ветки деревьев, промокаю весь, пьяный от радости, пьяный от запаха вишни. Останавливаюсь только перед нашей дверью, чтобы обдумать, что я скажу, когда спросят о зарплате. Потом решаю махнуть на все рукой. Достану где-нибудь, а потом понемножку верну. Впрочем, мне ведь еще предстоит получить гонорар за фельетон. Интересно, сколько дадут? Эх, деньги, деньги! Как вы мне нужны! А ведь есть люди, которые, качая головой, многозначительно заявляют: "Деньги что – деньги прах!" Или: "Деньги – это грязь".

Неправда! Отвратительная фарисейская ложь! Так могут говорить только те, у кого слишком много денег. Кто просто так, без труда имеет их и дрожит над ними, кто боится, что ты попросишь займы, кто не понимает, что деньги могут помочь тебе сделать кого-то немножко счастливее, и тем самым стать счастливее самому.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО НАШИ

Прежде чем зайти в здание райкома, я останавливаюсь чуть поодаль и внимательно осматриваюсь: не заметил ли кто-нибудь из райкома партии, что я снова приехал на работу на велосипеде. Собственно, меня волнует лишь, чтобы не увидела помощница секретаря райкома Белла Григорьевна. Не знаю, почему она меня не переносит, особенно когда я на велосипеде. Глаза мечут искры, и она дрожит всем телом от ярости.

- Ты... ты работник райкома или цирковой артист? – шипит она. – Знаешь ли, что тем самым ты бросаешь тень на весь райком. Что подумают комсомольцы, что подумают пионеры, что подумают пионервожатые? Сможешь ли ты заставить, чтобы они уважали тебя? Никогда!

Мне трудно отвечать ей, потому что она говорит по-русски, а я русский знаю плохо. Честно говоря, и она не ахти как знает, коверкает слова, вставляет армянские, да и ударения всегда ставит неправильно, но не стесняется этого, говорит очень быстро, а я стесняюсь. Только раз вышел из себя, не выдержал:

- Белла Григорьевна, – говорю, – а, собственно, что в этом постыдного? Во всем мире ездят на велосипедах. В Туле, например, на велосипедах ездят и стар, и млад. Что же в этом такого?..

- Капиталистические страны для нас не образец, – оборвала Белла Григорьевна.

Но сегодня помощницы секретаря райкома не видать. Открываю дверь, втаскиваю внутрь велосипед и быстро направляюсь к комнатке уборщицы тети Паши.

- Тетя Паша...

- Знаю, знаю, – смеется старушка, – оставь здесь, Белла Григорьевна не увидит, – говорит она по-армянски, смешно коверкая слова.

В комнатах нашего райкома комсомола никого нет. Еще не пришли. Смотрю издали на свой письменный стол, который напоминает маленький пионерский уголок. Над ним висит переходящее знамя городского совета пионерской организации, которое отнюдь не является признанием моих заслуг, а досталось мне в наследство от предшественника. А вот прикрепленные под знаменем две почетные грамоты получил я. На весенней спартакиаде пионеров и школьников наш район завоевал первое место, а по сбору металлолома – второе. На столе – чернильный прибор в виде макета Кремля: подарок от делегации пионеров Тбилиси.

Я очень люблю свою работу, это тоже я унаследовал от своего предшественника, старейшего пионерского работника города товарищ Лизы. Пять лет я был у нее внештатным инструктором и не знаю никого, кто бы так самозабвенно любил свою работу. В пионерской работе многое повторяется из года в год, в частности, форма слетов, однако каждый раз товарищ Лиза так

волновалась, так переживала, будто проводила первый слет, делала открытие. Всегда и всюду она была в красном галстуке и, горе тому пионервожатому, который предстал бы перед ней без галстука.

- Я с тобой незнакома, – говорила она, – у меня таких вожатых нет.

- Ты, дружок, – говорила она другому пионеру, – похож на своего брата Вагана – такой же неряха, а ведь лучше бы ты походил на свою сестру Шушан.

Всех она знала. Знала не только пионеров, но и их братьев и сестер, родителей и родственников, знала, где кто работает, чем может быть полезен в пионерской работе, какую шефскую помощь может оказать школам. По улицам она шла гордо, то и дело поворачивая голову, потому что со всех сторон раздавалось: “Здравствуйте, товарищ Лиза!”

Весь город здоровался с ней, все были либо сейчас, либо в прошлом ее пионерами. Уважали ее безгранично. Она была очень требовательной и строгой, и мне казалось, что она слишком строга, даже немного суховата. И только потом почувствовал, что она просто несчастный человек: это случилось в тот день, когда я принимал у нее дела.

Кто-то из ответственных товарищей сказал, что она по возрасту давно уже не соответствует пионерской работе и товарищ Лизе предложили работу в профсоюзах. Вечером в райкоме были только я и она. Подавленно и мрачно она открывала ящики, доставала какие-то папки, перечитывала лист за листом, порой, забывая о моем присутствии, так увлекалась какой-нибудь бумагой или фотографией, что вдруг улыбалась, громко смеялась, хлопала рукой по столу и закрывала глаза. Кто знает, кого представляла себе, кого вспоминала... Кто знает? Потом снова мрачнела и доставала новую папку.

Заботливо, аккуратно сложила все, отобрала свои личные письма, грамоты, книги, фотоснимки, завернула их в пакет, перевязала бечевкой и встала. Снова нагнулась, осмотрела ящики, не забыла ли чего? И вдруг увидела свой галстук, красный галстук, конец которого лежал на столе. Не выпрямляясь, медленно развязала узел, сняла галстук, поднесла к глазам и рухнула на стул.

Товарищ Лиза плакала! Я растерялся, не знал, что делать. Уйти, или сказать что-нибудь? Но что, что сказать? Я чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. Подошел, хотел погладить по плечу: ее коротко подстриженные волосы мелко вздрагивали, и в них уже было много седины.

- Товарищ Лиза! – робко произнес я.

Она не подняла головы, но заговорила, продолжая всхлипывать, заговорила бессвязно, горестно, будто уходила не из райкома, а из жизни.

- Я... не плачу, просто так... Что я буду делать?.. Ведь у меня нет никого на свете... Никого. Мои дети... моя жизнь... Мои пионеры...

- Они всегда будут с Вами, товарищ Лиза, - сказал я от души, - Вы ведь знаете... ведь они Вас... ведь мы Вас очень любим. Если Вы разрешите, чтобы в трудных случаях я обращался к Вам за помощью... ведь я многого не знаю...

Я очень хотел, чтобы она не чувствовала себя несчастной, догадывался, что она плачет не только о любимой работе. И потом понял. Она боялась старости. Как тот юноша из сказки, который, прожив вне своего времени, возвращается в родной дом и мгновенно стареет. Товарищ Лиза боялась состариться именно так, потому что знала – с потерей галстука она теряет и свою призрачную молодость, теряет безвозвратно и, подобно фотокарточке в проявителе, быстро станет видимым ее утомленное морщинистое лицо, – без смеющихся детских лиц, без фанфар и барабанов, без веселого шума и красных шелковых галстуков...

- Привет, мне не звонили? – слышится бас.

Это спрашивает Партев, наш заведующий орготделом, с которым мы сидим в одной комнате. Худой, тоненький парень, такой хрупкий, что даже не верится, что этот мощный бас вырывается из его груди. Одевается он с большим вкусом и невероятной аккуратностью, чем, понятно, вызывает мою зависть. Складки на его брюках – будто стальные – никогда не скомканы, рубашка настолько бела, что хочется писать на ней карандашом. Галстук тонкой петлей охватывает горло. Он единственный среди нас, кто садится писать в нарукавниках и, прежде чем позвонить по телефону, заботливо вытирает платком трубку. Очень искренний друг, открытая душа, великолепный слушатель, над любой остротой он так хохочет своим громким басом, так искренне радуется, что хочется рассказать еще что-нибудь остроумное, в крайнем случае, выдумать, лишь бы он смеялся. Два раза в месяц, в день получки, мы по очереди приглашаем друг друга в ресторан. Вчера была моя очередь, и мы провели восхитительный час после работы. Я рассказал ему, как во время летних каникул проработал два месяца грузчиком на консервном заводе. А когда со смешными подробностями описал, как в первый день, перетаскав несколько ящиков и мешков, явился вечером на свидание, и Нанар решила, что я выпил, Партев зашелся от смеха.

- Покачивался? – спросил он задыхаясь.

- Нет, и этого не мог, повис на плечах у бедняжки, – ответил я.

Партев долго хохотал, потом поинтересовался:

- Значит, такая тяжелая работа?

- Нелегкая, – сказал я, – но тяжелая она была только для меня. Остальные, постоянные рабочие, переносили мешки посвистывая. Привыкли. Потом и я привык. Плохо только, что начальник участка обманывал рабочих, выписывал заниженную зарплату, чтобы за счет экономии самому получить премию. А они этого не понимали. Я несколько раз уговаривал жаловаться, но они отказывались, боялись, что начальник озлобится. В конце концов я сам обратился к секретарю партбюро и с его помощью вопрос решился. Представляешь себе? Когда в следующем месяце наши ребята получили высокую зарплату, все окружили меня, стали просить, умолять, чтобы я

не уходил из бригады. “Как брата прошу, - говорил бригадир Гаспар, - оставайся, дался тебе университет, когда окончишь, разве будешь столько получать?..”

Партев хохотал до слез, голос его раскатывался по ресторану. Действительно, очень хороший, очень искренний парень...

- Нет, Партев джан, - говорю, - никто не звонил.

- Удивительно, - пожимает плечами Партев, вынимая белоснежный платок и поднося его к телефонной трубке, - должны были позвонить со швейной фабрики, будем слушать их вопрос на бюро.

Трудная у Партева работа, скорее, очень однообразная: собирает ведомости об уплате членских взносов, готовит бюро и пленумы, ставит решения бюро райкома на рассмотрение в организациях...

- Уже год, как работаю, но еще есть организации, где я ни разу не был, - огорчается он. – Если меня выгонят, правы будут, не так ли?

Работает весь день, не разгибая спины, работает так вдохновенно, будто творит. Убежден, что ему поручено сложное и ответственное дело, и изо всех сил старается оправдать доверие руководства. Он так требователен не только к себе. В каждом поручении он видит намного больше, чем есть в действительности. Вначале я думал, что он только шутит, когда с чрезмерной серьезностью дает кому-нибудь задание, потом понял, что нет, что у него характер такой.

Допустим, райком проводит какой-нибудь слет и надо разослать пригласительные билеты. Курьера у нас нет. Остается попросить комсомольцев, которые по той или иной причине зашли в райком. Кто-нибудь другой так бы и сделал. А Партев – нет. Он начинает беспокоиться, волноваться, хмуриться, внимательно изучает ребят, пришедших в райком, и, выбрав одного из них, приглашает в нашу комнату.

- Комсомолец? – спрашивает он строго.

- Да, – отвечает тот, невольно вытягиваясь.

Партев делает долгую паузу, продолжая смотреть на уже начинающего смущаться парня, и говорит тихо, но торжественно.

- Есть одно серьезное дело. И мне кажется, что ты можешь его выполнить. – Снова делает паузу. – Видишь эти конверты? Один из них должен попасть в Академию, второй – в университет. На конвертах написаны фамилии. Вручишь лично им, больше никому. Понятно? Можешь ли выполнить это поручение? Если нет – скажи прямо.

- Могу, товарищ Партев, – растроганно отвечает юноша.

Партев встает с места, торжественно пожимает комсомольцу руку.

- Ну, тогда удачи тебе, товарищ!

И эти слова он произносит так тепло, с таким сочувствием, будто посылает парня не в Академию, а по меньшей мере во вражеский тыл. И парень выбегает из райкома с таким воодушевлением, что я уверен, – жизнь отдаст, но конверты с пригласительными билетами доставит, а вечером, запершись в комнате, запишет в своем дневнике: “Третьего, пятого... месяца 195... года. Райком... Конверты – важные... Академия... Университет... Задание выполнено”.

Мне всегда кажется, что дав подобное поручение, Партев повернется ко мне и рассмеется басом, скажет: “Здорово, а?” Но он не поворачивается, а продолжает работать сосредоточенно и серьезно, как сейчас. На минуту отрываю его от дела.

- Партев, – говорю, – я иду на пионерский слет в школу имени Грибоедова, если буду нужен, – пусть звонят туда.

- Завидую тебе, – говорит Партев.

В коридоре замечаю, что обитая кожей дверь кабинета нашего второго секретаря приоткрыта. Значит, Месроп пришел. Могу поспорить, что сейчас снова звонит на завод своим друзьям. Ну конечно.

- Катя, Катя джан! Это Месроп... Ничего. Соедини с комитетом комсомола, да? Что, не пришли? Как то есть не пришли? Который час? А-а... На участке? Дай участок, сестренка.

Месроп ждет, и я, воспользовавшись моментом, здороваюсь с ним через полуоткрытую дверь. Он поднимает левую руку, улыбается, но я уверен, что эта улыбка адресована не мне.

- Варпет Саро! Это Месроп, здравствуй. Ну как вы, как, варпет Саро? Ничего, спасибо, братец. Что, открываете? Когда успели? Во сколько часов? Приду, как не прийти! Привет всем ребятам. Поздравь их. Приду, как не прийти...

Уже месяцев шесть, как пленум нашего райкома избрал Месропа вторым секретарем. Такое бывает не часто, поскольку Месроп не из нашего района. До этого он был секретарем комитета комсомола Станкостроительного завода, находящегося в другом районе. Но его знали и любили во всем городе. После окончания ФЗУ он пришел на завод и всего за год стал одним из лучших токарей-скоростников. Заочно, всего за два года, окончил политехнический институт и был назначен начальником своего же цеха. Но не успел проработать и несколько месяцев. Комсомольцы завода избрали его освобожденным секретарем комитета ЛКСМ. Оттуда его и похитили наши, доведя вопрос до ЦК, уговаривая и требуя. Он отличный организатор и пропагандист, работает очень хорошо, все им довольны... Кроме него самого. Все время живет заботами своего завода, каждое утро вот так звонит туда и интересуется всеми новостями. Выступления свои он начинает всегда одной и той же фразой: “У нас, то есть на станкостроительном заводе, когда обсуждался подобный вопрос...” Будучи человеком

добросовестным и талантливым, он отлично справляется с обязанностями второго секретаря райкома, но... сердце его на заводе. И почти каждый месяц, когда он с новым заявлением в руках входит в кабинет первого секретаря Саркисяна, я невольно вспоминаю старую известную сказку. Как попавшаяся в невод золотая рыбка, он просит в своих заявлениях первого секретаря: “Отпусти, старче, меня в море...” И каждый раз ждет, что Саркисян учтет его просьбу и ответит словами старика из сказки: “Ступай себе в синее море, гуляй себе там на просторе”.

Но “старче”, то есть в данном случае товарищ Саркисян, не говорит подобных слов, а с усталым лицом, краснея как ребенок, забирает у Месропа заявления и пишет наискосок авторучкой: “Оставить без последствий! Нам лучше знать, где вы необходимы”.

Пишет, но я уверен, что будь его воля, не писал бы так. Основание этой его резолюции лежит в ящике стола и принадлежит первому секретарю горкома. Так ответил на первое заявление Месропа Каро Бадамян и Саркисян каждый раз повторяет его, краснея как ребенок, и говорит Месропу со смущенной улыбкой:

- Завершается год политучебы, товарищ Месроп. Вот обобщим – потом что-нибудь придумаем.

Оба отлично понимают друг друга, и так как оба честные люди, то друг друга стесняются.

Я долго думал, почему товарищ Саркисян, хорошо знающий свое дело, имеющий богатый опыт комсомольской работы, пользующийся большим авторитетом у молодежи района, так подавлен, несамостоятелен; почему по любому пустяку спрашивает разрешения в горкоме и вскакивает, когда ему звонит Бадамян. Чего он боится? Он был именным стипендиатом, окончил университет с красным дипломом, ему предлагали остаться в аспирантуре, но он предпочел пока поработать и работает хорошо. Так почему и чего он боится?

Эту тайну мне как-то в ресторане раскрыл Партев, будучи слегка навеселе. Рассмеялся басом, откинувшись в кресле и сказал:

- Еще бы!..Конечно, будет бояться. Ты разве не знаешь, что его отец крупный уголовный преступник?

- Что ты говоришь? – опешил я. – Убил кого-нибудь?

Партев захихикал:

- Значит, по-твоему, только убийцы уголовные преступники? Нет, отец нашего Саркисяна был бухгалтером, связался со своим начальником и еще несколькими сотрудниками и присвоил большую сумму государственных денег. Всех их поймали и дали по десять лет.

Но для меня еще не все было ясно.

- Ну хорошо, а сын-то при чем, ведь он же не был в этой группе, – сказал я.

- А как он, коммунист, секретарь райкома комсомола, мог примириться с этим, как мог жить в одном доме с уголовным преступником? – рассердился Партев. Его маленькое тело сотрясилось от неподдельной ярости, - где была его бдительность? Почему он первым не разоблачил отца и не поставил в известность органы? Что, может, не знал? Это не имеет никакого значения, он должен был знать! О Павлике Морозове тоже не знал? О Грише Акопяне тоже не знал?! Они были всего лишь пионерами, но ценой своей жизни разоблачили своих родителей, родственников...

Я невольно с ужасом подумал о моем отце. Ведь я тоже коммунист, но и я никогда не интересовался, а как он?.. Нет, мой отец... Перед моими глазами на миг предстал он, с добрыми, усталыми глазами, с отвердевшими, покрывшимися желваками за долгие годы борьбы с металлом руками, с отрезанным пальцем, культия которого до сих пор трескается и ноет при холодах... Эти тяжелые, огрубевшие руки... В детстве, рассердившись, я как-то отлупил избалованного соседского мальчонку. Его мать пожаловалась на заводе отцу, сказала, что все избивают ее сына, потому что он сирота, потому что его отец не здесь, а сражается на фронте. И впервые в жизни отец ударил меня, и я впервые в жизни убедился, что если бьют сильно, из глаз, действительно, сыплются искры. Было очень больно, и поэтому я, глядя на него затуманенными глазами, выкрикнул сквозь слезы:

- Но, папочка, ведь он каждый день ломает сделанный мной песочный домик! Я ведь тебе не жалею! А ты, папочка, даже не спрашивая, ударяешь меня этой своей... этой рабочей рукой...

Отец вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, до слез, и сказал ласково и, наверное, сожалея. Сказал, весело поглядывая на свою твердую руку:

- Мои руки – вот эти, сынок. Откуда мне взять для тебя руки интеллигента, скажи на милость?..

Нет, мой отец преступником быть не может, это невозможно. А если... А если что-нибудь и сделает, значит, надо было сделать.

- Два года назад, когда на бюро обсуждали вопрос Саркисяна, я работал инструктором горкома, - продолжал Партев. – Видел бы ты, в каком он был состоянии. Все требовали снять его с работы и исключить из партии. И знаешь, кто его защитил? Бадамян. “Я думаю, - сказал он, - что мы не будем подходить к Саркисяну так строго, и дадим ему возможность продолжать работать, если он здесь, публично, отречется от отца”.

- А он? – ужаснулся я.

- Разрыдался, – засмеялся Партев, – а потом, когда Бадамян категорически спросил: “Скажи – отрекаешься?” – молча кивнул и, закрыв лицо руками, выбежал из комнаты. Так-то! А знаешь, почему Бадамян выступил в защиту Саркисяна? Ну, скажи, товарищ будущий журналист, ведь он сам поставил этот вопрос на бюро!

- А чего тут не понимать? Сжалился, наверное. Подумал, что не стоит быть таким жестоким.

Партев издевательски улыбнулся.

- Не верь. Для того, чтобы Саркисян все время вот так боялся его. Понял? Чтобы всегда чувствовал себя должником и боялся, чтобы все время думал, что Бадамян может снять его с работы, когда пожелает. А так как наш Саркисян по характеру действительно немного слаб... Он и пресмыкается перед Бадамяном. Понял? И я тебе по секрету скажу... Между нами... Саркисян и меня боится. Так-то! – Партев тихо, пьяно засмеялся. – Разве ты не замечал, как ласково он со мной говорит?..

- Ну здесь-то ты загнул, – засмеялся я, – тебя-то ему чего бояться? Если человек скромен и воспитан, значит, он трус? Он и со мной так разговаривает. Что, может, и меня боится?

- Тебя – не знаю, а меня боится. И знаешь почему? Однажды я встретил его у тюрьмы, когда он нес отцу передачу. Так-то! А ведь на бюро горкома отрекся! Если б я не был честным человеком и не уважал его...

Я, наверное, тоже много выпил... Кружится голова и тошнит. Чего только не бывает, чего только не услышишь... Поди и разберись, кто прав, кто виноват? То один кажется тебе честным, то другой; тот же поступок по словам одного кажется честным, по словам другого – нечестным. Поди пойми! Кого слушаешь, тот и кажется честным. Как сориентироваться, кому верить? Все, наверное, честные, просто друг друга не понимают. Так оно, вероятно, и есть. Так оно, вероятно, и есть!

ЧУДЕСНЫЙ ПЕРСИК ИЗ ЧЕРНОЙ ВОДЫ

Выйдя из райкома, поднимаюсь по Абовяна. Канавы по обочинам улицы от весенних дождей местами захватили тротуары. Журчат так, будто они – горные ручьи, вернее от зависти притворяются горными ручьями. Но чистоты в них нет, нет прозрачности в этих сумасшедших городских канавах. Текут мутные, черные. Чего только не несут с собой: и где только находят, не пойму. И щепки, и ветки, и лоскутки, и изорванные калоши, и картофелины, и корки хлеба.

... Хлебные корки! А в то время только почерневшие бинты плыли по этим канавам и еще, и еще однажды... персик, настоящий великолепный персик, который я увидел. Это был краснощекий персик, он, перекатываясь, подпрыгивая, плыл мне навстречу, будто чудо, явленное над черной водой. Я остановился, замер от восхищения и удивления, а он, продолжая подпрыгивать и кувыркаться, доплыл до меня и побежал мимо меня вниз по Абовяну. В следующую секунду я вырвался из рук сестры и побежал вниз по мостовой быстрее воды, быстрее персика. Догнал и перегнал его, нагнулся, опустил руку в черную воду и стал ждать. Он подплыл, увильнул из-под руки, будто издеваясь надо мной, и снова устремился вниз. Но куда он мог удрать? Я снова побежал, вымок до локтей, но поймал его на углу и достал из воды. Умопомрачительный был персик. Даже не надкушенный. Я вытер его рукой, затем обтер об одежду и побежал вверх по улице к сестре, чтобы поделиться с ней. “Смотри, – сказал, – смотри, Евгине, я принес настоящий персик”. Хотел показать ей, чтоб она тоже обрадовалась. Но Евгине выбила у меня из рук персик, и мутная вода снова понесла его вниз по улице, подбрасывая и крутя. И вместо того, чтобы я заплакал от обиды, она, сестра моя, сама залилась слезами.

- Если ты съешь грязный персик и заболеешь, что я скажу папе и маме?

- Дура, персик ведь внутри не грязный, – захныкал я. – А если теперь я умру от голода, что ты скажешь папе и маме?

А папа и мама сейчас думают, что мы живем себе припеваючи по нашим и их продовольственным карточкам. Осень, первая военная осень. Братья мои на фронте, все на фронте. Хлеба нет. Отец взял свой очередной отпуск и поехал с матерью в село, чтобы поработать на сборе табака, заработать несколько трудодней и привезти нам продуктов на зиму. И, кроме того, – “хоть досыта поедите”, – сказал отец мне и сестре, и так как Евгения на два года старше меня, ей было двенадцать лет, главой назначил ее. И сейчас мы, я и сестра, взявшись за руки, поднимаемся по Абовяна, идем к нашей старшей сестре, Люсик, чтобы попросить у нее взаймы, до приезда родителей, немного муки. Другого выхода у нас нет. С нами случилось большое несчастье: как говорит наша соседка тетя Назик – и врагу не пожелаешь такого – потому что я потерял все наши хлебные, продовольственные и промтоварные карточки на весь месяц.

Потерял, или у меня украли, я не могу сказать до сих пор. Карточки я должен был получить на заводе. Рано утром пошел на завод. Меня уже знали там, потому что многие из рабочих были наши соседи, жили в одном здании. Помогли, сказали – сын нашего Петроса, дали без очереди карточки, большие-пребольшие блестящие листы бумаги, которые я сложил и спрятал за пазухой... когда я вышел из ворот, мимо проезжал трамвай, я не захотел терять время, побежал и вскочил на подножку. Испугавшись на мгновение, ощупал грудь – зашуршало, значит карточки на месте. До угла улицы Кнунянца многие сошли и многие поднялись в вагон. Я тоже несколько раз спускался и поднимался, чтобы пропустить выходящих. А когда в последний раз сошел на нашей остановке и притронулся рукой к груди... сначала удивился, что ничего не шуршит. И мне показалось, что мало ли, может и не шуршать. Потом дыхание мое оборвалось, и я стал ощупывать грудь свою, лихорадочно задираю и опускать блузу, ощупывать свои ноги, руки, карманы брюк, снова задрал блузу и невольно закричал: безнадежно, с мольбой. Заметив, что трамвай вот-вот тронется, уже ничего не понимая, ни о чем не думая, рванулся и упал перед трамваем между рельсами. Как мог трамвай укатить, как мог удалиться: ведь он уносит мою последнюю надежду, наш хлеб, нашу жизнь. Раздался оглушительный скрежет, и меня окружили люди, пытались поднять, но я крепко вцепился в землю, я больше не хотел жить, я хотел умереть.

- Ты что, спятил, парнишка? – кричал побледневший вагоновожатый.

- У него, наверное, падучая, – рыдала одна женщина.

- Обождите, обождите, я знаю его, это сын моего товарища, – услышал я голос нашего соседа дяди Айро, – что случилось, Артак джан, что случилось, сынок?

А я-то думал, что все уже сказал, что все уже поняли, в чем мое горе. Вцепился в ногу дяди Айро и задыхаясь рассказал. Наверное, карточки выпали, наверное, они и сейчас в вагоне под ногами, ведь еще совсем недавно шуршали у меня за пазухой.

- Ну хорошо, хорошо, сейчас проверим, – убеждал дядя Айро, стаскивая меня с пути. А когда мы отошли, трамвай проехал мимо нас и все сразу опустело, исчезло в этом мире. Дядя Айро, крепко держа за руку, тащил меня по улице Кнунянца то уговаривая, то сердясь. Говорил, что я уже мужчина и должен уметь выдерживать удары судьбы, говорил, что он в мои годы уже работал на бакинских нефтяных промыслах и содержал семью, а с нами что такого случилось, разве ж он, соседи, завод допустят, чтобы дети варпета Петроса голодали? Разве они все вымерли? Он завтра же отрегулирует все на заводе, и нам выдадут новые карточки. Вот и все. Я уже не плакал, ныл для вида и со спокойной надеждой слушал дядю Айро. Но когда подошли к нашему дому, и я увидел наш подъезд, когда дядя Айро уговорил меня подняться, а сам пошел к себе, когда я подумал, что сейчас увижу главу семьи и Евгине спросит: “Где карточки?”, весь ужас действительности снова охватил меня, я почувствовал себя безгранично одиноким и несчастным, уткнулся в глинобитную стену дома Тиграна-ахпара и громко зарыдал.

Меня снова окружили, на сей раз – наши соседи. Узнав о происшедшем, они стали утешать меня и плакать. А тетя Назик сказала: “И врагу своему такого не пожелаю!” Известие о случившемся дошло, вероятно, и до моей сестры, потому что я увидел, как она, плача, бежит

вниз по лестнице, и от стыда и жалости отвернулся. Но, наверное, и вправду, в груди маленькой девочки бьется материнское сердце. Моя сестренка, всего на два года старше меня, схватила мою руку и провела сквозь толпу соседей, рыдая и в то же время гордо, независимо, с достоинством говоря мне по-взрослому, совсем маминым голосом:

- Братик мой глупенький, разве из-за этого стоит плакать? Не умрем же. Пойдем. Разве не стыдно при посторонних плакать? Разве из-за карточек плачут, братик мой?

А потом, дома, мы с ней еще долго рыдали из-за этих карточек.

Вечером к нам по очереди заходили соседи. Тетя Назик принесла под передником тарелку вареной фасоли, тетя Асмик – две картофелины, тетя Айастан с первого этажа, зажав в ладони, принесла вареное яйцо, а незнакомая старушка – столовую ложку масла. Она даже не знала, как нас зовут. Спросила: “Ребята, это вы потеряли хлебные карточки?”. “Да”, – ответили мы. Она положила масло на блюдечко, скрестила руки на груди, тихо поплакала и ушла. Кто была она, мы так и не узнали. Никто ее не знал. Самой последней ушла тетя Назик, но перед тем, как уйти, сказала, чтобы мы завтра пошли к нашей старшей сестре Люсик. Правда, она вам не родная сестра, сказала тетя Назик, зато двоюродная, выросла в нашем доме и очень многим обязана нашим родителям. Сейчас она, слава богу, живет очень хорошо. Они с мужем работают, у них в Норке сад, а детей нет. Так что пойдите – ведь она вам не чужая, одна кровь, когда узнает все – поможет.

И вправду. Как это мы сами не подумали? Сестрица Люсик очень хорошая и очень нас любит. Когда приходит в гости, всегда играет с нами, рассказывает сказки. Однажды принесла нам в подарок маленькие стульчики. Ну, конечно, когда она узнает!.. Мы так вдохновились перспективами на завтра, что, заправив все принесенные соседями припасы старушкиным маслом, досыта наелись и заснули счастливо и безмятежно.

А утром мы с сестрой, взявшись за руки, поднимались по Абовяна по краю бурной и мутной осенней канавы, что катила свои черные бешеные воды, неся с собой грязь, бинты, и еще персик, тот краснощекий чудо-персик, который не был даже надкушен, который всего секунду побывал у меня в руке и, выбитый ударом Евгине, подпрыгивая унесся вниз.

К полудню, измотанные и голодные, мы дошли до Норка. Собственно, голодные – не то слово, потому что проголодаться может только сытый. А мы ничего не ели со вчерашнего вечера. Мы тихонько поднялись по лестнице и, стесняясь, постучали в дверь. Никто не откликнулся. Немного подождав, я осторожно толкнул дверь. Она не была заперта. Мы вошли, и первое, что бросилось нам в глаза, был большой мешок с мукой, стоявший прямо за дверью. Мы стояли, зачарованно глядя на муку. Потом заметили, что в углу, на потушенной керосинке, стоит, испуская какой-то забытый, далекий, сводящий с ума аромат, маленькая кастрюлька.

- Я же говорила пойдем! – радостно засмеялась Евгине, как будто я ей когда-нибудь возражал.

В другое время я бы с ней повздорил, но сейчас был не тот момент. Мы осмотрели обе комнаты: никого не было. Подумав, что сестрица Люсик в саду, мы с Евгине вышли во двор, открыли калитку сада и вошли так осторожно, как если б этот сад был волшебный.

В саду стояла осень, и не было войны. Гроздья винограда висели рядами и улыбались жемчужными отблесками сквозь желтеющие листья. Ветви персиковых деревьев тяжело опирались на подпорки, а чуть поодаль, под большим деревом, стояла, широко раскрыв передник, наша сестрица Люсик и смотрела вверх, откуда один за другой падали с глухим стуком большие черные сливы.

Мы, продолжая держаться за руки, сделали несколько шагов, не осмеливаясь мешать сестрице Люсик и ожидая, когда она нас заметит. Но первым нас заметил с дерева ее муж, дядя Енок.

- Люшук! – сердито крикнул он. – Опять калитку оштавила открытой.

Сестрица Люсик испуганно подобрала передник и обернулась. Посмотрела как-то удивленно, будто не узнавая, потом растерянно улыбнулась.

- Ребятишки, пойдите, сначала закройте калитку, потом уж приходите, хорошо? – сказала она. – Но осторожно, не затопчите грядки.

Когда мы вернулись, дядя Енок уже спустился с дерева и, стоя рядом с сестрицей Люсик, смотрела на нас с кривой улыбкой.

- Ну в чем дело, дорогие родственнички, что нового в мире?

- Дядя Енок, - начал я смущенно. – Евгине хочет что-то сказать.

- Врет, - покраснела Евгине, - это он хочет сказать.

- Ну так что же вы вдвоем хотите сказать?..

Как ни было трудно, мы сказали, сказали вдвоем, перебивая друг друга.

- А почему вы пришли именно сюда? – ухмыльнулся дядя Енок.

И мы снова, перебивая друг друга, рассказали, что произошло, и что мы пришли попросить немного муки. Когда мама и папа вернутся, мы принесем. Дома у нас ничего нет. Поэтому...

- Ребятишки дорогие, в неудачное время вы пришли, – сладко улыбаясь, сказала грустно сестрица Люсик, – думаете, у нас есть? Вот сливы собираем, чтобы продать и купить хлеба. У нас самих нет, родные мои. Что бы сделать для вас? Хотя виноград бы поспел, дала бы вам по кисточке. Вот если зайдете деньков через десять...

- Ну не пошпел, так не пошпел! Не будем же ваш нешпелым кормить, еще животики жаболят, - улыбнулся дядя Енок.

Евгине, вообще-то, плаксивее меня. Глаза ее наполнились, она широко раскрыла их, чтоб не потекли слезы, и стала смотреть вверх на ветви дерева, заложив руки, как в классе, за спину. А я задышался. Горло свело судорогой и воздуха не хватало. Мне хотелось крикнуть: “а что это за мешок с мукой, а что это за обед?!”

Но мы были вышколенные, воспитанные дети. Мы уже научились проглатывать обиду. Мы видели и большее горе еще вчера и можем сдерживать слезы перед чужими, даже перед нашими родственниками. Мы к тому же и гордые, и чувствуем себя выше, потому что видим, как другие врут, потому что видим, как врут и улыбаются. Значит, и мы будем улыбаться, ведь и мы умеем улыбаться.

Слезы в глазах Евгине высохли. Я кашляю, потом подавляю рвущийся из меня плач. Мы снова беремся за руки и говорим тихо, как подобает воспитанным детям.

- Извините, дядя Енок. До свиданья, сестрица Люсик.

Потом сестрица Люсик говорит еще что-то, кажется, предлагает собрать и поесть опавшие с дерева сливы, но мы выбегаем из сада, не оборачиваясь, выходим из ворот и идем в обнимку, не глядя друг на дружку. От Норка до нашего дома путь длинный-длинный и нет никого из родных...

Сейчас я поднимаюсь по Абовяна. Иду в школу имени Грибоедова проводить собрание. И шагаю по краю взбесившейся от весенних дождей канавы. Чего только не несет она с собой: и изодранные калоши, и ветки, и картофелины, и куски хлеба. Куски хлеба!... Было бы время – пошел бы просто так по краю канавы, пока не дошел бы до того, кто бросает эти куски хлеба в воду. Взял бы, схватил его, отнял бы у него весь хлеб и оставил на целый день, только на один день голодным. Я бы с садистским удовольствием следил бы за его мучениями и ни одна струна не дрогнула бы в моей душе. Я бы показывал ему хлеб сквозь стекло и смеялся бы над его бессильными потугами. Потому что я видел голод, потому что я видел, как люди ночами мечтали о куске хлеба, и видел также, как кусок хлеба делал родных навсегда чужими, а чужих – братьями.

ПО УЗКОЙ КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ

Присутствовать на собрании мне не пришлось. Прямо у входа в школу меня встретила старшая пионервожатая и с волнением человека, исполняющего важное поручение объявила, чтобы я немедленно отправлялся в горком комсомола. Нет, это не Бадамян звонил. Звонил секретарь райкома Саркисян и сказал, чтобы, как только Левонян явится в школу, немедленно шел к Бадамяну.

Интересно, что случилось, почему вызывают? – волновался я, подпрыгивая на заднем сидении почти пустого автобуса. Это в первый раз вот так, персонально, вызывает меня секретарь горкома. Как обычно бывает, я не ожидал ничего хорошего. Я мучительно выискивал, перебирал в памяти – не совершил ли какого-либо проступка, не сказал ли чего-нибудь такого, что в искаженной форме довели до сведения горкома. Нет, кажется, ничего подобного не было. Но растерянность не проходит.

Так погружен в мысли, что даже не замечаю, как выхожу на остановке, пересекаю сквер и оказываюсь посреди улицы, прямо перед похоронной процессией. От неожиданности вздрагиваю, отхожу в сторону, снимаю шапку и опускаю голову, чтобы ничего не видеть. Оркестр, вероятно, отдыхает, и я с ужасом жду, что сейчас зазвучит траурный марш, гнетущий и торжественный. Неудобно даже признаться, но я с детства боялся похоронных процессий и особенно музыки, этого мерного, монотонного, безысходного звона тарелок, который будто издевается над всеми, и с внутренней гордостью провозглашает, что все равно, хотите-не хотите, однажды я вот так же явлюсь за вами. Когда я был маленький и, возвращаясь из школы, встречал вдруг процессию или до моих ушей доносилась траурная музыка, я поворачивался и бежал, бежал по глухим, узким, извилистым улицам, бежал, чтобы не слышать больше этих мерных ударов, но они еще долго преследовали меня, отдаваясь в ушах. Сейчас я уже не убегаю, но от этого неприятное, гнетущее чувство не исчезает. Не могу я слушать эту музыку, не могу смотреть на гробы, где первое, что бросается в глаза, – это вечно черные, блестящие, будто одни и те же туфли, которые, кажется, по очереди надевают на ноги всем покойникам. Почему обязательно надевают новые туфли, почему, усыпая все цветами, допускают, чтобы туфли выглядели всегда отчужденными, обособленными в своем холодном, безжизненном блеске? С какой целью? Почему не уносят людей в их же обуви?

Почему-то мне всегда кажется, что эти туфли обязательно жмут.

- Широкой души человек был, – ни к кому не обращаясь, произносит стоящий рядом со мной старик с круглой профессорской бородкой, швейцар ресторана “Интурист”, – каждый раз, выходя, оставлял мне трешку.

В его голосе звучит сожаление, и я вдруг думаю, что, может, он скорбит о потерянных трешках. Противно. В подобных случаях я всегда теряюсь и способен на какую-нибудь глупость.

- Смотри, смотри, – покачивает головой старик с профессорской бородкой, опять ни к кому не обращаясь, – а это его братья, родственники. Всю жизнь мучили его из-за дома, затащали по судам, измывались, а теперь несут на руках. Людей надо носить на руках при жизни. Теперь – что? – Сейчас в его голосе есть какая-то непонятная боль, и я в уме приношу ему свои извинения, ощущая вдруг неодолимую потребность поговорить с ним. Просто сказать что-нибудь, лишь бы не смотреть в ту сторону, не слышать музыки.

- А кто-нибудь из незнакомых, вроде меня, глядя на эти венки и автомобили, эту огромную толпу и скорбные лица, решит, что этот человек жил счастливо и спокойно, – обращаюсь я к старику.

- Если человек умер, это еще не значит, что он жил, – вдруг отвечает тот.

Ого! Здорово сказано, честное слово, наверное, он и сам не понял, что сказал.

- Вы его хорошо знали? – спрашиваю я.

Старик смотрит на меня маленькими улыбающимися глазами.

- Я еще только начинаю узнавать самого себя, сынок, – говорит он. – А с ним был просто знаком.

Мне вдруг становится смешно: чокнутый старик и впрямь говорит будто профессор. Если такое прочтешь в книге, подумаешь, что автор создал надуманный образ. А человек этот – вот он, стоит рядом со мной и тихо, безмятежно разговаривает.

- Откуда у него было столько денег, что он каждый день давал вам трешку? – спрашиваю я его с открытой усмешкой.

- А я не говорил каждый день, я сказал каждый раз. Если же хочешь от всей души, то всегда найдешь что-нибудь для другого, – он помолчал, а потом со вздохом протянул. – Эх, в конце концов, все пойдем этим путем.

Ага, попался! Значит, все твои слова о смерти лишь для того, чтоб скрыть свой страх; значит, и ты разговорился, чтобы не смотреть в эту сторону, не так ли? Я не удержался и не без злорадства спросил его об этом:

- Жизни жалко, – ответил он спокойно, без заминки.

- Значит, все-таки боитесь?

- Боятся обычно того, чего можно избежать. А смерть неизбежна, сынок.

В боксе состояние, когда после удара начинают шататься, называется “грогги”. Я пошатнулся и задумался. Потом рассмеялся от всей души и благодарно, как человек, получивший, наконец, ответ на мучивший его вопрос, сказал старику: “Спасибо, отец!”

Он не удивился, улыбнулся, а я пересек улицу, вошел в здание горкома и стал подниматься по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и думая об этом удивительном мире, где иные швейцары мудрее профессоров, а некоторым лучше было бы работать швейцарами.

В хорошем настроении вошел я в приемную Каро Бадамяна и, когда секретарша с какой-то непонятной улыбкой попросила пройти прямо в кабинет, вдруг я почувствовал, что вызывал меня не первый секретарь горкома, а друг Везириана. И как я до сих пор не догадался? Везириан, несомненно, рассказал все Бадамяну, и сейчас тот в какой-либо форме попросит меня не писать. Он ведь не знает, что фельетон уже в типографии.

- Подойди поближе, Артак, – подняв голову, деловито и приветливо сказал Бадамян, – я сейчас кончу.

И, пройдя от двери к его столу по узкой ковровой дорожке, будто по волосяному мосту, я растерянно думал о том, что отвечу, если Бадамян предложит отказаться от фельетона. Если скажу, что это принципиальный вопрос, что моя партийная совесть не может позволить, чтобы преступник остался безнаказанным, – это покажется декламацией. Хотя у нас многие так и разговаривают. Все остальные ответы будут против меня. Но неужели он может предложить мне такое? Что-то не верится.

- Ну как дела, товарищ Левонян? – отодвинув лежавшую перед ним бумагу и облокотившись о стол, улыбнулся Бадамян. – Работаешь себе спокойненько, и не думаешь зайти как-нибудь поведать Каро. Не поддерживаешь дружеских отношений, парень, – ласково пожурил он. – Мы же не чужие, односельчане, э! А если немножко покопаться – небось и родственниками окажемся, как говорится – по обеим линиям. Вчера вечером спросил у мамочки. Оказывается, твой дед по материнской линии – дядя моего отца! Так что ты, фактически, мой младший троюродный брат!

Каро рассмеялся, а я растрогался до глубины души этим его коротеньким “троюродный брат”. Собственно, он сказал “даи”, и от этого пахнуло нашим родным селом, ленивыми отарами овец, высоченными подсолнухами и подымающимися в летнюю жару над раскрытыми тондирами искрами. И я, абсолютно уверенный, что не лгу, сказал, что очень хотел зайти, поведать, но всегда думал, что вдруг помешаю. Ведь я знаю, что товарищ Бадамян очень занят.

- Э-э, – махнул рукой Каро, – если думать только о делах, то им конца нет. “Товарищ Бадамян”!.. Чтоб я больше не слышал этого от тебя! С каких это пор я стал для тебя товарищем Бадамяном? При посторонних еще ничего, но когда мы одни, я для тебя просто Каро, понял? Честное слово, обижусь. И не думай, что можешь вообще помешать мне. Наоборот, заходи и домой приходи. Мы должны быть ближе друг другу, понимаешь? Я должен знать, что в таком-то районе работает мой друг, мой человек. Я должен опираться на тебя. А для чего же еще родственные связи? И ты должен знать, что всегда, где бы я ни был, здесь, или... – Каро многозначительно указал пальцем вверх, – там, я всегда готов сделать для тебя все, я – твоя “спина”!

Покраснев, я растерянно пробормотал какие-то слова благодарности.

- Благодарить не за что, – сказал Каро, – это для нашего общего дела. Дружба многое решает в нашей жизни, Артак. Мы должны всегда быть вместе, стараться не терять друг друга.

Я вдруг снова подумал, что сейчас Каро заговорит о Везириане. Даже повернулся к креслу. Мне померещилось, что Везириан, как и тогда, сидит в кресле и смотрит на меня добрыми, ободряющими глазами.

Но Бадамян об этом не заговорил. Наверное, это я такой плохой. Так плохо думаю о людях.

- Скажу еще, – добавил он, – что я слежу за твоей работой и доволен. Из тебя выйдет настоящий комсомольский работник. И у меня есть даже определенные планы. Может, через пару месяцев переведу тебя к нам, в горком. Короче говоря, зарплата твоя увеличится почти вдвое. Ладно, ладно, знаю, что живете не ахти как. В университете еще не было распределения?

- Нет, – сказал я благодарно и растроганно, – но решили всех нас направить в районы.

- И не думай, не позволю... – многозначительно ухмыльнувшись, сказал Каро, – потребую, чтобы оставили в распоряжении горкома. Ведь дома с родителями остался только ты, не так ли? Нет, не позволю. Будешь работать, а писать можно в любом месте.

Эх, как я истосковался по такому искреннему, сердечному, душевному разговору! Со мной так говорят очень редко. Будто слушаешь хорошую старинную песню – от радости даже слезы наворачиваются... Зарплата удвоится! Знаете, что это означает? Это означает, что мой отец сможет, наконец, уйти с работы и играть во дворе на солнышке в нарды с отцом главного инженера их завода, что мама не будет больше стучать ночи напролет на своей швейной машинке, обшивая соседей, что я смогу с гордо поднятой головой сказать Нанар, мол, знаешь что, хватит, перебирайся к нам домой! Вот что это значит! Пусть только теперь отец скажет: “Кто, Каро? Он сын своего отца!” Чей бы он ни был сын, сегодня этот самый Каро сделал меня счастливейшим из счастливых. И я останусь благодарен ему, сделаю для него все!

- Ну, признавайся, парень, что там у тебя не уме? – хитровато подмигивает Каро. – Часто вижу тебя с одной красивой девушкой. Видно, скоро будем плясать на свадьбе!

Лицо мое горит. Где он видел, как это мы его не заметили?

- Кто она, что за девушка наша будущая невестка?

- Ее зовут Нанар, она работает в кукольном театре, – шепчу я.

Каро встает со стула, я тоже встаю. Он протягивает мне руку, а мне хочется сказать ему что-нибудь хорошее, теплое: пусть знает, что я никогда не забуду его доброты, что я могу быть каким угодно, но не неблагодарным. Но ничего не могу сказать, только киваю головой и крепко пожимаю ему руку.

- Спасибо, товарищ Бадамян, я... я...

- Что?.. – обрывает Каро.

- Спасибо, большое спасибо, Каро джан...

- Вот теперь понял! – угрожающе улыбается он и провожает меня по узкой, как волосяной мост, ковровой дорожке до обитой кожей двери своего кабинета.

- Ну, не забывай о нашей дружбе, – говорит он.

АХ, ЭТА РАНДЖАНА ДЖАТРА!

Весь город сошел с ума. Куда ни пойдешь, всюду говорят только о ней. Когда идешь по улице, со стен вливается в тебя реклама. Продохнуть невозможно, тема всех разговоров одна и та же:

- Идешь?

- Конечно!

- Билет достал?

- А как же!

- Каким образом? Лишнего нету?

- Э-э, откуда?..

- Мне обещали, если не принесут – умру.

- Хотя бы контрамарку, понимаешь, контрамарку... Буду стоять.

Я еще не видел увлекающееся искусством наше студенчество в таком восторге и, да простится мне, таким эстетствующим.

Оживленно спорят, на последние гроши покупают цветы, чтобы бросить на сцену, удирают с лекций и сутками стоят в очереди у оперы. Зажав в руке списки телефонов всех своих видных или занимающих высокое положение родственников, торчат у телефонов-автоматов и просят, умоляют, требуют: “Билетик, хотя бы один билетик!”.

В Ереван приехала индийская танцовщица Ранджана Джатра.

Честное слово, если бы приехал сам Рабиндранат Тагор, он не вызвал бы такого интереса, не нашел бы более теплого приема. И, по моему, секрет прост. Во-первых Индия для нас еще, вероятно, неведомая и по степени известности еще полуварварская страна, где правят магараджи и будды. И очень удивительно, каким образом человеку, да еще женщине, удалось ускользнуть из джунглей, достичь Москвы и оттуда, на самолете прилететь в Ереван. Представляете себе – индуска и самолет?! И потом, если Индия полуварварская страна и никогда не видела снега, там, вероятно, ходят полностью или почти полностью обнаженными. Следовательно, вполне возможно, что дочь своей страны, к тому же танцовщица... Это само по себе открытие, потому что наши танцовщицы, слава богу, надевают на себя не одно, а сразу несколько одеяний, да еще иногда танцуют в головных платках-лечаках. А самое главное – весна! Можно пойти на концерт в легком, цветастом воздушном платье.

Весна! Солнце, свежеемытое, красивое, так улыбается, будто уже окончило университет и “пышет жаром”, как характеризует его наш курсовой поэт Вардкес Аштаракеци. От земли, от деревьев, от крыш зданий, от ручейков и канав подымается такой пар, такая теплая и молочная пелена, такое благоухание, что можно сойти с ума. И все играет, извивается, сверкает, плывет в этом тумане.

Кажется, будто природа, всемогущая и всевластная, превратила Ереван в алтарь поклонения самому себе. Весь город напоен ароматом цветущих деревьев и мяты, фиалки заняли привычные места на углах улиц, в мокрых, вывернутых наизнанку шапках мальчишек-продавцов. В окнах домов застыли цветными изваяниями домохозяйки и ритмичными движениями рук чистят оконные стекла.

Весна!

Сразу опостытели пальто и галоши, шапки и шарфы. И если бы в каждом доме не было хозяйки, то мужчины, несомненно, не задумываясь о будущей зиме, сожгли бы все это, обменяли бы на пару яиц или орехи, или просто швырнули бы в сарай и чуланы рядом с потерявшими свой авторитет жалкими и закоптившимися печками-временками, но хозяйки настороже. Мрачно глядя на объявившихся во дворах старьевщиков, они энергично выбивают длинными палками развешанную на бельевых веревках зимнюю одежду и достают из серых пакетов кристаллики нафталина. Чтобы выразить свои чувства, радость, охватившую их с приходом весны, они громко переговариваются друг с другом, через весь двор кричат с балкона на балкон и, когда глядишь издали, сквозь сетку бельевых веревок, то они кажутся большими птицами, что любят садиться на телеграфные провода и изображать собой огромные ноты. Но когда подходишь поближе, сразу чувствуешь, что их переживания сугубо человеческие.

- Сируш! – мощно звучат “соль” и “ми” одной из хозяек, - наша Анаит всем житья не дает, отца совсем заела, мол, как хочешь, но достань билет на концерт этой китайской певицы!

- Не китайской, а индийской, - подчеркивает в соответствующей тональности свое превосходство над соседкой Сируш, - и не певицы, а танцовщицы, тикин Вардуш.

- Неважно. Да, в конце концов, друг мужа принес вчера вечером.. Ты бы видела, как моя Анаит обрадовалась, аж танцевать стала... Сегодня вечером идем!

“Да-а, только тебя и твоего отродья не хватало на этом концерте”, - хочет рассердиться тикин Сируш, потому что у ее мужа нет таких друзей, а ее Карине – вон, играет на пианино – с опухшими, покрасневшими глазами. Но не может сердиться, сил нет. Весна! И она все выбивает и выбивает кулаками белую, как снег, подушку.

- Сируш! – не замечая от счастья глубоких переживаний соседки, а, может, именно поэтому, снова кричит Вардуш, - интересно, кто эта Джанджано Манджан, что все так сходят с ума?

- Не Джанджано Манджан, а Ранджана Джатра, тикин Вардуш... - кричит Сируш, с горечью думая, что вот так и бывает в жизни, что обладает всегда тот, кто не достоин, кто не может

оценить. Что, вот, билет достался той, для кого бином Ньютона, картина Коджояна и индийский танец “Шефти” ничем друг от друга не отличаются, одинаково непонятны.

Ранджана Джатра...

Я не знаю, как случилось, но, имея иммунитет к подобным болезням, Нанар также заразилась. Это было настолько необычно, что я стал всерьез беспокоиться. Вообще-то, мы обычно не ходим туда, куда спешат с радостными воплями все. Никогда не читаем тех книг, которые нравятся всем абсолютно. И это не из упрямства, а по опыту, по убеждению. То, что нравится всем, обычно не наилучшее. Не знаю почему, но это так. И вот – необычайный случай, непредвиденное событие. Только мы встретились, Нанар схватила меня за руку и сказала:

- Артак, пойдем на концерт этой индуски, а?

- Почему так вдруг? – удивился я.

- Я прошу.

Эге. Если дело дошло до просьб, я безоружен. Нанар так редко просит о чем-нибудь, что в подобных случаях я всегда радуюсь. Кто знает, подумал я, может, и у них есть соседка по имени Вардуш или в театре поспорила с девочками?

- Пойдем, если хочешь, Нанар, – сказал я, – но до концерта осталось всего полтора часа, где мы возьмем билеты?

- Если захочешь – найдешь, – тихонько сказала Нанар, глядя на меня с убежденностью и верой.

Наверное, именно при таких обстоятельствах свершаются великие подвиги и безумства. Мне на мгновение показалось, что достать билеты мне ничего не стоит. Но когда мы вышли на площадь у оперного театра, когда я увидел толпу поклонников искусства, застывшую перед величавым и красноречиво молчащим маленьким закрытым окошечком кассы, оптимизм меня покинул. На окошечке висела бумажка, и на ней было написано по-армянски “Билетов нет”. Но никто по-армянски не понимал. Все стояли и смотрели на кассу с тоской и надеждой. Всем, вероятно, казалось, что они просто не знают волшебного слова: “сим-сим”, которое открывает окошко кассы. Я тоже на мгновение смешался с толпой, невольно стал смотреть на окошечко и тут же понял, почему эти окошечки делают такими маленькими. Все ясно! Чтобы кассир не видел людей. Потому что, если он человек и у него есть сердце, он не может без слез и угрызений совести смотреть на страдания поклонников муз.

И вдруг, словно по команде, толпа повернулась и уставилась на вошедшую в сквер парочку. Она не хохотала громко и не размахивала билетами, но все почувствовали, что у этой парочки билеты есть. Они шли так небрежно, так спокойно! Парень шел, гордо подняв голову и глядя прямо перед собой. Девушка держала его под руку, слегка склонив голову к плечу парня, и будто скользила, будто парила в эфире. Изредка она поворачивала голову вправо, прищуривалась, оглядывая несчастных страдальцев с невинной жалостливой улыбкой, затем поворачивалась и шептала что-то парню, который усмехался в свои заостренные, как ласточкин

хвост, усы. И под ошеломленными, искрящимися ненавистью взглядами они прошествовали в здание оперы. Потом появились другие пары. Все они будто прошли одну и ту же школу. Теми же движениями, с теми же улыбками они растворялись во мраке за дверьми оперного театра. Люди больше не могли удерживать на лицах маски презрения и сдерживать возгласы негодования. Группа дезертиров с жалкими, достойными сожаления улыбками подбежала к счастливчикам, обладателям билетов и стала кланяться:

- Нет лишнего билетика?

- Я вас очень прошу, если, случайно, есть...

- А это что за бумажка у вас в другой руке?

- Век буду вам обязан. Прошу вас. Мы ведь старые знакомые...

Потом в лучших традициях профессиональных попрошаек стали слегка наглеть. Хватали за руки, показывали крупные купюры, делали неудачные попытки выхватить билеты. Один юноша, часто поглядывая на часы, остановился под фонарным столбом и стал потерянно вглядываться в конец аллеи. Его окружили. Растерявшийся парень достал из кармана два билета, показал их и снова стал вглядываться вдаль. Его обступили.

- Вряд ли она придет. Только билет зря пропадает...

- Может, мамочка не отпустила?

- Ты меня послушай... Дай свои билеты. Я точно говорю...

Положение парня было незавидным. Он не видел вокруг ни одного союзника. Так оно и было. Никто из окружающих в эту минуту не хотел, чтобы девушка, которую он ждал, благополучно дошла до места. Вокруг него стояли люди с каменными сердцами, и одним из этих булыжников было мое сердце. Я тоже испробовал все способы добыть лишний билетик, какие только существуют на свете, но безуспешно... Последняя надежда была на этого парня, вернее, на его несчастье. Я не желал ничего ужасного, но всей душой хотел, чтобы девушка не пришла. С моих уст сорвалось безысходное "Может, ее мать не пустила?" Но, как совершенно справедливо утверждают старики, никогда не надо связывать свою надежду с несчастьем другого. Парень вырвался из нашего кольца и бросился к входу в сквер, где только что появилась и шла навстречу ему медленными уверенными шагами невысокая сатана с косичками.

До концерта оставалось десять минут, и Нанар сжалась:

- Ну хорошо, Артак джан, - сказала она с какой-то грустной улыбкой, - ничего не получается, что поделать? Пойдем.

Но я не мог сдвинуться с места. Так устал от беготни и бессмысленных возгласов, что голова гудела. Нет ничего страшнее ощущения беспомощности.

- Дядя, тот человек тебя зовет, – потянул меня за руку маленький мальчишка.

Я посмотрел в ту сторону и вдруг с удивлением заметил, что под тем самым столбом, где только что шли ожесточенные бои за билет юноши, стояли мой брат, Бабкен, и его жена Седа. Не знаю, чего во мне было больше – растерянности, удивления или радости, но я сразу бросился к ним. И когда добежал, почувствовал, что оставил Нанар одну. Я обернулся.

- Ничего, ничего, – улыбнулся Бабкен, – пусть немного подождет, не убежит.

- Ну вот, – обиделась Седа, – вот, ты всегда такой грубый, грубый!..

Бабкен добродушно засмеялся и я, глядя на его гибкую и подтянутую фигуру, на морщинки у глаз, когда он смеялся, тонкие нервные губы, сжимающие сигарету, снова, как и всегда, всем сердцем почувствовал радостное волнение и снова подумал, как сильно люблю я брата. Не знаю почему, но мне кажется, что в этом есть нечто большее, чем обыкновенная любовь к брату. Может, причина в том, что Бабкен на целых восемь лет старше меня. Не знаю. А может, это оттого, что Бабкен первый учил меня буквам, первый повел меня в школу по берегу Гедара, что я имел больше времени скучать по нем, когда он был на войне. Или, может, к этому прибавилась и моя любовь к погибшему на фронте старшему брату Мелику? Не знаю. Но быть с ним для меня было наивысшим счастьем еще с тех пор, когда я впервые начал удивляться, почему небо в небесах. Уже с ранней весны он ночевал на нашем бетонном балконе, выходящем на улицу, и я весь день просил, чтобы он взял меня к себе. Исполнял все его прихоти (а их было довольно много), подлизывался, натирал до зеркального блеска его туфли, все время маячил перед глазами и, хоть ничего не говорил, но всем своим существом просил, молил его разрешить, чтоб я тоже спал на балконе рядом с ним. И, наконец, с невольной улыбкой он произносил такие желанные для меня слова: “Ну ладно, доконал, приходи...”

И я проскальзывал к нему, съезжившись, устраивался рядышком. Было холодно. Мы плотно заворачивались в одеяло, оставив снаружи только головы, и смотрели в небо. И Бабкен рассказывал мне удивительные вещи, такие удивительные и чудесные, что я, затаив дыхание, взмывал вверх, в небеса, кружил там с широко раскрытыми глазами и в черной мгле играл в камушки звездами. Он показывал мне звезды, знал все их названия, и я всегда удивлялся, как он их не путает и каждый раз находит. Он даже знал, сколько миллионов километров до той или иной звезды.

- А кто это измерил, Бабкен джан? – спрашивал я.

- Люди, – отвечал он.

- А как они туда залезли, чтоб измерить?

- Они не поднимались, – смеялся Бабкен, – отсюда измерили, телескопом.

- А у них есть столько проволоки, чтоб измерить? – спрашивал я, вспоминая, как отец измерял длину балкона медной проволокой.

- Э-э, – сердился Бабкен, – ну объясни мне, зачем я тебе все это рассказываю?

И так как я обиженно начинал хныкать, он смягчался:

- Ну ладно, хочешь, я расскажу, как получился каменный уголь, который мы, например, жжем зимой?

- Да, – вытирал я глаза.

И Бабкен рассказывал. Я до сих пор не могу припомнить, научился ли я тем некоторым вещам, которые твердо знаю в жизни, в школе или от Бабкена. Когда он уходил в армию и поезд тронулся, когда мы, плача, бежали рядом с вагоном, Бабкен вдруг высунулся и закричал, стараясь, чтобы его голос был слышен среди общих воплей и грустных звуков духового оркестра.

- Аргак!..

- Что? – крикнул я, продолжая бежать, вместе со всеми, падая, поднимаясь, подпрыгивая, чтобы Бабкен меня видел, – что, Бабкен джан?

- Побольше читай... Обязательно... Пиши мне...

Потом, на обратном пути, наши все время спрашивали, что сказал Бабкен. Но я не говорил и только таинственно улыбался. Ведь Бабкен говорил это мне, только мне!

Часто, забросив уроки, я целыми днями искал книги и в каждом письме подробно докладывал Бабкену, что еще прочитал нового. И поэтому мои письма больше смахивали на каталоги, чем на письма, отправляемые на фронт брату. Он отлично играл на музыкальных инструментах и в шахматы, изготавливал такие электроприборы, что наши гости старались поскорее уйти – стоило им сесть, как вспыхивал свет или звенел звонок. Чтобы проверить принцип Папенова котла, он взорвал все наши медные кастрюли, каждый раз чудом избегая опасности. Чтобы сделать вечный двигатель, он сломал единственные в нашем доме часы и обрек их на вечный покой. Начал было подумывать о том, чтобы заставить замолчать и радио, но началась война.

Обязательно станет инженером, – еще не видя содеянные им разрушения, пророчили люди.

- Плохи дела тариста Согомона Сейраняна, – услышав, как он играет, предполагали другие.

- Вот увидите, он создаст новую школу, – говорили третьи, стоя перед его картинами, на которые, вопреки энергичным протестам отца, совсем в стиле современных новаторов, уходили килограммы краски, что непосредственно било по домашнему бюджету.

Но, вернувшись из армии, мой брат стал работником милиции. И я совсем не удивился, потому что он мог стать кем угодно. Он работал уже на третий или четвертый день после возвращения, и я где-то даже пожалел преступников, которые спокойно бродят по городу, ничего не зная, не догадываясь, что Бабкен стал работать в милиции. Он никогда не рассказывал о своей работе, и,

может, именно поэтому его деятельность казалась мне еще важнее, еще таинственнее. Но зато теперь он все чаще и чаще беседовал со мной, говорил “братик джан”, от чего я чувствовал себя еще более счастливым; ходил со мной на прогулки, знакомил со своими друзьями и, если покупал что-либо себе, обязательно старался взять и для меня. И разговаривал со мной, как равный с равным. Может, разница в годах между нами уже не так чувствовалась. И я не ошибусь, если скажу, что после его женитьбы мы еще больше сблизились. И в этом я в первую очередь благодарен Седе. Сестра моя вышла замуж и ушла, и Седа стала мне сестрой. Она единственная в нашей семье знает все мои тайны. Очень многое я даже под страхом смерти не расскажу брату, а Седе рассказываю, например, о Нанар. И если в последнее время Бабкен тайком или насильно сует мне в карман деньги, я чувствую за этим направляющую руку Седы.

- Бабкен джан, – перекладывая деньги из своего кармана в его, говорю я, – ну зачем мне деньги? Я ведь и стипендию получаю и зарплату.

- И все это отдаешь маме, – обрывает Бабкен, вновь запихивая деньги мне в карман.

- Да, но ведь ты тоже отдаешь маме.

- Не все, – говорит Бабкен, – сейчас у меня есть своя семья.

- Но пойми, мне деньги не нужны, – упорствую я и снова отправляю дензнаки на исходную позицию.

- Мне лучше знать – нужны или нет, – запыхавшись от нашей возни, повышает голос Бабкен, – я через все это уже прошел.

Он снова сует деньги мне в карман и выталкивает меня из дому, награждая напоследок подзатыльником.

И на улице, поправляя растрепавшуюся одежду и с удовлетворением ощущая в кармане шуршащую ассигнацию, я растроганно и счастливо думаю о том, что могу пригласить Нанар куда-нибудь, вместо того, чтобы вновь, дрожа от холода, читать под миллионносвечовыми парковыми лампочками Горького или Папазяна...

- Хотите на концерт пойти, да? – ухмыляясь спрашивает Бабкен.

Я, покраснев до корней волос, киваю.

- И, конечно, билетиков у вас нет?

При слове “билет” я машинально поднимаю голову. Может, у них действительно есть лишние билеты?

- Ну что ты допрашиваешь, не в милиции, – сердится Седа, – дай им билеты.

- Мадам, – говорит Бабкен, – в вашем голосе проскальзывает несколько пренебрежительное отношение к органам власти...

- Э-э, – говорит Седа, – быстрее! Бедная девушка заждалась.

- Ничего, мы ее долго ждали, теперь пусть она нас немного подождет, – продолжает ухмыляться Бабкен, извлекая из кармана и протягивая мне два билета, – прошу, юноша!

- А вы? – сходя с ума от радости, говорю я.

- Мы-то найдем куда пойти, – отвечает Бабкен.

- Нет, так нельзя! Ни в коем случае, – протягивая обратно билеты, шумно отказываюсь я, – за кого вы меня принимаете?

- За младшего брата, – говорит Бабкен.

- Бери, Артак джан, идите! – произносит Седа. – Этим вы нас очень обрадуете. Нам, знаешь, не очень-то хочется на этот концерт. Ну, бери!

Я на секунду застываю в нерешительности. Смотрю то на них, то на одиноко стоящую Нанар, вижу улыбку брата и невестки, их счастливые от собственного поступка лица и, уже не зная, что делать, кричу на бегу:

- Спасибо, от всей души спасибо!

Зажав билеты в руке, подбегаю к Нанар и...

Вскоре под завистливыми и ненавидящими взглядами толпы еще одна счастливая пара входит в здание оперы, повторяя стереотипные движения предыдущих пар.

Парень идет, задрав голову и глядя прямо перед собой. Девушка держит его под руку левой рукой, слегка склонив голову к плечу парня, и будто скользит, будто парит в эфире. Изредка она поворачивает голову вправо, щурит глаза, с невинной улыбкой оглядывая несчастных страдальцев, потом поворачивается и шепчет что-то парню, который усмехается в свои заостренные, как ласточкин хвост, усы.

Этой счастливой парой, как вы, вероятно догадались, были мы, я и Нанар. Переметнувшись из армии попрошайек в ряды избранников, мы брали реванш за наши страдания.

Ах, эта Ранджана Джатра!

НЕЖДАННЫЙ ВИЗИТЕР

Когда я вернулся, было уже за десять. На сей раз не пришлось беспокоить соседку и выражать благодарность ей вдогонку. Дверь была открыта. Уже в коридоре я услышал громкий разговор и мог с уверенностью сказать, что у нас гости. Это нетрудно было угадать. Отец мой был в своей стихии. За долгую его жизнь с ним происходили очень интересные или поучительные истории, которые он любил рассказывать, особенно людям незнакомым. И он рассказывал, а так как истории эти большей частью действительно были смешные, то отец сам же первый смеялся долго и от души.

Еще не входя в комнату, я уже представил себе ситуацию. Отец сидит на своем обычном месте, под окном, слева от него, в кресле, устроился гость, а справа сидит мать, как говорится, на краешке стула, потому что ей приходится часто вставать, накрывая на стол. На столе, кроме еды, обязательно стоит литровая бутылка кизиловой водки, заткнутая куском кукурузного початка – водки, которую регулярно и добросовестно посылают отцу из села его пять сестер и пятьсот родственников. Отец заставлял всех выпить стаканчик, тот самый, который – что, видно по его настроению, он уже опрокинул, – объявляет, что он сам никогда не пьет больше одного стаканчика (здесь он достаивается весьма неодобрительного взгляда матери) и предлагает остальным пить, сколько захотят (то есть, сколько есть в бутылке, и мать одобрительно улыбается).

Интересный человек мой отец. Если в какой-либо день нет гостей, особенно до обеда, он выходит из себя, вспыскивает по любому ничтожному поводу, заявляет, что в последнее время у него почему-то пропал аппетит, и с негодованием объявляет матери: “Смейся, Тьюнова дочь, вот не встану с постели в один прекрасный день, рыдать будешь, но я уже не попаду тебе в лапы!”

Когда я был еще очень маленьким и мы жили на улице Кнунянца, в доме, напротив типографии, отцу было легче. В те дни, когда у нас случайно не бывало гостей, он перед обедом выходил к Дому колхозника и, услышав родной диалект, сразу хватал незнакомца за руку, говорил, кто он, и просьбами или силком приводил его к нам домой. Так он избывал тоску по родной деревне, которая всю его жизнь тлела как угли под пеплом. Сидели долго, беседовали. Больше говорил, конечно, отец и, как обычно бывает, выяснялось, что у них есть общие знакомые и родственники, что в гражданскую войну они воевали почти рядышком и вообще много слышали друг о друге. Это в свою очередь давало повод для новых разговоров, курения и ужина, а заканчивалось тем, что отец предлагал новообретенному приятелю заночевать у нас: “Слава богу, в тесноте, да не в обиде”.

Это “не в обиде” отлично знали наши односельчане и, как видно, исключительно с целью порадовать отца, приезжая в город, уже не останавливались в гостинице, а сразу направлялись к нам домой, именуя его в шутку Домом колхозников Касаха, и оставались, сколько им

вздумается. Спали где попало: на кроватях, на столе, под столом, на полу, на двух стульях и даже на подоконнике. Но с каждым годом проблема гостей все усложнялась и усложнялась. Многие переезжали в город насовсем, создавая базу для своей родни. Так что гости стали бывать у нас не каждый день, аппетит у отца пропадал все чаще. Но сегодня, как видно, все шло успешно.

Я тщательно мою на кухне руки – привычка, которая перешла ко мне от отца, – и прислушиваюсь к веселому рассказу.

- Ну, чего тянуть... Подмигнул тайком Ануш и говорю: “То, что принес, – в ущелье утром найдем!” Видел бы ты, как утром детишки грызли каждый по куску арбуза. Смешная была история...

Отец снова от всей души смеется, и я радуюсь за него. Вместе с ним смеется еще кто-то, но я не могу понять, кто именно. Наверное, кто-нибудь из односельчан. Я открываю дверь и застываю от удивления.

...Рядом с отцом сидит и смеется Везирян. Увидев меня, он быстро вскакивает и виновато, растерянно, но в то же время с достоинством улыбается.

- А мы тут сидели, беседовали с вашим уважаемым отцом, товарищ Левонян. У вас, действительно, великолепные родители.

- Я это знаю, – стараюсь взять себя в руки, говорю я, – только никак не могу понять, какое вам дело до моих уважаемых родителей.

Тут я замечаю, что отец удивился, а потом побледнел.

- Артак, – сказал он, – где это ты научился так разговаривать с гостями твоего дома?

- На строительной площадке!

- Ничего, ничего, отец, – грустно покачивая головой, говорит Везирян, – товарищ Левонян имеет право, да, да, имеет право. Я сейчас в его руках, и он может говорить, что пожелает. Да, да, отец!..

Отец с еще большим удивлением смотрел то на меня, то на Везиряна, на его мощную, властную фигуру, которая сейчас озабоченно склонилась над столом, на его роскошный костюм и модные туфли. Потом он, по-видимому, что-то понял и заговорил медленно, огорченно.

- Я рабочий человек, – сказал он, – и меня не касается, кто в чьих руках и что это означает. Но я знаю, что не допущу в моем доме подобных разговоров. Если вам есть что сказать друг другу – садитесь и говорите по-человеески. Если мы мешаем, можем выйти.

Да, отец прав. Я не имел права вести себя так. Ведь он наш гость. Я сел за стол напротив Везиряна, предложил ему сесть и стал смотреть на его поникшую голову и начавшие редеть и

сесть волосы. О чем говорить, что говорить? Что я мог сказать этому человеку? Человеку, у которого нет ничего святого, который обманывает всех и обманул меня, который теперь пришел обманывать моих родителей, сидел и подобострастно смеялся рассказу отца, с неудовольствием, но улыбаясь, пил кизиловую водку, все время думая, как бы снова обмануть меня. Что мне ему сказать?

Тягостное, долгое молчание продолжалось. Мама не выдержала, тихонько вздохнула и ушла на кухню. Отец молча, не мигая, смотрел на нас. И Везирян поднял голову.

- Будете писать? – спросил он вполголоса.

- Уже написал, – ответил я, не желая ничего скрывать.

Он долго молчал, а когда снова заговорил, я почувствовал, что его голос дрожит. Неужели опять играет?

- А знаете, что будет со мной, если будет напечатано?

- Снимут с работы, в этом я не сомневаюсь, – сказал я.

Он махнул рукой – мол, дело не в том.

- Арестуют, – простонал он. – Арестуют и все.

- И вы, зная об этом, жульничали, не так ли? Продолжали обманывать людей и государство, где только возможно, не так ли? – Во мне снова поднимается гнев и душит меня. Не пойму, что со мной происходит, не могу говорить спокойно.

- Знаете что? – сказал Везирян. – Я не хочу приводить никаких оправданий, только поверьте, что вначале я был невиновен. Меня ввели в заблуждение. Я подписывал бумаги, не читая. Так произошло мое падение. Потом уже я боялся ареста и продолжал падать. Поверьте, товарищ Левонян.

- Охотно верю, – оборвал я, – вы это уже говорили. Но от этого ситуация не меняется. Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько расхитили?

- У меня двое взрослых детей, товарищ Левонян. Каждый со своими запросами, со своим кругом друзей. Я их отец и обязан их содержать. А вы знаете, сколько я получаю? В конце концов, я начальник управления. У меня высокий пост и соответствующий круг, а знаете, сколько я получаю? Если захочу угостить как следует человек десять друзей, домой мне уже нечего будет нести. А у меня друзей не десять, а сто. Я хочу хорошо одеваться, хочу, чтобы мои жена и дети тоже одевались не хуже других, хочу, чтобы мы жили хорошо, не говорю – роскошно, говорю – прилично, по-человечески. Ведь у нас только одна жизнь...

Все-таки жаль, что нельзя ругаться. Я не большой любитель ругани, но сейчас с удовольствием продемонстрировал бы, что недаром работал несколько месяцев на консервном заводе. Руки у

меня дрожали. Я налил стакан водки и выпил, ощущая, как горечь растекается по моим артериям.

- Может, и мне немного нальете? – оборвал свой монолог Везирян. – Отличная водка!

Все у него отличное. Чуть раньше он с тем же воодушевлением назвал отличными моих родителей. Я налил и ему стакан, он выпил, зажмурившись и морщась. Пододвинул ему тарелку с соленьями, он покачал головой, посмотрел на меня с жалостью и вдруг сказал:

- Как вы живете, это разве жизнь? Ваш уважаемый отец – рабочий с пятидесятилетним стажем, можно сказать, производитель материальных благ. Вы работник райкома, журналист... Это разве жизнь? – повторил он, окидывая взглядом действительно невзыскательный стол, а затем – нашу единственную комнатку с голыми стенами и железными кроватями.

Отец кашлянул. Сейчас заговорит. И он, от оскорбленного самолюбия, действительно, заговорил:

- Вы пришли неожиданно, товарищ Везирян. Пришли бы к обеду – мы бы всегда нашли, чем вас угостить.

Везирян явно смутился.

- О! Простите, пожалуйста, я не это хотел сказать, отец, – проговорил он, – я говорю вообще. Я думаю, что вы достойны лучшей участи, только и всего. Вот ваш сын смотрит на жизнь как идеалист. Для него все это не имеет значения, он не работал, чтобы знать, как это тяжело, когда получаешь долгожданную зарплату и не знаешь, что делать...

- Нет, здесь-то вы ошибаетесь, – сказал я, чувствуя, что водка дошла до сердца и оно бьется энергично и сильно, – ошибаетесь, товарищ Везирян. Вы не давали мне возможности не работать!

- Я?! – изумился Везирян.

- Вы, именно вы. Из-за вас я работаю с двенадцати лет. По вашей вине у меня уже десятилетний стаж работы, знаете?

- Но... Но какое я имею отношение, вы, наверное, путаете, товарищ Левонян?

- Я ничего не путаю, наоборот, я только сейчас начинаю понимать и распутывать. Кто-то вроде вас – начальник моего отца, хозяин, так сказать, – я вспомнил слова великана-каменщика, – и этот самый, по вашим словам, отличный человек, мой отец, тоже работал день и ночь, но этого не хватало, пришлось работать и мне, потому что вы или кто-то вроде вас отнимал его заработок, чтобы иметь возможность угощать сотню своих друзей, хорошо одевать своих детей и жену. Какой вы стали добрый, смотрите на нас и на наше жилье с жалостью!.. А сколько у вас таких, как мой отец, а, товарищ Везирян? Почему же вы не говорите о них, почему думаете, что они недостойны лучшей жизни? Может, у них нет детей? У варпета Серго детей пятеро, но вы

со спокойной совестью скостили с его зарплаты 30 процентов, потому что он осмелился спорить с вашим прислужником Солахяном. Вы... Вы гнусный человек, товарищ Везирян...

Отец кашлянул, предупреждая, чтобы я не переходил границы, беспокойно заерзал на месте.

- Артак!

- Ничего, ничего, отец, - снова мрачно, размеренно сказал Везирян, - товарищ Левонян еще молод. Я извиняю его горячность. В его годы, может, и я так говорил. Так мне и надо. Хорошо, я не оправдываюсь, Вы правы, у меня нет оправданий. Я сбившийся с пути пропащий человек. Но ведь Вы можете быть великодушны? Скажите, товарищ Левонян, неужели Вы не можете быть великодушны? Я прошу извинения у Вас, у всех, у всего мира. Клянусь, завтра же подам заявление, уйду с работы, пойду в рабочие, только не пишите, не позорьте меня перед детьми, родственниками, друзьями. Они думают, что я честный человек, прошу вас, не делайте так, чтобы все отвернулись от меня, чтобы родные дети отвергли меня. Я ведь еще не настолько опустился, чтобы жить после всего этого!

Он встал, отодвинул стул и двинулся ко мне. Опьянение мое будто стерли резинкой. Вернее, мне показалось, что я сижу в зале, а Везирян играет передо мной на сцене. Но когда встал с места и мой отец, и, взглянув на него, я увидел, как он дрожит и как на его глаза наворачиваются слезы, я сильно растерялся. И впрямь, не покончил бы с собой этот человек! Сколько раз я читал об этом в книгах!

- Ну, - заикаясь от волнения, обратился отец к Везиryanу, - что вы за человек, вы же не пьяны. Садитесь, садитесь. Говорит, покончу с собой!

- И сделаю это, отец, - вновь рухнул на стул Везирян, обхватив голову руками, - потому что... Потому что, если этот материал будет напечатан, мне незачем жить...

- Артак! – сказал отец. Он продолжал трястись мелкой дрожью и ничего не мог с этим поделать, - Артак, у меня нет права слова, но нельзя же доводить человека до этого. Нехорошо. Если можешь – не делай этого, сыночек, не делай...

- Хорошо, но что я могу поделать? – в отчаянии крикнул я, взволнованный скорее состоянием отца и изумленно глядя на человека, который, забыв о самолюбии и достоинстве, устраивает подобные сцены в чужом доме. К моему удивлению, во мне не было уже ненависти к нему. Скорее, сожаление. Я питал к нему странную смесь омерзения и жалости, будто раздавил скорпиона, - что я могу поделать? Материал уже в типографии...

- Так быстро? Не может быть! – простонал Везирян. – Продолжаете мучить меня, товарищ Левонян?

- Почему мучить? – рассердился я снова, - при мне послали. Фельетон со вчерашнего дня в типографии.

- Значит, завтра уже может выйти? – вскочил он с места, и глаза его странно сверкнули.

- Нет, - сказал я, - фельетон будет напечатан через два дня, в воскресном номере. Уже запланирован.

Он снова обхватил голову руками. Побледнев от сострадания, отец, не переносящий чужого унижения, тяжело дышал, и я не мог не добавить:

- Ну теперь-то вы видите, что уже поздно, что я ничего не могу сделать?

- Если захотите – сможете, - не поднимая головы, произнес Везириан.

- Артак... - тихо попросил отец.

- Что? Что? – выкрикнул я. Мне так опротивела эта затянувшаяся сцена, что я был готов на все, лишь бы избавиться, не видеть этого человека, не видеть жалкого выражения на лице отца, - что, что, скажите, что сделать? Я сделаю все, что захотите, только, только...

- Скажу, товарищ Левонян, скажу, - поднял голову Везириан. И вдруг я заметил то, чего раньше никогда и ни за что не заметил бы и, фактически, только благодаря этому пришел в себя. Он был сейчас похож на актера, успешно сыгравшего свою роль и довольного результатом. С лица его исчезло напряжение, глаза заблестели, настолько он был уже уверен в победе. – Скажу, товарищ Левонян. Вы можете сказать редактору, что некоторые факты необходимо проверить заново, что надо кое-что исправить... И вам вернут материал на доработку. А к тому времени один из моих друзей вернется, и мы что-нибудь придумаем. Обещайте, прошу вас, что сделаете.

- Но что это вам даст, - опустил я глаза, - допустим, еще несколько дней уйдет, какая разница?

- Мне этого вполне достаточно, - сказал Везириан, - я буду вам всю жизнь благодарен. Вы узнаете, что такое настоящая дружба. Дорогой друг, - добавил он уже с прежним самодовольством и так деловито, что я чуть не рассмеялся, - в нашей жизни дружба решает многое! И не надо пренебрегать этим. Если хотите быстро подняться в гору, нужны друзья, в одиночку не выйдет. Друзья, которые готовы сделать для тебя все. В результате вашего сегодняшнего великодушия вы, правда, потеряете несколько рублей, - он язвительно засмеялся, - гонорар, как это у вас называют, но взамен я не только отблагодарю вас сторицей, но и у вас будут такие друзья, как Каро Бадамян...

- Знаете что, - сказал я, - давайте не трепать здесь имя товарища Бадамяна.

- Чье, Каро? – Везириан полностью оправился. – Дорогой друг, я могу сказать “Каро, умри!”, и он даже не спросит, ради чего. И я – за него. Я могу заставить его выдвинуть вас, и не пройдет и месяца, как вы будете в горькоме. Разве вы этого сегодня не поняли, когда утром беседовали с ним?

Осведомленность Везириана о нашем сегодняшнем дружеском разговоре с секретарем горкома комсомола была для меня настолько неожиданной, что лицо мое стало гореть. Правда, еще утром я все время подозревал, что Бадамян вызвал меня из-за Везириана, но когда он ни словом

не обмолвился о фельетоне, мои подозрения исчезли. А теперь выясняется, что все это было игрой, маленькой комедией, в которой я, сам того не ведая, играл роль необходимого в любой комедии простачка.

Господи, что делать? Так ведь можно подозревать всех и во всем. Откуда знать, кто прав? Откуда мне знать, говорит ли Везирян сейчас правду или опять врет? Может, Бадамян не виноват, а может – виноват, может, все виноваты, а, может, нет?

Откуда мне знать? Значит, если после этого мне кто-нибудь что-нибудь скажет, я должен обязательно подозревать: почему сказал, с какой задней мыслью, почему именно сегодня? И что он имел ввиду, и что будет, если я не сделаю, кому это на пользу и кто возненавидит меня за это? Так ведь можно и свихнуться. Значит, не верить никому, не верить брату, отцу, Нанар? Нет, давай уж лучше я не поверю только тебе, товарищ Везирян. Ты меня научил этому, и я тебе за это искренне благодарен.

И, как это обычно бывает со мной, после сильного нервного напряжения я вдруг сразу успокоился, будто избавился от чего-то, и сказал Везиryanу исключительно вежливо, не повышая голоса:

- Ну, а теперь уходите, товарищ Везирян.

- Да, конечно, - сказал Везирян, - я доставил вам много хлопот, прошу извинить. Вы тоже из-за меня перенервничали, отец. – Он снова стал тем человеком, которого я прежде видел в горькоме и стройуправлении: глаза лучились добротой, а мощная фигура будто делала каждое его слово многозначительным. – Но ничего, я в долгу не останусь.

Он встал, огляделся, потом направился к маминой швейной машинке и положил на нее большой, перевязанный голубой ленточкой сверток:

- А это, - сказал он, - прошу принять без всяких задних мыслей, просто так, в знак дружбы. Это мелочь... - он повернулся ко мне, но так как я продолжал спокойно смотреть на него и не двигался, спросил на всякий случай, - а насчет материала, значит, договорились, товарищ Левонян, друг мой...

Я посмотрел на отца и впервые за весь вечер почувствовал, что он целиком на моей стороне. Он стоял у стены мрачный, нахмутив брови, и смотрел на меня, будто что-то приказывая мне, и ждал, как я выполню его приказ. И я не стал медлить:

- Отец учил меня, что гостя надо уважать, - сказал я, - поэтому тихо, аккуратно возьмите ваш аванс и убирайтесь. Уходите поскорее, товарищ Везирян, друг мой...

К своей чести Везирян на сей раз побледнел по-настоящему, хотел было что-то сказать, но не смог. Схватился за спинку стула, кадык его несколько раз дернулся и, наконец, он выдавил с угрозой и нескрываемой ненавистью:

- Ладно, я сделал все, что мог. Конец. Я хотел, чтобы мирно. Не вышло. Ничего. Вيني теперь самого себя. Ты еще вспомнишь этот день! Моя фамилия – Везирян! Если ты увидишь свой материал напечатанным – можешь гордиться! Ты еще часто будешь чувствовать меня рядом с собой, товарищ Левонян. Э, я свое сказал, до свидания, отец, будьте свидетелем. Пусть ваш сын на меня впредь не обижается.

- Ты, ты, - сказал отец, заикаясь, - ты плохой человек, плохой!

- Это вы еще узнаете! – уже из коридора бросил Везирян.

После его ухода мы долго молчали. Из кухни пришла мать, хотела что-то спросить, но, посмотрев на нас, промолчала в растерянности и присела на стул.

- Теперь видишь, папа? А ты рассказывал ему о своей жизни, прослезился из-за него, - сказал я со злорадством.

- А ты слышал, что он сказал о сыне Бадала? – спросил отец.

- Да, - сказал я.

Отец вздохнул:

- Не знаю, не знаю... Трудно тебе придется, сынок!..

ПРОСТИТЕ, ДО СВИДАНИЯ, СПАСИБО

- Алло, алло, редакция? Кто говорит? Я прошу товарища Сарьяна. Что? Очень хорошо, я подожду.

Почти всю ночь я не мог заснуть. Мучился и ворочался в постели. Мучился оттого, что чувствовал – отец тоже не спит. Дважды он выходил на кухню. Оттуда время от времени слышался его кашель. Наверное курил и ходил взад-вперед. Мысли, одна мучительнее другой, подобно разъяренному пчелиному рою, гудят в моей голове, скачут, путаются. Не могу даже точно сказать, о чем думаю, просто – думаю. Мозг работает сам по себе, не успокаивается. Подобное было со мной еще раз. Когда? Не могу припомнить. Но было. Нечто, от чего хочешь бежать и не можешь. Да, вспомнил. В селе, когда я был маленьким, когда мой дядя, пастух, брал меня с собой в поле и когда в полдень овцы начинали пастись между покосившимися хачкарами кладбища, а я ложился чуть поодаль на травку, на солнце, надвигал шапку на глаза и старался заснуть. Солнце пригревало так приятно, что лень было даже повернуться, и я как-то цепенел. Сквозь дырочки вязяной шапки я смотрел на солнце. Там виднелось не одно, а тысячи солнц, в каждой дырочке по солнцу, да и то не обыкновенному, а многоцветному, маленькому или большому. Потом я, наверное, щурил глаза, потому что солнца начинали кружиться друг за другом, смешиваться, увеличиваться и вдруг уменьшаться и исчезать, они кружились в таких местах, где мои глаза не могли их разглядеть, но я чувствовал, что они кружатся у висков, над головой, вокруг затылка. Голова гудела, глаза болели оттого, что я пытался разглядеть их в уголках век, и я закрывал глаза, чтобы ничего не видеть. Но напрасно, никакой разницы, множество солнц продолжало кружиться, смешиваться, они теряли свой цвет, меркли и серели, но продолжали кружиться непрерывно, бешено. Ничего не можешь поделать, хоть поворачивайся на бок, хоть ложись ничком, сколько угодно смыкай и размыкай веки. Безуспешно. Ты пленник созданных тобой же солнц.

- Вы ждете? – осведомляется секретарша.

- Да, да.

- Пожалуйста, еще минуточку, товарищ Сарьян говорит по правительственному. Сейчас возьмет трубку.

- Спасибо.

Мысли мучили меня, я вспоминал тысячи обрывков из бесед с разными людьми, в разное время, но в промежутках всплывали слова Везирияна, сказанные в тот вечер, и мои ответы ему. Я вспоминал и то, чего в действительности не говорил. В воспоминаниях все складывалось хорошо, но так как я знал, что было совсем иначе, это мучило меня. Я боялся Везирияна, хоть и не хотел в этом признаваться себе. Он сказал: “Ты еще часто будешь чувствовать меня рядом с

собой, товарищ Левонян”. Такой человек, человек, умеющий придавать своему лицу сотни выражений в минуту, способен на все. Он может даже снять фельетон. “Когда увидишь свой материал напечатанным, тогда можешь гордиться”. Значит, он уверен в своих силах. Ну конечно, он ждет кого-то. Кого это? Ведь он не выше Сарьяна по положению? Впрочем, кто знает? Но ведь, в конце концов, должны же они суметь опровергнуть факты? Ведь не могут же дела исчезнуть? А копии у меня. Чего же я боюсь? Чего? В любом случае надо поговорить с товарищем Сарьяном. Может, если будет время, он меня примет, а может, он захочет что-то мне сказать, ведь завтра фельетон должен быть напечатан. Хорошо бы поговорить поскорее, пока не пришел Партев или еще кто-нибудь.

- Алло, говорите.

- Здравствуйте, товарищ Сарьян. Товарищ Сарьян, это Артак беспокоит, Левонян.

- Да, в чем дело, в чем дело, Левонян?

- Хотел на несколько минут зайти к вам. Если у вас есть время...

-Времени нет, времени нет. Говорите по телефону, в чем дело?

- Я хотел по поводу фельетона...

- Ну что,фельетон, фельетон!... – Я чувствую, что редактор раздражен. – Интересный вы человек, товарищ Левонян, еще ничего не написав, растрезвонили по всему городу, если б это было не в первый раз, пришлось бы поговорить с вами очень строго. Да, да, это вопрос журналистской этики! Надо знать, надо знать...

- Товарищ Сарьян, что вы говорите?! Честное слово, я никому не говорил!

- Как то есть не говорили, откуда же тогда люди узнали, уже из десяти мест звонили и ночью не давали спать? И, в конце концов, кто вам разрешил грубить, хвастать, угрожать людям, что напишете фельетон, что, мол, увидите, что я с вами сделаю. Не ожидал я от вас, не ожидал, как видно, я тоже поспешил.

- Вай, товарищ Сарьян...

- Что, “товарищ Сарьян”, когда это вам Сарьян говорил, что напишите похлестче, что у меня старые счеты с этим... этим Везиряном? К моему счастью, к моему счастью, я его отродясь не видел.

- Но... но все это ложь, честное слово, они, они...

- Не знаю, не знаю, люди написали, были свидетели, десять человек подписало, мне звонил заведомо ЦК. Нельзя же так, всех взбудоражили, эх. Товарищ Левонян.

Я встаю, голос мой дрожит.

- Я никому не угрожал, поверьте, почему я должен был хвастать, я ведь не ребенок, товарищ Сарьян, разве б я стал врать от вашего имени, зачем?.. Они хотят ввести вас в заблуждение, чтобы...

- Меня не так-то легко ввести в заблуждение, пусть намотают себе на ус, да и ты тоже знай... - (Слава богу, пронесло, опять говорит на "ты", - облегченно вздохнул я). - Не думай, что я сразу же попался на удочку. Если хочешь знать, я знаю даже больше, да, да, я ждал даже большего, но не сейчас. Не возражай, это уже твоя вина, болтаешь больше, чем нужно...

- Товарищ Сарьян, но ведь я ни...

- Говорил, говорил, даже сказал, что будет напечатано в воскресенье. Слушай, парень, слушай, дорогой, не сердь меня, кто же кроме нас двоих знал, что запланировано на воскресенье?

Вот оно что.

- Это верно, но я не знал, что делать. Когда он пришел к нам домой...

- Кто пришел к вам домой?

- Везирян.

- Ого, это уже интересно.

- Да, товарищ Сарьян, вчера он пришел к нам домой. Принес с собой сверток (я покраснел, ведь не было, наверное, никакого смысла говорить об этом), просил, умолял не печатать, говорил, что покончит с собой. Даже мой отец прослезился (что за глупость, зачем я это говорю?).

- Отец почему прослезился? Знаком с ним, что ли?

- Нет, пожалел. Я сказал, что ничего поделаться не могу, не знал, что делать, и сказал, что материал в типографии.

- Гм, гм, а дальше?..

- Дальше он стал угрожать, сказал, что все равно фельетон не выйдет в свет, упоминал о каком-то друге, которого ждет, говорил, что ваш редактор собственными руками порвет фельетон. Заставят (на тебе, товарищ Везирян!)

- Так и сказал?

- Да, именно так.

- А может, прибавим все это к фельетону, а? Под заголовком: "Когда материал уже был набран". Об этом стоит подумать. Ну хорошо, пусть останется как есть, посмотрим еще.

- Товарищ Сарьян, значит, завтра...

- Посмотрим, посмотрим, если не будет официального указания... Впрочем, тебе это опасно говорить, ты не умеешь держать язык за зубами...

- Товарищ Сарьян...

- Хорошо, хорошо, не кокетничай. Посмотрим... Да, кстати, как ты обычно подписываешься под материалом?

- А. Левонян.

- Если очень боишься, можем напечатать под псевдонимом.

- Нет, товарищ Сарьян, не боюсь.

- Ладно, пусть будет А. Левонян. Неплохо. Даже звучит...

- Большое спасибо, товарищ Сарьян, извините, до свидания!

- Долго говоришь, товарищ Левонян. Пока!

Повесив трубку, я еще некоторое время постоял, машинально повторял “Спасибо, извините, до свидания”, “Извините, до свидания, спасибо”, и это, наверное, продолжалось бы долго, если бы бесшумно вошедший в комнату Саркисян не засмеялся.

- Артак, это что ты декламируешь?

- До свидания, извините, спасибо, - сказал я.

- И кому адресованы эти слова?

- Вам, товарищ Саркисян, если вы разрешите пойти в университет и сдать последний госэкзамен.

НАЧИНАЮ УЗНАВАТЬ ЛЮДЕЙ

В старом университетском корпусе мы сдавали много экзаменов. Но последний был не похож на остальные. И хоть никто не срезался, но он был самым грустным. Мы не спрашивали друг у друга, кто что получил, никто не выходил с зачеткой в руках, не было радостных возгласов. Пятый курс отделения журналистики еще никогда не был таким дисциплинированным.

В этот последний год наш курс уже не был таким дружным, как раньше. Мы в кино или на концерты ходили не все вместе, а маленькими группами. Тот, кто сдал экзамен, уже не ждал остальных, как прежде, а сразу выбегал из здания. У входа чужие ребята ждали наших девушек и чужие девушки – наших ребят. А девушки, наши девушки, целых пять лет отрешенные от мира, отлично знакомые с эстетическими взглядами Чернышевского, прочитавшие фронтовые газеты времен гражданской войны, вызубрившие первую часть политэкономии, разоблачавшие с принципиальных позиций героев Стендаля и Флобера, бродившие во время экзаменов по длинным коридорам, подобно утоляющим жажду птицам – то уткнув головы в тетради, то задрав их к небу, бормоча что-то под нос – наши девушки вдруг со всей ясностью заметили, что оканчивают университет и что им по меньшей мере двадцать два года. Двадцать два года!.. Необходимо что-то предпринимать. И они стали лучше одеваться, еще аккуратнее укладывать волосы, мазать губы и сиять запоздалыми, чарующими улыбками.

Но сегодня все было иначе. Кто уже сдал экзамен, молча выходил и становился в ожидании у стены. Казалось, мы сразу повзрослели. Государственная экзаменационная комиссия тоже вышла из аудитории. Преподаватели, усталые и озабоченные, прошли мимо нас. Мы сразу напряглись, ждали, что они заговорят, скажут что-нибудь, соберут нас, может, обнимут, может, поплачем вместе. Нет. Они прошли мимо нас, сказав короткое сарьяновское “Пока” и вошли в комнату, на дверях которой было написано “профессорская”. Безжалостные люди, им, видно, кажется, что завтра снова встретимся, “пока” говорят. Не думают, что все, конец, больше не придем, через несколько дней получим дипломы и разлетимся, покинем не только их, не только университет, но и друг друга. И, кто знает, когда встретимся еще; мала Армения, но районы с их газетами, размером с платок, чужими незнакомыми людьми и местными заботами, далеки.

- Месь! – сказала самая скромная девушка нашего курса, Луиза.

- Месь! – весело подхватили мы и, быстро наметив программу, всей группой направились к так называемой “профессорской”, столпились у ее дверей. Вардкес Аштаракский открыл дверь и наипочтительным, вымаливающим стипендию голосом спросил:

- Можно?

- Нет, – басом объявил наш декан, который нас очень любил, боялся избаловать и, тем не менее, баловал, - нет, нельзя, заседание деканата.

- А это нас не интересует.

- Что это за порядки?

- И бюрократизм должен иметь меру.

- Мы протестуем. Будем жаловаться куда следует! – воодушевленно и фальшиво зашумели мы.

Декан нахмурил лоб, удивленно встал с места. Преподаватели тоже встали. Неслыханная вещь, студенты вдруг вышли из себя, - ведь только что они тихо и смиренно стояли у стенки.

- Что это все значит? – прогремел декан.

Мы подтолкнули, и Вардкес сделал шаг вперед.

- Дорогой товарищ декан, уважаемые профессора и доценты, - звонким пионерским голосом провозгласил Вардкес, - я, от имени бывших студентов бывшего пятого курса отделения журналистики уполномочен сообщить вам, что... - здесь наш делегат остановился, как положено, чтобы усилить напряжение... - мы приносим вам глубокую благодарность за все то, что вы сделали, чтобы мы в пределах возможного стали развитыми людьми. И простите нас, если мы когда-либо огорчали вас. Успехов вам в вашей большой и тяжелой работе, пусть на смену нам придут студенты лучшие, чем мы. А вы пожелайте нам успехов, ибо мы всем курсом уходим на фронт.

- Спасибо! – громогласно прогрохотали мы.

И покраснели, и засмеялись наши преподаватели. Забыв и “профессорскую”, и заседание деканата, они окружили нас, присоединились к нам, и мы зашумели, как это бывает в коридоре на перерывах собрания. Все были такие хорошие, такие добрые и такие растроганные! Совсем недавно сказавшие нам “пока” преподаватели говорили теперь заикаясь, а наши девушки смотрели на них влюбленными глазами и плакали.

- Ну, а теперь, “пока”! – сказали мы.

Вышли из здания университета, двинулись один за другим к невысокому фонтанчику и выпили по очереди университетскую воду, в той же очередности пожали руку удивленному сторожу – самому суровому из ответственных работников университета – и, перейдя улицу, вошли в сквер имену Гукасяна. Там мы выбрали глухую нижнюю аллею, нарушая порядок, сдвинули буквой “П” тяжелые садовые скамейки и расселись. Стоявший в сквере и подстерегавший жертву фотограф сразу понял, что происходит, схватил свой допотопный фотоаппарат и очутился перед нами. Установил штатив, поднял руку и хотел было уже произнести традиционное... но я перехватил инициативу.

- Как только скажешь “Улыбнитесь”, убью, - сказал я. – Снимай такими, какие есть.

И так как все засмеялись, я на снимке получился самым серьезным и оставляю впечатление постороннего.

- Давайте споем что-нибудь веселое, - сказала вторая по веселости девушка нашего курса, Лида (первая раньше времени вышла замуж и сейчас напевала “Баю, баюшки, баю” в одной из квартир на улице Налбандяна). Лида подняла к небу свои изумрудные влажные глаза и затанула:

Зеленый листик дерева, дерева

Листик зеленого дерева, дерева...

В былые времена мы умудрялись под одни только эти слова битых два часа танцевать и петь. Но сейчас лишь несколько человек, не глядя друг на друга, нестройно поддерживали Лиду, и так как песня получилась уж очень грустной, сразу замолкли.

- Ребята, - сказал Вардкес, - у меня есть предложение посерьезнее. Более удобное время вряд ли подвернется. Вы не замечаете, что Артак Левонян впервые за последний год участвует на нашем сборе? И так как мы неоднократно решали поставить его вопрос связи с систематическим отсутствием на занятиях и неучастием в наших мероприятиях, но так и не смогли рассмотреть его, поскольку товарищ не являлся и на собрания, давайте сделаем это сейчас. Все равно, он нам больше в руки не попадет.

- Правильно! – закричали привычные к собраниям мои товарищи.

Я сделал вид, что хочу бежать, завопил “Помогите!”, но Гайк поймал меня и притащил, посадил между двумя полненькими неразлучными подружками, которые были известны в истории нашего курса под прозвищем “Чиг” и “Биг”.

- Вы не имеете права рассматривать мой вопрос. Я член райкома, лицо неприкосновенное! – запротестовал я.

- Все мы члены райкома, - невозмутимым голосом объявил староста нашего курса Шаварш. У себя в Мартуни он “участвовал в Великой Отечественной войне” и на первом курсе с превеликой таинственностью сообщал всем девушкам и каждой в отдельности, что так часто упоминающийся в книгах герой-партизан Ш. – это именно он, Шаварш. Он взял в руки какую-то книгу и, листая ее как журнал посещаемости, произнес глухим голосом:

- Артак Левонян. Будем говорить фактами. В первом семестре пропустил двадцать четыре часа, из коих по неуважительной причине – 23.

- А это что за час по уважительной? – с трудом поднял веки Вилен, который был феноменально ленив и даже поднимать веки считал лишней работой.

- Это тот единственный час, когда мы освободили товарища Левоняна от занятий, дабы он явился в деканат и отчитался за свои прогулы, - доложил староста, - во втором полугодии он пропустил четырнадцать часов.
 - Налицо явный прогресс, - доброжелательно произнес Джав, который еще на четвертом курсе получил приглашение от руководства своего района работать редактором районной газеты и с тех пор подчеркивал в своих конспектах строчки и отмечал в скобках “Подчеркнуто мною. Дж. С.”.
 - Небольшое разъяснение, - оборвал староста, - во втором семестре мы занимались всего два месяца.
 - Налицо глубокое заблуждение, - обиженно вскочил я, прежде чем Биг и Чиг успели схватить меня за руки. – Что же получается, дорогие товарищи? В райкоме меня критикуют за то, что я удираю с работы на занятия, а вы жалуетесь, что я убегаю с занятий. Выберите комиссию и расследуйте, наконец, этот вопрос. Так, где же я бываю? Ведь где-то же я должен находиться, не так ли?
 - В кукольном театре, - и глазом не моргнув, предала Айкуш.
 - Пустьавдается! – воскликнул Роберт. Он говорил так быстро, что мало кто понимал его, а преподаватели скорее ставили ему какую-нибудь оценку и освобождали от экзаменов, чтобы избавиться от необходимости каждую секунду заставлять его повторять предложение за предложением. – Пустьавдается!
 - Требую переводчика, - возразил я, - я не обязан отвечать на вопрос, которого не понимаю.
 - Уважаемый товарищ Роберт сказал “Пустьавдается”, что на его родном тарабарском языке, означает: “Пусть оправдается”, - перевел Вардкес.
- Роберт одобрительно кивнул.
- И тут мои имеющие высшее образование товарищи повели себя так же бесстыдно, как неграмотные обитатели “Вороньей слободки” Ильфа и Петрова в отношении великого мечтателя Васисуалия Лоханкина. Они стали, фактически, измываться над моими чувствами.
- Оправдываться мне не в чем, я работаю по совместительству, по этой самой причине...
 - Все мы работаем, - вмешались они, - мы общественники.
 - Но у меня еще есть и любимая девушка.
 - У всех есть любимая девушка, - заорали даже наши девушки.
 - А что вы скажете о малокровии? Ведь я малокровный!

- Все мы малокровные, - возопили они. Причем громче всех вопили полненькие краснощекие подружки Чиг и Биг.

- И потом я за последнее время заметил у себя признаки проказы, - немного подумав, сообщил я.

- У всех признаки проказы, - радостно зашумели они.

- В таком случае я предлагаю всем предаться самосожжению, - сказал я, - ведь мы героическое племя, наши отцы показали блестящие примеры самопожертвования!

- Это демагогия, - сказал партизан Ш. – Пусть суд выносит приговор.

И суд решил: каждый студент нашего курса должен был нанести удар двумя пальцами правой руки по моему обнаженному запястью. А когда телесное наказание было приведено в исполнение, я, потирая опухшее запястье, с удовлетворением подумал, что тем не менее начинаю разбираться в людях. Еще до удара я знал, кто из моих друзей и подруг ударит сильно, а кто слабо, просто погладит или постарается причинить боль. И только один раз ошибся. Староста нашего курса, доблестный мартунинский партизан Ш., которого я терпеть не мог и знал, что он полностью разделяет мои чувства, подойдя ко мне и глядя на меня холодными глазами, только слегка приложил руку к моей, в то время как я ожидал сильного удара. Я удивился, но потом понял, что он перенес свой удар на более удобный момент, на более серьезную ситуацию.

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ

На Круговой под часами я глазами искал Нанар, хотя точно знал, что она должна быть дома. И вместо Нанар увидел Манука.

- Совсем заждался тебя, - набросился он, - где ты, э? В райкоме сказали – в университете. В университете сказали – уже ушел. В кукольном театре – еще не приходил. Дома сообщили, что вообще редко тебя видят. В редакции...

- погоди, ты что, розыск объявил? Что случилось?

- Я погиб, - сказал Манук, грустно покачивая большой головой, - у меня трагедия. Ужасная вещь.

- Опять поссорился с Нвард? – зная его паникерскую натуру и страсть к мелодекламации, деловито спросил я. – Помирить?

- Нет, что ты говоришь?! Ужасная вещь. Не знаю, что делать, куда деваться...

Я забеспокоился.

- Ну говори же, что произошло. Может, Нвард с кем-нибудь...

Манук сразу помрачнел и схватил меня за руку.

- Ты что-нибудь знаешь?

Теперь мне пришлось долго уговаривать его, что ничего не знаю, что только предположил, видя его отчаяние. Наконец, он успокоился.

- Нет, - сказал он, - что ты? Нвард любит меня, сейчас, наверное, сидит и плачет дома. Но ее отец, этот “турок”, меня не любит. Представляешь себе, я зашел за Нвард, а тут вышел он и без всяких предисловий объявил, что я впредь не имею права встречаться с Нвард, поскольку он еще не имел чести видеть у себя дома моих родителей.

- Ну так отведи туда отца, - засмеялся я.

- С ума сошел, что ли? – удивился Манук, - ты что, не знаешь моего отца? Отец!.. Да он заболит, если узнает, что я хочу жениться на дочери беспартийного.

- Так что же, хочешь, чтоб мы уговорили отца Нвард вступить...

Манук безнадежно махнул рукой. А я вспомнил его отца. Ведь я действительно знал его. Еще по прокуратуре.

* * *

Он был следователем уголовного розыска и довольно мрачным человеком. За два года я так ни разу и не увидел его улыбки. Ходил он тяжело, опустив большую голову, и изучал из-под густых черных бровей все вокруг. По-моему, его никто не любил, но все боялись. Я тоже боялся. У него был очень строгий голос. Однажды товарищ Эстер велела мне отнести ему какую-то бумагу. Я отнес ее в его приемную, положил на стол и повернулся, чтобы уйти.

- Подожди! – прогрохотал он.

Он писал. Я ждал. Он долго писал. Я боялся сказать, что у меня есть и другие дела. Стоял у двери. Ноги мои болели. А он все писал, отвечал на телефонные звонки и скользил ручкой по все новым и новым страницам. Я не имел права опаздывать, ведь товарищ Эстер могла рассердиться. И я пробормотал, что у меня много дел.

Он удивленно поднял брови и, продолжая писать, сказал:

- Ты рассылный и за это получаешь зарплату. Подожди.

Конечно, он был прав. Я именно за это и получал зарплату. И в его голосе не было ничего оскорбительного. Но я, кажется, понял, почему его не любят. Не любят, хотя он самый опытный работник прокуратуры, хотя его неподкупный характер известен всем. Его отмечали на совещаниях, его портрет никогда не сходил с Доски почета, но когда работники решали отдохнуть в воскресенье в Разданском ущелье, он всегда бывал в командировке в каком-нибудь отдаленном районе. Очень своеобразный был человек.

Его сын Манук заходил иногда в прокуратуру. Мы были ровесники. Он тоже учился в шестом классе. Очень походил на отца, с такой же крупной головой и густыми бровями, но глаза у него были большие и грустные. Он садился рядом со мной и смотрел, как я заполняю свой журнал рассылного, со страхом и удивлением дотрагивался до прилагаемых к делам вещественных доказательств: разных ножей, топоров, окровавленных костюмов.

И однажды я услышал, как отец в коридоре отчитывает сына:

- Конечно, ты свободен в выборе друзей, но сам подумай, что даст тебе дружба с этим курьером. Может, он и неплохой парень, но...

- А что мне делать? – захныкал Манук.

Продолжения я не услышал. Мне надо было нести дела в суды и я, пробежав мимо них, вышел из здания, задыхаясь от обиды и мечтая о самом суровом возмездии. На площадке трамвая я уже победно смеялся, так как нашел, как отомстить. Я стану прокурором. Не простым, а прокурором

республики. Вызову отца Манука, буду писать себе, а он пусть стоит полчаса. А если попробует жаловаться, скажу ему ехидно:

- Твоя обязанность – исполнять мои приказания. Улыбнись и налей воду в чернильницы.

Мое воображение дальше не пошло, да и не сбылось. Я так никогда и не увидел его улыбки. А Манук сказал, что и он не видел. Это было на следующий день. Манук сказал, что его отец не улыбается никогда, потому что во имя революции собственноручно расстрелял в селе своего дядю и близкого друга. Они были враги народа.

В ту ночь отец вернулся в город и больше никогда не ездил в свое село. И из села больше никогда и никто не приезжал к нему. Манук сказал, что его брат слышал, как перед смертью мать, рыдая, сказал отцу:

- Ну что ж ты будешь без меня делать, а? Кроме меня никто тебя не жалел и не любил, как же ты теперь будешь нести на своей совести смерть тех людей в одиночку, а?

А отец рассердился и закричал, что он исполнял свой долг и если будет нужно, без всяких угрызений совести исполнит снова.

Манук рассказал мне все это, потому что я не хотел разговаривать с ним и предлагал ему слушаться отца и дружить только с сыновьями прокуроров. А я – сын рабочего и курьер. Что ему до меня? А потом, когда мы уже были близкими друзьями и вместе учились в университете, когда уже прочитали, так и не усвоив, кучу разных книг и научились говорить гладкими выпренными и взрослыми оборотами, когда, не вникая в суть, цитировали наизусть целые главы из “Капитала” и “Материализма и эмпириокритицизма” и могли часами повторять мудрые мысли мудрых людей, как-то я сказал Мануку:

- Извини, но знаешь, на кого похож твой отец?

- На кого?

- На Жавера из “Отверженных”.

Манук не обиделся, но надолго задумался. Потом его глаза стали еще грустнее:

- Возможно. Но он никогда не встречал своего Жана Вальжана. Так уж он устроен. Что мне делать? Он уверен, что абсолютно все шагают неправильно, и следит за тем, как шагает сам. Что я могу поделать? Он мой отец. Я тебе скажу как юрист – для него нет чисто уголовных дел. По его мнению, уголовные преступники – это, в основном, бывшие политические, которые, не имея выхода, выбрали новые формы борьбы. Так-то. Более того, ему всегда кажется, что наши органы слишком гуманно относятся к преступникам, цацкаются с ними, а когда выпьет, с сожалением вспоминает о тех годах, когда обвиняемого можно было допрашивать с пистолетом на столе и приводить в исполнение приговор особой тройки в ближайшем ущелье.

- Ты уж очень строг, - сказал я Мануку.

- Э! – рассердился он. – Тебе что, а мне жаль, что окончу юридический. Понимаешь? Мне кажется, я буду слишком мягок, чтобы обо мне не говорили “сын своего отца”. Строг! А ты знаешь, что он делал во время войны? Однажды он сослал в Сибирь на 8 лет крестьянина за кражу ведра картошки для умирающих с голоду детей. Я сам читал это дело.

- Ну закон был такой, ведь не сводил же он счета?

- Нет, он – другая крайность. А ты думаешь, тогда не сводили счета, думаешь, под предлогом борьбы за революцию мало кто сводил счета? Нельзя же в конце концов, подобно октябренку, делить мир только на красных и белых. И красные и белые имели очень разные цвета и оттенки. Просто во время революции оттенки не были видны, не было времени их различать. Но когда все успокоилось, цвета стали яснее. И выяснилось, что мой отец и ему подобные были серыми среди красных. Нет, он не сводил счета. Наоборот, он всегда выступал от имени закона, глубоко веря, что делает все ради защиты революции. Всегда требовал высшей меры по данной статье и снискал славу беспристрастного человека.

- Значит, он не беспристрастен?..

- Нет, - сказал Манук, - это не беспристрастность. Это садизм. Во многих странах желающих стать мясниками подвергают психиатрической проверке. По простой причине. Некоторые не переносят кровь. От вида крови они звереют, выходят из себя, и в эту секунду способны на все. Или даже у нас, поступающих на караульную службу тоже проверяют, потому что есть люди, которым оружие не дает покоя, они чувствуют непреодолимую потребность стрелять. Понял? Вот мой отец такой. С этими же чертами характера он мог стать отличным бухгалтером или великолепным архитектором, но не имел права стать юристом.

- Неужели никто из назначавших его на работу не понимал этого?

- Понимали, как не понимали, но кому-то были нужны именно такие люди. Особые люди. Скажу тебе самую большую тайну: у него есть пистолет с маленькой золотой пластинкой, на ней написано: “За особые заслуги”. Эта надпись меня убивает, Артак. А он гордится ею. Как можно дарить и получать в дар пистолеты в мирное время? Я этого никогда не понимал и никогда не пойму.

- Ты не любишь своего отца, - сказал я. Может, он и был прав, но мне было очень неприятно, что Манук говорит о своем отце в таком тоне, - ты не любишь своего отца, поэтому и все путаешь.

Манук застонал:

- Если б не любил, не переживал бы. Но как ты не понимаешь, что это совсем разные вещи? Знаешь, что сказал Монтескье: “Надо быть правдивым во всем, даже если речь идет о родине. Каждый гражданин обязан умереть за свою родину, но никого нельзя заставлять, чтобы он лгал во имя родины”. “Не любишь своего отца”... Ты сам знаешь, что он после смерти матери не женился и был для нас всем: и отцом, и матерью, и нянькой... Не спал ночи напролет, даже стирал и готовил обеды... Если нужно будет, я жизнь отдам за него. Что ты говоришь! Но это

совсем другое. Я могу его понять, но принять не могу. Иначе зачем мне было жить в общежитии, а? Зачем было, будучи студентом пятого курса, таскать вместе с тобой мешки сахарного песка на консервном заводе. Я сам пытаюсь очиститься, сам! Это неправда, что сыновья не отвечают за отцов. Другое дело, что их не надо привлекать к ответственности, но они и без этого несут бремя родительских грехов. Это как клеймо.

Манук выходил из себя, когда говорил об отце, и я понимал и жалел его. Я тоже не любил его отца, но мне не хотелось, чтобы он из-за этого чувствовал себя угнетенным и так страдал. И старался всегда успокоить его, и вновь говорил напыщенно и по-взрослому. Так мы привыкли, так мы говорили в те далекие времена. “Манук джан, - говорил я, - во-первых ты сам говоришь, что таких были единицы, и потом, почему поступки отцов должны бросать тень на нас. Мы-то в чем виноваты? Были трудные годы, переворачивался весь мир, падали троны, рушились принципы и была революция. Не какие-нибудь волнения, а великая революция, окончательная, необратимая, бесповоротная. И это было до нас. Мы не видели того времени, нас не было тогда. Кто не знает, что революция требует больших жертв, и эти жертвы были. Жизнь показала, что революция была правильной и необходимой, но только время решит, какая часть жертв была во имя революции и была справедлива. Только и только время. Не усложняй всего, не мучайся, Манук джан, люди, подобные твоему отцу, действительно были единицами”.

- Да хоть один! – закричал Манук, - но разве мне легче, если этот один – мой отец...

* * *

Нет, я хорошо знал его отца. Об этом не стоило и говорить. Но что можно сделать? Что?

И выход снова предложил Манук.

- Слушай, давай захватим Нанар, возьмем несколько бутылок вина и пойдем к ним домой. А, Артак? Скажу, мой женатый друг. Одежда у тебя не такая уж ветхая, да и сам ты на первый взгляд можешь сойти за серьезного человека. Пойдем, Артак джан. Спасай!

- Благодарю за комплименты, но Нанар не придет, - засмеялся я.

- Перехитрим, будь спокоен, большие дела требуют жертв. Скажем, что Нвард тяжело больна. Ох уж этот “турок”!

... А “турок” был добрым и подвижным стариком. Вначале я даже решил, что это дедушка Нвард. У него были седые, поредевшие волосы, мелкие морщинки иссекали все лицо и скапливались у голубых влажных глаз. Принял он нас очень серьезно, будто действительно встречал сватов. Усадил вокруг стола, а сам уселся по-турецки на тахте, взял в руки четки и... устроил нам такой допрос, что даже многоопытный отец Манука позавидовал бы! Не прошло и нескольких часов, как он уже наизусть знал наши биографии, и даже такие подробности, что мы и сами не могли понять, с чего это мы их выболтали.

Согласно предварительной договоренности, беседу с ним должен был вести я, но он живо изолировал меня и взялся за Манука. И Манук, наш Манук, красноречивый студент пятого курса юридического, подобно лепечущему ребенку, еле выдавливал из себя одну и ту же фразу:

- Однако с точки зрения юридической...

- Давайте отбросим точку зрения юридическую и поговорим с точки зрения человеческой, - обрывал его Петрос-айрик⁷.

Единственное утешение было в том, что Нанар и Нвард на этой пытке не присутствовали. Из сада через открытое окно иногда доносился их смех. А когда они вошли, за столом царило спокойствие. Мы сдались на милость победителя, и лучшего плена вряд ли можно было ожидать. Услышав скрип двери, мы с Мануком даже слегка огорчились, потому что в эту минуту Петрос-айрик говорил. Вино сделало его глаза еще более влажными, голос звучал как доверительный шепот, он произносил слова медленно, отдельно, будто перебирал четки.

Петрос-айрик рассказывал свою одиссею.

Это была одновременно и сказка и грустная, ужасная быль, потому что сказки должны кончаться счастливо.

Это даже и не была одиссея. Потому что после долгих скитаний и лишений, Одиссею удастся, в конце концов, обнять своего сына и любимую верную жену. А жену и сына Петроса-айрика турецкие аскеры зарезали у него на глазах вместе с другими, многими другими женщинами и детьми. Одиссея!.. Те скитания были легкой прогулкой с приключениями по сравнению со страданиями Петроса-айрика. Петросу-айрику довелось увидеть ад на земле. Ради того избалованного греческого полководца боги вели целые битвы в небесах и расчищали, облегчали ему путь. В то время как единственный бог армянина отвернулся от него, а потом выяснилось, что все это ложь, что нет даже этого единственного бога, когда в нем больше всего нуждаешься. Нет, это не была одиссея, потому что Одиссей возвращался домой, а для Петроса-айрика все дороги в родной Муш были перекрыты навсегда государственной границей.

- Отец, - тихонько сказала Нвард.

- Да, джана? – сразу откликнулся Петрос-айрик, выпрямился на тахте, худой и подтянутый, и посмотрел на дочь полными безграничной нежности и грусти голубыми глазами, - не бойся, ягненок мой, я не заплачу.

Я налил ему вина, потом Мануку и себе, и когда пил, думал, что, наверное, именно в такую минуту из тысяч минут жизни люди становятся пьяницами. Я выпил вино жадно и выпил снова, стыдясь этого.

⁷Отец

- Сына моего звали Вард, пять лет было сыночку, - вдруг без всякой связи сказал Петрос-айрик, его голос задрожал, и он сделал долгую паузу, чтобы переждать комок в горле, но так как не проходило, он сильно, нервно потер кадык.

Он бы умер с горя, если б его не поддерживала жажда мести. Именно она подняла его, раненного в плечо, из груды трупов, из-под теплой влажной весенней земли, которой наспех засыпали свои жертвы не знающие землю, враждебные земле турецкие аскеры. И когда он бежал в темноте, ему казалось, что он сошел с ума. Он слышал глухие стоны и рыдания, доносившиеся с окрестных холмов, и ему казалось, что от вздохов, подобно ему заживо похороненных, колеблются, вздымаются волнами эти ставшие за одну ночь могилами сотен людей, черные холмы.

Он бежал в горы – единственное, родное пристанище армянина, бежал, полз, вздымая в небо, как жалобу, свою раненую руку, отмечая свой путь кровавым следом. Потом ему показалось, что он падает куда-то долго, бесконечно долго, но легко, без боли, подобно пуху или снежинке.

Проснулся он сразу от нестерпимой боли в руке. Во сне он протягивал руки к жене, хотел обнять Вардика, но жена не дала его и сказала мрачно, с ненавистью:

- Бросил нас и убежал, да, бесчестный?..

Черная овчина склонилась над ним, и Петрос-айрик почувствовал, что кто-то говорит какие-то слова, услышал, что кто-то говорит по-курдски.

- Будь спокоен, армянин, мы же братья, тебе принес сюда мой старший сын. Будь спокоен, армянин, не бойся!

Петрос-айрик застонал и открыл глаза. В палатке пахло сухим бессмертником и тимьяном, сквозь отверстие над головой синело низкое небо. Значит, еще не рассвело. Но ведь он бежал всю ночь! Он услышал рыдания, доносившиеся откуда-то поблизости, и сразу почувствовал, что рыдают армяне. Вдруг послышалась тихая, надрывающая сердце, песня. Молодая мать пела на старинный мотив, но с новыми словами колыбельную:

*Что мне сказать турецкому аскеру,
Который убил твоего отца...*

Петрос-айрик повернулся, но не смог и заплакал, заплакал безутешно, чувствуя, как слезы текут по лицу. Он плакал, проклиная бога и мир, проклиная армянина и его бессмысленную, непонятную, безбожную судьбу, осыпая ругательствами и синеющее небо, которое сейчас, неизвестно для кого, неизвестно почему и зачем стало светлеть.

А мать пела тихим грудным голосом, и неясно было, поет она или плачет.

*Хочет султан вырезать нас.
Проснись, мой мальчик, умру за тебя!..*

- Хватит, сестрица, что было -было, упаси господь от худшего, - взмолился чей-то низкий голос, - хватит. Дай, дай мне этого невинного ангелочка.

- Не дам, - вздохнула мать, - никому не дам, сейчас проснется мой ягненочек. Тише. Сейчас я спою, и проснется опора нашего дома, наш мужчина, ведь только он остался, один. Вставай, лао⁸, разве не слышишь?

*Хочет султан всех нас стереть,
Встань же, лао, вставай скорей...*

Снова послышались рыдания, и Петрос-айрик, задыхаясь, привстал. Рядом с ним шевельнулся и курд...

- Чего тебе, армянин? – сказал он.

- Кто это? – спросил Петрос-айрик, прислушиваясь к песне.

- Ужас, лао, - сказал курд, - армянка. Ребенок умер, не верит, зовет, поет, не разрешает похоронить, обнимает, баюкает. Господь отнял у него разум. Будь этот бог трижды...

- Отец, - тихо попросила Нвард.

- Да, джана, - сразу откликнулся Петрос-айрик и, будто впервые увидев нас, посмотрел удивленно, грустными мутными глазами, потом вдруг обратился к Мануку... - Сколько тебе лет, сынок?

- Двадцать два, Петрос-айрик, - заикаясь от растерянности, ответил Манук.

- Да, - сказал старик, - вашему Петрос-айрику было в тот день тоже двадцать два года.

Хорошо, что он спросил не меня. Если б я заговорил, то заплакал бы, как Нанар, которая закрыла руками лицо. Но я был потрясен еще больше, и был потрясен своим невежеством. Неужели и Манук ничего не знал? Неужели никто ничего не знал? А ведь мы окончили школу и университет, армянский университет. Мы изучили тысячи вещей и прочитали тысячи книг. Я назубок знаю историю древних греков и римлян и могу с точностью до года сказать, в каком веке до нашей эры и в каком году произошла та или иная проклятая война. Я могу назвать даты всех основных событий от раннего средневековья и до выступлений и побегов с ссылки вождей нашей революции, могу сказать, что у нас было до революции и чего мы достигли в годы великих пятилеток, могу ответить еще на многие вопросы. Но я не знал, даже не слышал, что всего за три пятилетки до моего рождения, в нескольких километрах от моего Еревана тоже была Армения, и в этой Армении за несколько дней был уничтожен целый народ – молодежь, дети и старики, - что по приказу турецкого правительства было уничтожено два миллиона ни в чем не повинных, безоружных армян, то есть примерно столько, сколько по данным статистики

⁸ Лао – мальчик, сынок (арм.)

живет в нынешней Армении. Так ведь можно сойти с ума. Почему же об этом нет в наших учебниках, почему никто из наших лекторов не рассказывал нам об этом? И ведь не все армяне были безоружны, были и такие, что сражались дни и недели подряд, оказывали сопротивление врагу, подобно нашему Петросу-айрику, организовывали ополчение, имели своих генералов и героев? Почему их портретов нет в наших учебниках? Петрос-айрик говорит, что какой-то полководец Андраник стал богом армянской мести, грозным и справедливым, как надлежит богу. Турецкие паши, в ужасе бросая оружие и жен, бежали, услышав только имя его. А Андраник давал этим женщинам и детям еду, защищал их от обезумевших от жажды мести солдат.

- Да святится имя его! – В глазах Петроса-айрика вспыхивают отсветы пламени прошедших дней, исхудавшее тело еще более выпрямляется на тахте, и он сейчас похож на полководца, который вынес на парад опаленные знамена своих боевых воспоминаний.

- Какой человек был! Я видел его так, как вас сейчас, сто раз видел и не переставал восхищаться. Куда бы ни повел он нас, мы шли за ним беспрекословно, потому что он вел нас в бой за родину и кроме родины не имел ничего. Он был на белом коне, как святой Саркис, да святится имя его!

Дверь отворилась и вошла бабушка Нвард. Голова ее была закутана в черный платок. Из-под платка, как островки снега на черной пашне, сверкало серебро волос. По ее виду невозможно было определить ее возраст. Время так иссушило ее лицо, что, казалось, – она никогда не была молодой, а родилась вот такой, с тонкими резкими морщинами, похожими на трещины на высохшей глине. Такие живут долго и никогда не болеют, такие ложатся только раз, чтобы больше не встать. В ее левой руке вместо палки был железный прут, а в правой она несла полное гаты блюдо.

Нвард вскочила с места и взяла у бабушки блюдо, а Петрос-айрик радостно воскликнул:

- Дорогая мама! Как ты вовремя. Садись поближе, мама. Я рассказывал молодежи об Андранике, мама джан.

Не знаю почему, я был уверен, что она откажется или заставит себя упрашивать. Нет. Она села рядом с сыном на краешек тахты, прислонила прут к столу, тихо откашлялась в ладонь, подняла глаза и запела. У нее уже не было голоса, а тот, что остался, был надтреснутый и хриплый, и песня доносилась как бы издали, из глубины давно минувших, покрытых дымкой лет.

Петрос-айрик, неслышно шевеля губами, стал повторять за ней слова песни, потом повысил голос и углубился с матерью в те давние, прошедшие времена...

Более трогательной песни я в жизни не слышал, и никто из нас не захлопал в ладоши, потому что уж очень была задушевная эта песня. Но удивительными были не слова песни и не мелодия.

Удивительными были певцы. Слегка обняв друг дружку и подняв глаза к небу, они тихонько покачивались в такт песне, которая лилась, дрожала в воздухе, будто доносящийся откуда-то молебен. Удивительным был блеск, появившийся вместе со слезами в задумчивых глазах матери и сына, волею времени ставших ровесниками, стариками. Наверное, эта песня, если судить по ее словам, создавалась как веселая, победная песня, как восхваление героя и героизма. Но не было молодых певцов, молодые сражались, а песню пели надтреснутыми голосами осиротевшие старики, и поэтому веселые слова облеклись в грустную мелодию, и звучала она с беспримерной грустью и гордостью.

Мы долго молчали, погруженные каждый в свои думы, и тишина не давила, не угнетала, наоборот, соответствовала охватившему нас настроению, которое обычно бывает в родных стенах среди родных людей и в знакомой, привычной обстановке.

- Артак, - прошептал Манук, - знаешь, кроме вашего дома, я никогда и нигде не чувствовал себя так хорошо.

- А как насчет “турка”? – шепотом съязвил я, - как мы решим его вопрос?

- Ну, - сказал Манук, - ты это дело брось.

Нвард подала гату и кофе в маленьких пестрых фарфоровых чашках, и я подумал, что начинается экзамен. Я еще в жизни не пил кофе и был уверен, что Нанар и Манук тоже не пили. Что же теперь нам делать? Был бы хоть в нормальных стаканах, а то эти наперстки и не удержишь. Разобьются – опозоримся. Казалось, хуже всего придется Нанар, но она преспокойно заявила, что не любит кофе, и увильнула. Выступить после этого с аналогичным заявлением было бы неудобно. Я затравленно посмотрел на Манука. Он тоже глядел на меня взывавшими о помощи глазами. Я незаметно пожал плечами, взял кончиками пальцев наперсток и опорожнил его залпом. Собственно, там нечего и было опорожнять. Горькая жидкость немилосердно обожгла мне рот, и я чуть не завопил во весь голос, на глаза последовавшего моему примеру Манука навернулись самые неподдельные слезы. Хозяева то ли не заметили, то ли сделали вид, что не замечают, а Нанар... Нанар беззвучно смеялась, не в силах удержаться, и ее плечи мелко дрожали под цветастым ситцем. И я тут же решил отомстить.

На столе были и маслины – необычная вещь для ереванца. Позавчера, впервые в жизни, я попробовал в ресторане одну штучку, глядя, с каким восторгом сидящий со мной за столиком мужчина жует эти черные блестящие незнакомые шарики. Первая маслина, конечно, оказалась и последней, поскольку более горько-соленой вещи я не мог себе представить.

А сейчас я смотрел на маслины с восхищением и попросил Нанар обожженными губами:

- Передай, пожалуйста, пару маслин, вон тех, черненьких, кругленьких – тебе ближе.

Нанар исполнила мою просьбу и, заметив, с каким трепетом я беру их, спросила:

- Это что такое, Арт?

- Неужели ты не разу не ела? Превосходная вещь, но очень приторная. Лучше воздержись.

- Почему? Я очень люблю сладкое, - удивилась Нанар и чтобы доказать, что она очень любит сладкое, взяла сразу пару маслин.

Еле сдерживая смех, я смотрел на нее и видел, как ее лицо, сперва полное ожидания, выразило удивление, а затем – страдание. Я ждал, что сейчас она выплюнет их, но произошла удивительная вещь: Нанар медленно прожевала, а затем проглотила горькие и соленые маслины вместе с косточками. И, глядя на ее напряженное, но уже спокойное лицо, я с укором совести подумал, что все-таки у моей маленькой Нанар очень сильный характер. И подумал еще, кто знает, сколько горечи и обид проглотила она за свою жизнь, эта выросшая без отца хрупкая девушка, стараясь, чтобы никто не заметил ее горя и страдания, стараясь оградить с таким трудом сохраняемые достоинство и гордость от насмешек чужих мелких людишек.

- Больше не желаете кофе? – спросила Нвард.

- Нет, нет! – испуганно, от всей души отказались мы.

- Ну, кушайте маслины.

Я и Нанар воодушевленно покачали головами. Было вполне достаточно.

- Большое вам спасибо за все, - сказал Манук.

- Нет, так я вас не отпущу, хоть гаты попробуйте, ее мама моя испекла.

- А почему ты спрашиваешь, ягненок мой, положи прямо на тарелки, гостя не спрашивают, - сказала бабушка.

Петрос-айрик засмеялся, выпрямился.

- Выхода нет, придется кушать, - сказал он, - если к Нвард просоединилась и моя мать – спасения нет. Моя Нвард – вся в мою маму.

При слове Нвард глаза Манука засияли, он посмотрел сперва на девушку, смеющуюся и раскрасневшуюся, затем на ее маленькую, сухощавую бабушку, которая уже приводила в исполнение приговор, кладя на наши тарелки гату, и неожиданно сказал:

- Между прочим, Нвард и лицом похожа на бабушку. Очень похожа, не правда ли?

Они действительно были похожи тонкими чертами лица, подтянутыми уголками больших глаз и особенно взглядом: прямым, искренним, притягивающим. Только глаза бабушки были несравненно темнее. Наверное, очень красива была в свое время эта маленькая подвижная старушка.

- Правда, похожи? – невесть почему оживился Петрос-айрик и, услышав наше единоголасное подтверждение, добавил, - а на меня? Кто больше похож на меня? Нвард или мать?

Мнения разделились. Манук и Нанар находили, что обе, каждая по- своему, похожи на Петроса-айрика, а мне казалось, что это больше внутреннее сходство. Было просто удивительно, как они одинаково смеялись, говорили и двигались. Так бывает только в очень дружных семьях. У нас дома тоже так.

- Значит, говорите, мы похожи? – сказал Петрос-айрик. В его глазах запрыгали бесенята. – Совершенно верно. Я тоже так думаю. А что вы скажете, если узнаете, что мы не родные?

- Как то есть не родные? – засмеялись мы.

- Да вот так. Между нами нет ни кровных, ни родственных уз, - засмеялся Петрос-айрик, - просто мы армяне, собравшиеся в одном доме. Так и живем.

Необычным было, что ни Нвард, ни старушка не возразили, а нежно, грустно улыбнулись, и их улыбки были очень похожи.

- Налейте вина, - сказал Петрос-айрик. И посмотрел на Манука, - я и так рассказал бы тебе все, сынок. Я хочу, чтоб ты обязательно знал нашу историю.

Он выпил вино, запрокинув голову, озабоченно и медленно, а потом долго, прищурив глаза, подобно прорицателю, разглядывал пустой кубок...

* * *

Улица была безлюдная и длинная-предлинная. Ничто не нарушало ночную тишину, только рядом, чуть левее, глухо гудели трамвайные рельсы, наверное, где-то двигались в этот час трамвайные вагоны. Мы шли по плохо освещенной улице и неритмичный звук наших шагов еще более подчеркивал эту застывшую тишину. Если б вдруг из-за поворота с грохотом вылетел трамвай и пронесся бы рядом с нами со своими яркими, сверкающими огоньками и освещенными окнами, пронесся с воем, мощным звоном и светлым грохотом, наверное, ничего бы не произошло, наверное, мы бы заговорили о чем-нибудь другом. Но трамвая не было и шума не было, не было ни души на этой длинной и темной улице, будто город сразу замолк, застыл, оцепенел, и только один наш маленький грустный караван двигался по окаменевшей мостовой окаменевшей улицы.

Вдруг прямо перед собой, в нескольких шагах, я увидел жестяную консервную банку... В тусклом свете уличного фонаря она сверкала белым лунным блеском и невозможно было не заметить ее. И потому что я был пьян и слегка покачивался, и потому что перед глазами блестела эта пустая жестяная консервная банка, я решил подойти к ней по прямой, не отклоняясь. Но не успел. Манук вдруг сорвался с места и с глухим стоном сильно ударил ногой по банке. Будто выстрелили на улице. Банка, сверкая, взлетела вверх, исчезла во тьме, потом упала, подобно метеору и покатила по наклонному асфальту с невероятным грохотом и шумом.

- Что ты делаешь? – крикнула Нанар.

- Молчи! – сказал я, хватая ее за руку.

Мы все трое остановились и стали прислушиваться, как грохочет консервная банка и катится в тишине, постепенно удаляясь. И вновь безнадежно опустела эта длинная-длинная улица. В другое время, лет десять назад, если бы нам попалась эта банка, мы бы не дали ей исчезнуть во мраке, побежали бы, били бы по ней, снова догоняли и так до самого конца этой длинной-предлинной улицы и еще дальше. Но никто из нас не двинулся с места.

- Пошли, - сказала Нанар.

И произошло то, чего я ждал, и что хотел перебить шумом. Когда мы снова двинулись вперед, Манук отстал, и мы слышали позади рыдания. Он стоял спиной к нам, прислонившись к электрическому столбу, уперся головой в ладони и рыдал, сотрясаясь всем телом, как ребенок.

- Вай, он плачет! – удивилась Нанар.

- Знаю, - сказал я.

- Он пьян?

- Да, - сказал я.

- Я боюсь пьяных, - сказала Нанар, - но Манука не боюсь.

Она подошла к Мануку, продолжавшему рыдать у столба, тронула его за плечо.

- Что случилось, Манук? – спросила она ласково. – Что с тобой?

Манук отдернул плечо.

- Отпусти, отпусти меня, отпусти!

- Пойдем, Манук, - снова тихонько попросила Нанар.

- Вы идите, - простонал Манук сквозь слезы, - вы идите, идите спать, я не сдохну, приду. Ну идите же, что вам от меня нужно?

- Оставь его, - сказала я Нанар.

- Но ведь он плачет, - всхлипнула она.

- Ничего, - сказал я, - ничего, пусть поплачет. Пусть выплачется, успокоится.

Манук оторвался от столба, пошатнулся и подошел ко мне, продолжая утирать слезы. Он все еще продолжал плакать и встал чуть поодаль, ослабевший и согнувшийся.

- Успокоюсь, да? – сказал он хриплым голосом, - успокоюсь... Мне нет покоя. Нет! Я обречен, я пропащий человек в этом мире.

- Перестань! - закричал я, - чего ты вопишь, как баба! Делаешь из всего трагедию. Что случилось, скажи, ну что случилось?

Я знал, что он ответит, и знал также, что скажет это независимо от моего вопроса. Я просто не хотел, чтоб он плакал, я не выношу, когда плачет мужчина, потому что тогда мне тоже хочется плакать, а я не желаю плакать, хватит. Лучше пусть говорит.

- Какое значение имеет плач, - сказал Манук, - что с того? Если я плачу в душе, какое имеет значение, видите вы или нет? Я плачу для себя. Другим-то что?..

- Но ведь нет никакой причины, Манук! – сказала Нанар.

- Нет, Нанар джан, ты не знаешь, - сказал Манук, - я тебе сейчас объясню. Ты видела дом Нвард. Видела? Фактически, все посторонние люди, не так ли? И если б ты знала их сто лет, если б они тебе ничего не сказали, разве ты бы могла себе представить, что они чужие? Никогда! А ведь отец Нвард был всего лишь квартирантом у этой старушки, а Нвард он взял из детдома. Ты ведь слышала, что сказал Петрос-айрик: “просто армяне мы, собрались в одном доме, так и живем”. Живут! Так дружно: любят друг друга, улыбаются, понимают друг друга, и даже поют вместе. Так любят, что даже стали похожи друг на друга. Но ведь вы не понимаете, какое это счастье, не понимаете и никогда не поймете, какое это счастье!

- Почему же? Мы тоже понимаем, Манук, - сказала Нанар.

- Нет, Нанар джан, не говори. – Он стоял уже прямо. Но то ли оттого, что был пьян, то ли от горя, он покачивался. – Не говори, вы не можете понять. Это может понять только тот, кто несчастен. Это могу понять я. Знаю, Нанар джан, - вдруг нежно сказал Манук, - знаю, что у тебя нет отца, знаю, сестричка, но что тебе осталось от отца, ну скажи, что? Когда кто-нибудь спрашивает об отце, что ты вспоминаешь? Ты вспоминаешь, что он был добрый-предобрый человек, что возвращался домой, посадив тебя на плечи, что пировал на балконе с соседями, что пел и сожалел о своей потерянной родине. Вот ты плачешь. А я завидую тебе. Я завидую твоему плачу, потому что ты вспомнила своего любимого отца, вспомнила доброе, хорошее, родное. А мне нечего вспоминать, нечего! – Потом добавил совсем тихо, шепотом, - в прошлую субботу умерла мать моего однокурсника. Когда все ушли с кладбища, мой товарищ не пошел с ними, упал на свежий холмик земли и зарыдал. Он говорил матери какие-то ласковые слова и плакал, говорил: как же теперь он будет жить без нее. Я тоже заплакал, не в силах был сдержаться. Потом схватил его, грубо, насильно поднял на ноги. “По какому праву ты плачешь, - кричал я, тряся его изо всех сил, - по какому праву? У тебя была мать, она растила тебя, обнимала, любила, целовала, радовалась тебе, защищала тебя, если ты падал – она перевязывала твои раны, и шлепала тебя, если ты шалил. А меня мать не успела не только приласкать, но даже и отшлепать, понимаешь? Меня никто даже не шлепал по-родственному, я не видел матери, я только по книгам и на примере других знаю, что такое мать. Моя бедная мать так и не успела меня обнять, никогда!”

Казалось, он бредит: говорил быстро, давясь от спешки, будто боялся не успеть сказать все, что бушевало в его душе, не давало ему покоя и делало его несчастным.

- Петрос-айрик говорит, что они все чужие. Он не видел чужих, он не был у нас дома, он не видел моего отца. Иначе он бы знал, что такое быть чужим. У меня есть родной отец, и все говорят, что я удивительно похож на него. У меня есть братья, и мы все жили в одном доме. И никто из нас не понимал и не понимает другого – более чужих людей я не видел никогда. Я бежал от них, переехал в общежитие, чтобы иметь хотя бы друзей. Почему? Почему я должен жить в общежитии? Почему я должен скрывать, что у меня в Ереване есть дом, почему должен переходить на другую сторону улицы, когда навстречу идет очень похожий на меня человек, мой отец, которого я люблю и не понимаю, которого хочу видеть только издали, с которым не хочу разговаривать, потому что после каждой беседы чувствую себя еще более чужим.

Он и без того был уставший, пьяный и слабый. Горькое и грустное признание еще больше ослабило его. Он хотел было сказать еще что-то, но не смог и пошел вперед, медленно, опустив голову, прикрыв лицо руками, покачиваясь и спотыкаясь.

Некоторое время мы с Нанар смотрели ему вслед, смотрели с болью и сочувствием, но, наверное, и с непонятным, безжалостным чувством радости от сознания собственного счастья и стеснялись этого счастья.

- Бедный парень, - вздохнула Нанар, - пойдем, Арт джан, не надо оставлять его одного.

- Пойдем, - сказал я.

Вскоре мы догнали Манука и пошли рядом с ним по этой длинной, длинной, длинной улице, стараясь стряхнуть с себя на этой улице наши страдания и горе и унести с собой ее голубую ночную тишину. А рядом с нами тянулись, сверкая, трамвайные линии и гудели глухо, устало и ласково. Кто знает, наверное, в это время где-то в городе по ним неслись освещенные веселые трамваи.

МОЖЕТ, НАМ ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ

Уже неделя, как фельетон напечатан. За эту неделю произошло столько событий, что я от радости потерял голову и даже немножко зазнался. Какая приятная вещь – слава! Я даже не подозревал, что среди моих родных и знакомых так много читателей газеты. А оказалось, что почти все прочли фельетон и многие из них стали несравненно добрее, искреннее и ласковее ко мне. Первым, конечно, был отец: он разрешил мне впредь работать по ночам не на кухне, а в комнате, а сам безропотно поворачивался к стене, накрывая голову одеялом, чтобы свет не мешал. Но отец... это отец, понятно. А вот Белла Григорьевна...

В понедельник утром я отправился на работу как обычно на велосипеде и с пятнадцатиминутным опозданием, потому что приближался день поездки на Всесоюзный смотр и отсутствовать на тренировках запрещалось. Испуганно оглядываясь, я только открыл дверь каморки нашей уборщицы тети Паши, чтобы спрятать велосипед, как столкнулся лицом к лицу с Беллой Григорьевной. От неожиданности я вздрогнул и с ужасом ждал ее русско-армянских упреков, но произошла фантастическая вещь – Белла Григорьевна снисходительно улыбалась.

- Здравствуй, Артак, - ласково сказала грозная помощница секретаря райкома, - поставь сюда велосипед. Паша! – обратилась она к уборщице, - ты, пожалуйста, не возражай, когда Артак приносит велосипед к тебе, другого удобного места нет, он ведь едет на соревнование.

- Конечно, конечно, - удивленно пробормотала тетя Паша.

- Большое спасибо, Белла Григорьевна, - благодарно пролепетал я.

- Не за что, - улыбнулась Белла Григорьевна, - ты меня правильно пойми, когда я по-дружески журила тебя за велосипед, то заботилась лишь о твоём авторитете. Но если нет выхода, придется мириться с этим. Ничего не поделаешь.

Она ласково положила мне руку на плечо, и я снова благодарно прошептал:

- Большое спасибо, Белла Григорьевна.

- Не за что, не за что, - снова улыбнулась она. А когда я дошел до двери, вдруг окликнула: - Да, Артак, хотела спросить и забыла: автор фельетона во вчерашней газете в самом деле ты?

- Да, Белла Григорьевна, - покраснел я от гордости.

- Очень хороший, очень, - проговорила она, - не думала, что ты такой смелый...

А в коридоре меня ждал новый сюрприз. Сквозь полуоткрытую дверь я услышал, как второй секретарь райкома Месроп говорит по телефону обо мне.

- Ведь автор работает у нас, варпет Мукуч! Нет, что вы, молодой парень. Конечно! И не думай, не дадим, кто может против прессы... Факты правильны на все сто, он мне рассказывал. Варпет Мукуч, варпет Мукуч, - увидев меня, повысил голос Месроп, - вот он пришел, рядом со мной, хочешь, передам ему трубку? Бери, - передал мнетрубку Месроп., - председатель нашего завкома!

- А что мне говорить? - отдернул я руку.

- Говори, говори, это варпет Мукуч!

На другом конце провода председатель завкома варпет Мукуч с явным карабахским акцентом страшно взволнованно убеждал меня, что пора покончить с везириями, потому что у них нет ни стыда, ни совести, что они позорят армян. Он информировал также, что в полдень они будут обсуждать фельетон на заседании завкома и пошлют свой рабочий отзыв в редакцию. В то же время он советовал быть осторожным, потому что подобные люди способны на все. Он хорошо знает это, достаточно пожил на свете и многое видел. Но потом решив, что я, может, очень боюсь, варпет Мукуч счел нужным под конец ободрить меня:

- Держись, дорогой...

Почти весь день я не мог работать. Непрерывно звонил телефон, и Партев каждый раз, бася, передавал мне трубку:

- Товарищ фельетонист, вас просят.

- Товарища Левоняна? Прошу, с удовольствием.

Он тоже очень обрадовался. А я был даже удивлен. Кто только не звонил и не поздравлял меня! Звонили даже те, с кем мы не встречались годами и потеряли друг друга из виду, те, кто обычно со мной не здоровался: мой учитель географии в пятом классе, второй секретарь партбюро консервного завода (где я был грузчиком), какой-то старик, наш родственник, который долго объяснял, кем я ему прихожусь и чье имя я слышал впервые, мой ангел-хранитель из прокуратуры Ася, из чьих рук старший курьер товарищ Ваган все пытался вырвать трубку, и, вырвав, сказал:

- Чуто, чуто... А-а... Чуто!..

До конца рабочего дня было еще два звонка, которые, однако, не были похожи на остальные. Собеседники долго и нудно выясняли, действительно ли это я, а затем, задыхаясь, осыпали угрозами. Но мое настроение было слишком хорошим, чтобы я обращал внимание на их угрозы. Их голоса не доходили до моего сознания, они напомнили мне о молодом, запуганном каменщике, с которым я беседовал на стройплощадке. Я даже представил себе, как он, прочитав мой фельетон, громко и победно засмеялся. Ничто, ничто не могло омрачить мою радость, мою

гордость победителя. Ведь это не шутка: я, еще студент, выступаю на страницах республиканской газеты, да еще с фельетоном, да еще против известного и влиятельного человека, выступаю во имя справедливости, против подлогов и лжи. И с моей помощью разоблачается преступник, побеждает истина. Меня поздравил даже сатирик Суренян, мой учитель и любимый фельетонист, хотя в его словах и отсутствовало ожидаемое мной ликование.

- Молодец, неплохой был фельетон, - сказал он, когда я на улице подошел к нему и поздоровался.

Я проямлил какие-то слова благодарности.

- Но жаль, что это был фельетон, - сказал он.

Он ждал вопроса, но так как я не осмелился ничего спросить, он продолжал:

- Трудно тебе придется. Может, даже пожалеешь, что написал фельетон. Но сейчас уже отступать поздно. Должен будешь писать. Ну, значит, пиши, сколько сможешь. Ты сам выбрал свой крест.

Сам грустный и немного желчный, Суренян умел заставлять людей смеяться. Большого я и не мог ждать от него. Но, честно говоря, в эту минуту во мне невольно шевельнулась какая-то злоба против известного сатирика. "Постарел и устал, - думал я, - может, боится писать, поэтому и не очень радуется, может, даже, завидует, когда другие пишут. А по-моему, нет ничего лучше фельетонов".

Но хочу сразу же признаться, что во всем моем победном настроении, в этой светлой веренице дней давало себя чувствовать нечто незаметное, какое-то сомнение исподволь проникало в грудь и заставляло сердце биться от глухого беспокойства и непонятной тревоги. И я не мог избавиться от этой тревоги. Старался не замечать, не обращать внимания, смеялся еще громче, дольше оставался с людьми, хвалившими меня и мою смелость, еще позже возвращался домой со свиданий с Нанар. Но не мог же я совсем не возвращаться домой и не ложиться спать, не мог хоть немножко не думать перед сном. Я боялся думать. Впервые в жизни боялся остаться один на один со своими мыслями, потому что именно в это время невольно сжималось сердце и билось беспокойно, суматошно. Перед глазами моими вставали секретарь горкома Каро Бадамян и рядом с ним, в кресле, Везирян. Я ворочался в постели, чтобы сбросить непривычную тревогу, чтобы успокоиться.

Я боялся Каро Бадамяна.

И когда через два или три дня, вернувшись с какого-то московского совещания, первый секретарь нашего райкома Саркисян вызвал меня в свой кабинет, я не знаю почему решил поделиться с ним своей тревогой. Вернее, он расположил меня к этому, потому что очень долго и любезно говорил о фельетоне, цитировал куски и искренне смеялся, до слез, хлопал от удовольствия рукой по столу и под конец объявил, что из меня выйдет настоящий фельетонист.

- Талант у тебя, Артак, талант, - говорил он, - твое место, конечно, в газете, но и не надейся, что я отпущу тебя из райкома. Сам знаешь, что мы довольны твоей работой, даже снова представили на всесоюзную почетную грамоту. Но ты и сам должен признать, что я всегда хорошо относился к тебе. Не вздумай вдруг, вдохновившись фельетоном, удрать от нас. И потом, поверь, работая у нас, ты приобретешь хороший опыт, будешь хорошо знать задачи коммунистического строительства. А эти знания тебе очень пригодятся в газете. Честное слово. И, в конце концов, пиши отсюда, разве у нас не о чем писать? Положи руку на сердце и скажи – я не прав?

- Правы, товарищ Саркисян, - подтвердил я.

- Ну так чего ж ты хочешь? Видишь, все складывается очень хорошо. Хорошо, хорошо! – улыбнулся Саркисян, - а когда начинаются соревнования?

- Через пятнадцать дней.

- И это разрешим. Поедешь, погуляешь, освежишься, вернешься, и начнем вместе работать. Трудный период будет: надо создавать дворовые лагеря.

Я проинформировал его, что мы уже сделали довольно много в этом направлении. А когда представил программу мероприятий первого месяца, Саркисян даже удивился:

- А это когда успел? Нет, тебя, действительно, нельзя отпускать! – он посмотрел программу и вдруг засмеялся, - знаешь, почему я смеюсь? На минуту забыл, что читаю программу, и удивился, что написал неостроумно, - он снова засмеялся. – Очень уж ты сильно написал, безбожно остро, читаешь и не знаешь – плакать или смеяться?

Здесь-то я и не смог ничего скрыть.

- Этого-то я и боюсь, товарищ Саркисян, не знаю – товарищ Бадамян будет смеяться, или сердиться.

- Какой Бадамян?

- Секретарь горкома.

- Секретарь горкома?.. А какое имеет отношение товарищ Бадамян к твоему фельетону?

- Везирян – его друг, - сказал я.

Саркисян сидел напротив окна, и я увидел как мгновенно его лицо побледнело, погасла улыбка и глаза как-то застыли.

Он просто так, бесцельно, открыл средний ящик стола, нагнулся, посмотрел, как бы стараясь скрыть растерянность, затем снова задвинул его. А когда начал говорить, голос его был уже не прежний.

- Кто тебе сказал?

- Знаю!

- А он знает, что ты знаешь?

- Да.

- И не пытался запретить тебе писать фельетон?

- В открытую – нет, но, по некоторым признакам, по общему отношению я это чувствовал.

- Лично говорил с тобой?

- Конечно. Помните, вы сказали, чтобы я из школы Грибоедова шел прямо в горком.

- Да-а! – сказал Саркисян, - припоминаю что-то такое.

Он встал, подошел к окну, за которым были солнце и весна, и долго смотрел наружу. Мн даже показалось, что он забыл обо мне. Именно поэтому я встал со стула и обиженно двинулся к двери.

- А с чего ты взял, что он не хочет, чтобы фельетон был напечатан? – вдруг повернулся ко мне Саркисян.

- Сказал, что хочет назначить меня заведующим отделом горкома. Потом Везирян заявил, что это делается ради него. Иначе откуда он мог знать, что решил секретарь горкома?

Саркисян смотрел на меня очень странным и необычным взглядом. Будто видел впервые. Но в его глазах было не только удивление. Вернее, я прочел в них интерес и, честное слово, то ли зависть, то ли злорадство. Может, мне это только показалось. И, в конце концов, может, нам только кажется, что мы можем читать в чужих глазах. Может, мы видим только то, что хотим или ожидаем увидеть в чужих глазах. Не знаю, но на сей раз я мог точно сказать, что взгляд Саркисяна был очень необычный, когда он спросил:

- И ты, тем не менее, решил писать?

- А что я мог делать? - пожал плечами я.

Продолжая смотреть на меня тем же странным взглядом, Саркисян снова сел за стол, снова выдвинул ящик, но не закрыл его, а достал оттуда какой-то блокнот, положил на стол и потянулся за ручкой:

- Ну, давай работать, - сказал он, - столько дел, что не знаешь, за которое взяться. Не так ли?

Я не ответил, потому что отвечать было незачем. Потому что есть вопросы, не требующие ответа, вопросы сами по себе, ради того, чтобы избежать других вопросов и ответов. Вот почему я тихонько прикрыл за собой обитую кожей дверь кабинета секретаря райкома.

СУМАСШЕДШАЯ ВЕСНА

Сумасшедшая, сумасшедшая весна, погода меняется по десять раз в день. Только что шел дождь, и я был доволен, что, выйдя из райкома, надену свой черный плащ. А сейчас – ни капли. Небо такое чистое и голубое, что кажется никогда, с самого сотворения мира, на нем не было ни единой тучки. Ну что же, снова придется шагать под солнцем, нелепо перекинув плащ через левую руку. Действительно, правы мои однокурсники, когда смеются надо мной. По какой-то прихоти судьбы мне не удастся хоть раз использовать свой плащ по назначению, то есть надеть под дождем. Может, оттого, что когда я в прошлом году покупал его в Туле, стоял солнечный день. Не знаю! Этот плащ сделал меня суеверным. Стоит его надеть, как тучи рассеиваются.

- Можно снимать плащи: Артак надел свой, - хохочут наши девушки.

- Если в Министерстве сельского хозяйства узнают о тебе, не отпустят, во время уборки урожая будут за большие деньги возить тебя по полям, - развивали мысль по линии юмора наши ребята.

- Плащ Артака и дождь находятся в обратной взаимосвязи, - смеялись математики – женихи наших девушек.

- Здесь ярче, чем где бы то ни было выявляются острые противоречия капиталистического мира, - острили экономисты – невесты наших парней.

Но больше всех пристает ко мне Вардкес.

- Почему ты надеваешь свой плащ только в солнечные дни? – каждый раз осведомляется он при посторонних.

- Потому что в дождливые дни его надевает мой брат, - грустно отвечаю я.

И они ржут, накапливая полезные калории, так необходимые студенту, ибо какой-то сытый ученый изрек, что здоровый смех содержит столько же калорий, сколько два куриных яйца...

Нанар ждет на другой стороне улицы. На ней ярко-красное платье, которое очень ей идет. Впрочем, что не идет Нанар? Она уже издали улыбается, и сердце мое наполняется счастьем, потому что Нанар улыбается так только мне, потому что Нанар ждет меня.

- Боюсь, Арт! - говорит Нанар.

- Почему боишься? – спрашиваю я, - Евгине не кусается.

- Псих! – бьет она меня по руке маленьким кулачком, - как ты говоришь о сестре?

- Скоро ты услышишь, как она говорит обо мне! – отвечаю я.

Я веду Нанар к нам домой и прибегаю для этого к самому обыкновенному обману, говорю, что отец и мать уехали в село, и дома только Евгине. Я сказал Нанар, что Евгине очень хочет познакомиться с ней поближе и более удобного случая трудно ожидать. У меня нет другого выхода. Я много раз пытался под каким-нибудь предлогом привести ее к нам домой, познакомить с родителями, но стоит заговорить об этом, Нанар краснеет и начинает дрожать, и где бы мы не находились, пытается от меня удрать... А для моих родителей это не оправдание. Правда, им нравится скромность “этой девушки”, но они каждый день просят пригласить ее.

А вчера не только попросили, но и потребовали. И виноват был я. Вчера принес домой свой первый гонорар, плату за фельетон. Знал, что будет большая сумма, но та, против которой я расписался в ведомости, даже не приходила мне в голову. Когда спускался по редакционной лестнице, мне казалось, что ступеньки шатаются, казалось, что по лестнице спускаюсь не я, а один из счастливейших и богатейших людей мира. И я повел себя так, как и следовало богачу: подняв руку, остановил первую попавшуюся машину, воскликнул в уме “долой нищету” и небрежно бросил водителю:

- На улицу Кнунянца.

Отец обтачивал на балконе, на прикрепленном к перилам станочке какую-то железяку. Лицо его покраснело от напряжения, дыхание прерывалось и, глядя на его побелевшие волосы, среди которых поблескивали капли пота, я вновь с радостью подумал, что теперь-то, наконец, мой отец может бросить работу. Буду писать, проживем!

- Мама сказала, что ты сегодня неплохо поработал, вот твоя выручка, - сказал я отцу.

Отец, продолжая работать, глянул на меня через плечо, устало улыбнулся, потом взглянул на лежащие на моей ладони деньги:

- Что это за деньги?

- Это мой гонорар, папа, можешь поздравить.

- И что это значит?

- Деньги за фельетон.

Отец отложил напильник, ладонью правой руки смел опилки, рассыпавшиеся, как муравьи, смахнул со лба указательным пальцем капли пота, выпрямился и засмеялся:

- Значит, правда, что за писанину деньги платят?

- А ты думал только за шлифовку платят? – съехидничал я и протянул деньги.

Он с удивлением и упреком, адресованным, вероятно, тем, кто дал мне столько денег, покачал головой, взял их, сел на лежавший под ногами кусок дерева и стал считать. Потом руки его застыли, он поднял голову, посмотрел на меня изумленно и тихо спросил:

- Значит, это все за то, что ты написал?..

- Да, папа джан!

- За одну ночь написал?

- Ага!

Отец вздохнул, встал, осторожно положил деньги рядом с собой и сказал удивленно и грустно.

- Ты знаешь, что это моя месячная зарплата.

Он снова взял напильник, задышавшись и краснея, шлифовал, обтачивал, будто обижаясь на кого-то и за что-то. Потом смахнул со станка опилки, и черные маленькие муравьи вновь побежали по перилам и доскам балкона. Потом вновь выпрямился, прокряхтел, прокашлялся, свернул загрубевшими пальцами самокрутку, смачивая края бумаги губами, глубоко затаился и, когда выдохнул изо рта и носа дым, мне показалось, что выдох этот напоминает вздох.

- Ну так ты и пиши, парень, - сказал он. – Видишь, в каком мы положении, пиши, да!

Я хотел было объяснить ему, что писать не так уж просто, что... но тут же раздумал. Он бы все равно не поверил. Все равно этому никто не верит. Лучше пусть думает, что я всегда могу писать, и оставит свою работу. Очень устал мой отец.

Я отдал деньги матери, и она, как я и ожидал, оказалась более деловой. Без долгих рассуждений она накинула шаль на голову и пошла в магазин, а когда вернулась с полной разными пакетами и банками корзиной и мы шумно сели за стол, начался тот самый разговор, из-за которого мне пришлось прибегнуть к обману и заманить Нанар в наш дом.

- Сынок, - сказала мама, - пока дома есть деньги, приведи эту девушку, посмотрим на нее. Накрою приличный стол, а ты приведи, Артак джан.

- Какую девушку, э? – прикинулся я овечкой.

- Ну хорошо, хорошо, - покачала головой мама, - весь мир видел, только мы остались.

- Не идет она, мама джан, - искренне признался я, - не идет, что делать? Говорит: “стесняюсь”.

- И хорошо делает, она должна так говорить, а ты должен привести.

- Ну а что делать, если не идет?

- Если захочешь – приведешь, - сказала мама.

Ну что мне делать, если матерям кажется, что их дети могут все на свете. У меня не было выхода. Прости, Нанар!

... Нанар идет рядом со мной, погруженная в думы, и, наверное, мысленно о чем-то спорит, потому что ее левая рука то и дело вздрагивает.

- В чем дело, Нанар?

Нанар удивленно смотрит на меня, потом, вероятно, решает, что думала вслух, потому что поспешно отвечает:

- А если дома будут и другие люди?

- Кто может быть? Это исключено, - не моргнув, опровергаю я.

- А если кто-нибудь войдет?

- Как войдет? – смеюсь я. – Мы закроем дверь.

- А ваша соседка?

- Давно в ссоре.

Нанар искоса смотрит на меня, желая удостовериться в моей искренности, но так как мое лицо невозмутимо, она успокаивается и облегченно вздыхает. Мы идем по улице моего детства, и я, показывая Нанар, “дарю” ей все мое богатство. Мы останавливаемся на старом мосту через Гедар, смотрим вниз на бешеный мутный поток, который невесть откуда приволок огромные валуны и сейчас, пенясь, перепрыгивает через них. Я показываю ей тополя Рашида, гордо шелестящие в вышине, в облаках, и говорю, что ветер рождается от колебания их листвы. Я веду Нанар под раскидистыми абрикосовыми деревьями, подпрыгнув, срываю для нее незрелый абрикос, но не говорю, что в этом саду живет очень красивая девушка, что у нее белое-белое лицо и... глаза тоже белые. Будто пыльца абрикосового цвета осела на них навсегда. Не хочу говорить, что эта красивая девушка слепая, не хочу, чтоб Нанар грустила. Я “дарю” Нанар садик доктора, где сейчас распустились самые красивые розы на свете, темно-красные и белые, как снег, “дарю” и маленькую хижину полисца Тиграна-ахпара, с плоской земляной крыши которого я гонял голубей в детстве, много-много веков назад...

Сейчас день и, как всегда, дверь нашей квартиры открыта. Я тихонько веду Нанар по полутемному коридору, чувствуя, как она вся напрягается, потом резко открываю дверь справа, дверь в нашу комнату. Открываю и вздрагиваю вместе с Нанар. За столом рядом с папой и мамой сидят и беседуют приехавшие из села в гости тетки Варсеник и Ноемзар; на полу – привезенные ими раскрытые хурджины с гатой, пресными лепешками, айвой и белыми шерстяными носками. А позади нас стоит Евгине, которая вышла из кухни, и тычет исподтишка мне в бок, а сама говорит исключительно вежливо:

- Пожалуйста, пожалуйста, заходите!

Путь назад отрезан. Я делаю шаг вперед, крепко держа Нанар за руку, и в следующую секунду начинается ажиотаж. Кто-то тянет к себе Нанар, тетки крепко, шумно и долго целуют меня. От их одежды несет айвой, сеном и парным молоком – воспоминаниями моего детства, и мне кажется: стоит поднять голову, и я стану босоногим, обожженным солнцем мальчонкой, схвачу с полки кусок хлеба, цапну из кувшина кусок сыра и, повергая кур в панику, побегу по узкой дорожке между полями, по желтой и мягкой дороге, побегу с громкими победными воплями на тока, где меня ждут друзья, где удивительные голубые тени под стогами и среди них люльки и влажные гуменца; где в воздухе висит золотистая пыль и работают дяди с обвязанными платком головами; где подбрасывают лопатами в небо, будто жертвоприношение богу, золотое зерно и где кони, грызя влажные удила и потряхивая гордыми головами, кружат и кружат по растеленным стогам, волоча за собой подбитые камнями молотильные доски, на которых с гордо горящими глазами сидим и мы.

И одна из теток говорит:

- Никак эта красивая девушка- нареченная Артака?

Я не знаю, кто сказал “да” – лично я не издал ни звука – но увидел, как Нанар сразу очутилась в объятиях моих теток. Потом мама поцеловала Нанар в лоб, улыбнулась, сказала что-то беззвучно и вдруг заплакала, обняв Нанар, но, почувствовав инстинктивно, что ее плач могут понять превратно, снова стала улыбаться, а слезы продолжали струиться по ее уже улыбающимся увядшим щекам. А когда Нанар неожиданно нагнулась и поцеловала дрожащую руку мамы, я увидел, что она тоже плачет, и на сердце у меня полегчало, потому что я знаю, что когда женщины плачут вместе, это означает, что они друг друга понимают, любят и немного, наверное, жалеют.

Отец, вероятно, почувствовал, что пора стать хозяином положения, громогласно распорядился накрыть на стол, занял свое место во главе стола, налила всем вина, помолодевший и улыбающийся, поднял свой бокал и сразу провозгласил растроганно, сдерживая дрожь:

- Слава тебе, господи!

- Да, братец мой, - сразу откликнулась тетка.

- Аминь, зять дорогой! – воскликнула вторая тетка.

А мама протянула свой бокал отцу:

- Твое здоровье, отец!

- Ну конечно, твой бог – мой брат, покосилась тетка.

- Да, - сказала моя язычница-мать. – каждый человек должен иметь своего бога.

Потом мы сдвинули высоко поднятые бокалы, потому что таков порядок, и долго над столом дрожало в бокалах вино.

Ясно, что в течение всего обеда я исподтишка следил за Нанар: я боялся, что она будет чувствовать себя среди незнакомых людей одинокой, подавленной и скованной. Но очень скоро с удивлением, как и при каждой встрече, обнаружил новую Нанар. Она держалась спокойно и с большим достоинством, от высказанных по дороге опасений не осталось и следа, она без особых усилий свылась с нашими, и вошедший сейчас ни за что не обнаружил бы за нашим столом постороннюю. И я снова с восхищением подумал, что моя маленькая, хрупкая Нанар способна мужественно переносить любые неожиданности и зигзаги судьбы.

Сейчас Евгине заговорщическим шепотом что-то рассказывала Нанар, и Нанар тихонько смеялась. Интересно, что рассказывает: небось обо мне, какой-нибудь смешной и нелепый случай, происшедший со мной. Ну ничего, гости разойдутся, тогда посмотрим! Но я не могу дожидаться, когда уйдут гости, и, тайком от Нанар, шлепаю сестру по спине. Она вскрикивает.

- Что случилось? – спрашивает отец.

- Артак ударил, - тут же ябедничает Евгине.

- Артак? – удивляется отец.

- Пусть не рассказывает обо мне гадостей, и я не буду ее трогать, - говорю я.

Все смеются, но громче всех смеется отец. Удивительно хорошо смеется отец: озорно, раскатисто, - смеется и говорит:

- Ну вот, имей после этого такого ребенка. Тоже мне жених!

Эх, папа, папа, разве можно такое говорить? Все сразу уставились на нас, и лицо Нанар сейчас совершенно не отличимо от ее ярко-красного платья. Наши, вероятно, думают, что до сих пор не уделили ей достаточного внимания, и поэтому считают нужным засыпать ее градом вопросов.

- Ты откуда, деточка? – спрашивает тетка.

- Из Еревана, - отвечает Нанар.

- А родители? Из каких мест?

- Из Вана.

- Вай! – восклицает вторая тетка. – Беженцы!

- Вроде Епремой Гехуш из нашего села? – спрашивает первая тетка.

- Да, - говорит вторая. – Девочка моя, значит вы тоже говорите не по-нашему?

- Нет, - смеется Нанар, - там другой диалект.

- Как то есть другой? – удивляется вторая тетка. – Разве беженцы говорят не одинаково?

Заметив, что этот разговор может завести слишком далеко, отец снова берет власть в свои руки, прерывает моих теток и с необычайной осведомленностью рассказывает им о резне, изгнании, захваченных врагом армянских городах и селах, гибнувших на пустынных дорогах караванов беженцев.

- Откуда ты все это знаешь, папа?

- Я тоже сражался в Карсе, - говорит отец.

- А почему до сих пор не рассказывал ничего нам?

- Сражения не сказки.

- Отец Нанар тоже сражался, - говорю я, - он был одним из героических защитников Шатахского моста.

- Все ванцы герои, - говорит отец, - и не они виноваты, что сейчас рассеяны по всему свету. Что сейчас делает твой отец, доченька? – обращается он к Нанар.

И так как Нанар опускает голову, я спешу объяснить, что у Нанар нет отца, что он умер, когда Нанар было всего шесть лет. Папа и тетки горестно качают головой и, чтобы как-то выразить свое сочувствие, заставляют Нанар отведать то или иное яство, поздние яблоки или инжир, а моя слезливая тетка Ноемзар, уже с намокшими глазами, крепко зажав в кулаке, приносит Нанар пару толстых белых шерстяных носков и просит отнести их матери.

- Пожилая женщина, наденет, ноги не будут мерзнуть, бери, скажешь – от тетки.

Я смотрю на Нанар и, боясь, что она тоже заплачет, подмигиваю ей, что пора уходить. Нанар поспешно встает, машинально зажав в руке белые носки, потом быстро сует их в мой карман и кивает всем, кивает грациозно, как королева, и бесшумно, быстро, напряженно направляется к двери.

Наши тоже все встают, а отец прокашливается и громко говорит:

- С этого дня ты наша дочь, доченька, и наша дверь всегда открыта для тебя.

У порога я на минуту покидаю Нанар, говорю, что сейчас вернусь, и бросаюсь в комнату:

- Ну как? – спрашиваю я с гордой суетливостью, будучи уверенным в ответе.

- Я удивляюсь, как мог такой хорошей девушке понравиться чокнутый, вроде тебя, - говорит под дружный хохот мой отец, и я обрадованно выбегаю из нашего дома.

Нанар с покрасневшими глазами стоит у глинобитной стены Тиграна-ахпара. Я крепко беру ее под руку, и мы медленно движемся по зеленой улице моего детства. Но я не могу шагать

медленно, душа моя полна безумств и радости, я сейчас способен на все, поэтому отпускаю руку Нанар, загораживаю ей дорогу и спрашиваю с вызовом:

- Ну, что скажешь о наших, Нанар?

Нанар улыбается влажными мечтательными глазами и впервые в жизни вдруг сама берет меня за руку. Я от удивления раскрываю рот, а она другой, свободной рукой прикрывает мне рот, и я поспешно целую ее маленькую ладошку.

- У тебя удивительные родители, - задумчиво говорит она, - у тебя великолепные родители...

Конечно, я и без нее знал это; конечно, я знал также, что папа и мама понравятся Нанар, но ведь я ненасытен, я хотел, чтоб она полюбила их, полюбила, как я, или как меня, я очень хотел, чтоб Нанар сказала эти слова. Кто может сказать, что делается сейчас в моей душе? Вот так вот медленно и спокойно шагаем мы с Нанар, а сердце покинуло меня и скачет от радости, взмывает высоко-высоко, парит над садами и цветниками, взмывает даже выше тополей Рашида. Но я продолжаю шагать медленно и спокойно, только задираю нос и говорю бесшабашно:

- Да, кстати, я очень люблю хороших родителей...

Нанар не выдерживает и смеется, смеется как всегда тихо, только для меня, и я больше не могу сдержаться. Быстро оглядываюсь, и, не заметив никого, мгновенно наклоняюсь и целую полуоткрытое плечо Нанар. Она тихо вскрикивает, отпускает мою руку, испуганно оглядывается по сторонам, но, вероятно, тоже никого не замечает, потому что снова смеется, и все бьет и бьет маленьким кулачком по моей протянутой ладони:

- С ума сошел, с ума... - покраснев, шепчет она.

Ведь вы не знаете, как говорит Нанар эти слова, говорит так, что и вправду я чуть с ума не схожу.

СЕГОДНЯ НАША СВАДЬБА

Сегодня Нанар станет Нанар Левонян.

Это решилось вчера. Как всегда командовал мой отец, и он же распределил обязанности. Брат и Седа должны были вечером посетить мать Нанар, дабы получить ее согласие; я и Нанар должны были утром пойти в загс, дабы узаконить нашу женитьбу, а отец брал на себя обязательство организовать небольшое пиршество, на котором будут только самые близкие. И все. Справлять свадьбу мы были не в состоянии.

Самые близкие... Хорошо сказано, но смотри ж ты, самых близких не так уж мало, и разместить их всех в одной комнате одновременно невозможно. Были многочисленные предложения, обсуждались многочисленные проекты и были составлены многочисленные списки с проставленными против каждой фамилии разнообразными знаками, каждый из которых имел особое значение. В конце концов было решено вместо одного большого празднества организовать три небольших, по категориям. Вечером первого дня должны были собраться ближайшие родственники договаривающихся сторон, во второй – наши товарищи по работе из райкома и кукольного театра, а на третий – те, кто не входил в первые две группы, но занимал прочное место в списке “близких”.

Сегодня я не смог пойти на тренировку. Пришел на работу, но работать не было никакого настроения. Кто хоть раз женился, поймет меня. Я все время слонялся по комнатам, открывал и закрывал ящики, выходил на улицу, торчал у здания райкома, смотрел на прохожих и пытался угадать, кто из них женат, а кто нет, и поскольку ничего не получалось, вновь возвращался назад и следил за медленным движением стрелок настенных часов. В час придет Нанар. Сейчас одиннадцать, и я еще ничего не сделал. Кроме заведующего сектором учета и Партева, никого нет. Саркисяна и Месропа в девять утра вызвали в горком, и неизвестно, когда они вернутся. А Саркисян мне очень нужен, без него я ничего не могу сделать. Должен попросить, чтоб он разрешил получить зарплату раньше времени, и пригласить его на завтрашнюю вечеринку, на “второй сеанс” свадьбы, как, хихикая, определил Партев.

Партев очень занят, звонит по организациям, требуя какую-то форму №3 по уплате членских взносов. Его я уже пригласил, он искренне обрадовался и в перерывах между звонками засыпает меня вопросами.

- А красивые девушки из кукольного театра будут?..
- Хорошие пластинки есть? Танцы, танцы...
- Из партрайкома никого не позвал? А из редакции?..
- Хочешь, захвачу фотоаппарат?..

Я отвечаю рассеянно и отрывисто, потому что все мое внимание направлено на дверь. Саркисяна еще нет, что делать? Не в силах усидеть на месте, вновь поднимаюсь в приемную и который раз уже мешаю секретарю-машинистке работать:

- Римма джан, может быть, он не придет?

- Как может не прийти? В час у нас бюро, я уже всех вызвала, - не отрывая головы от бумаг, устало говорит она.

- Но почему же так опаздывает?

Римма не отвечает.

- Саркисяна и Месропа вызвали вместе?

- Да, - говорит Римма, - еще вчера в конце рабочего дня позвонили, чтобы бюро райкома в полном составе было сегодня утром в горкоме.

- Не сказали почему?

- Не говорят.

Я не могу терпеть дальше. Иду в кабинет Месропа и звоню в горком. И как я раньше не догадался? Секретарша знает меня и скажет, где Саркисян. Ага, так оно и есть. Саркисян только что вышел из горкома. Я снова выхожу на улицу и застываю у входа, предварительно посмотрев на часы. Пять минут первого. Ровно через 55 минут придут Нанар, Манук и Нвард. Успею ли до этого получить зарплату? А потом мы пойдем в исполком райсовета, найдем табличку с надписью “ЗАГС”, войдем в комнату, которая обязательно будет очень светлой и на подоконниках будут цветы, и красивая пожилая женщина с добрыми и мягкими чертами лица спросит меня:

“Артак Левонян, согласен ли ты жениться на Нанар Шатахцян, готов ли выносить любые удары судьбы и оставаться верным этой девушке?”

“Да”, - скажу я.

Хотя нет, сейчас, наверное, спрашивают не так. Тем не менее, надо у кого-нибудь узнать, какие обычно задают вопросы. Вдруг попадем в неудобное положение. А потом пожилая женщина обратится к Нанар, которая обязательно покраснеет, как ее красное платье.

- Нанар Шатахцян, - спросит она, - согласна ли ты?..

Но шум автомобильных тормозов не дает женщине закончить вопрос. Из машины выходит Саркисян. И не один. Вместе с ним Месроп и другие члены бюро: секретари комсомольских организаций университета, политехнического института, медицинского института, Министерства государственной безопасности, - мои товарищи. Сколько лет мы вместе вели общественную работу в райкоме, были инструкторами и пропагандистами.

“Им тоже скажу, - тут же решил я, чувствуя угрызения совести, что не включил в список членов бюро, - пусть придут, как-нибудь поместимся, а то узнают – обидятся”. Но сейчас, при них, как спросить Саркисяна о деньгах?

Я здороваюсь с ними и жестом регулировщика уличного движения протягиваю руку по направлению двери. Но они не в настроении и, кажется, даже растеряны. Проходят мимо меня, опустив головы и пряча взгляды. Наверное, в горьком прижали. Очень они подавлены. Ничего, завтра настроение у всех нас поднимется. И все же, как мне поговорить с Саркисяном? Я видел в магазине колечко, маленькое, с голубым камушком. Без зарплаты не смогу купить это кольцо. А без кольца какая женитьба?

Я вхожу за ними в здание райкома, жду, когда Саркисян откроет дверь кабинета и впустит членов бюро, и тогда обращаюсь к нему:

- Товарищ Саркисян, я хотел просить вас об одной вещи...

Саркисян оборачивается и смотрит на меня очень странными, будто ничего не видящими глазами:

- Что?..

- Товарищ Саркисян, очень прошу разрешить, чтоб мне выдали зарплату сегодня, потому что...

- Потом, потом, - глядя в сторону, говорит Саркисян, - сейчас не время. Римма, приглашенные на бюро извещены?

- Да, - говорит Римма.

- Хорошо.

Саркисян кивает головой и входит в кабинет, притворив за собой обитую кожей дверь. Вот тебе раз! Можно даже обидеться! И договорить не дал! В каком же должны они быть состоянии, что даже этот вежливый и чувствительный человек забылся. И в конце концов, что могло случиться? Наш район – один из самых передовых, если не самый передовой. Нас, как лучший райком, всегда приводят в пример. Впрочем, все могло быть, и за все, как правило, отвечает секретарь райкома. За что сняли предыдущего секретаря? За то, что один из студентов Сельскохозяйственного института, не желая жить после измены любимой девушки, покончил с собой. У секретаря райкома было двенадцать почетных грамот за отличную организаторскую и идеологическую работу среди комсомольцев, но в решении бюро горкома было записано, что его снимают с работы за отсутствие авторитета среди молодежи, за непроведение среди комсомольских организаций района необходимой политико-воспитательной работы. Распространился даже анекдот, что после своего избрания Саркисян два месяца подряд читал во всех организациях доклад на тему “Самоубийца труслив и бесхребетен”.

Но даже воспоминания об этой истории не поднимают моего настроения, потому что еще совсем недавно медленно двигавшиеся стрелки сейчас скачут. Без четверти час, а ведь только

что было двенадцать тридцать. Сейчас придут наши. Что делать? От нетерпения я хожу взад-вперед по маленькой приемной и даже доносящийся из соседней комнаты бас Партева нервирует меня. Несколько раз мысленно открываю дверь кабинета, но когда действительно подхожу к ней, смелость покидает меня. Но так же нельзя, надо что-то делать, и я решительно подхожу к кожаной двери, берусь за ручку, но не открываю, потому что кто-то вдруг сзади произносит:

- Открывай, открывай!

Голос очень знаком, и я оборачиваюсь. Передо мной стоит секретарь горкома Каро Бадамян.

- Здравствуйте, товарищ Бадамян! – лепечу я растерянно и чувствую себя немного виноватым перед ним.

- Здравствуй, Артак, - говорит Бадамян и проходит мимо меня в кабинет секретаря райкома.

“Поздоровался, значит не злопамятен”, - думаю я с радостью. А я боялся его. Когда я, наконец, начну разбираться в людях? Интересно, зачем он пришел? Впрочем, нет ничего удивительного, Бадамян часто бывает на наших бюро. Но теперь мое положение еще более осложнилось, как теперь при нем говорить с Саркисяном?

Часы глухо бьют один раз, и я невольно смотрю на дверь. В глубине коридора стоят рядышком Нанар, Манук и Нвард, смеются и машут мне рукой. Все они одеты празднично и торжественно и кажутся слегка чужими. Я быстро пересекаю заполнившуюся постепенно посетителями приемную и подхожу к нашим:

- Не смог поговорить с Саркисяном, - чтобы сказать что-нибудь, говорю я.

- А почему ты должен был говорить с Саркисяном? – спрашивает Манук. – Разве бюро райкома дает разрешение на брак?

- Э, Манук, - смеюсь я.

- Ты, кажется, чем-то обеспокоен, Арт, ничего не случилось? – спрашивает Нанар.

- Нет, Нанар джан, - говорю я, - что могло случиться? Просто хотел попросить Саркисяна, чтобы завтра вечером он был у нас дома.

В приемной громко звонит звонок. Значит, Саркисян вызывает секретаршу. В одно мгновение я догоняю Римму.

- Римма джан, - прошу я, - скажи товарищу Саркисяну, что мне нужно поговорить с ним. Потом будет поздно.

- Хорошо, - Римма исчезает за кожаной дверью, но тут же выходит.

- Товарищ Левонян, - говорит она мне, - товарищ Саркисян сказал, чтобы вы никуда не уходили, сейчас вас вызовет.

- Но ведь скоро начнется бюро.

- Уже началось, - говорит Римма.

Я снова выбегаю в коридор.

- Ну вот, - говорю Мануку, - я не успел сказать Саркисяну, что женюсь, а он и решил, что бездельничаю, приказал подождать.

- У тебя есть дело на бюро? – спрашивает Манук.

- Нет, сегодня школьного вопроса на повестке нет. Я попросил, чтобы он меня принял.

- Что еще за формальности? – удивляется Манук. – Зайди, скажи и выйди.

- Представь себе, ты прав, - улыбаюсь я, - совсем потерял голову. Подождите, я сейчас.

Действительно, думаю я, подходя к двери, ведь не впервой. Во время бюро мы всегда заходим и выходим, если это необходимо. Мы же, в конце концов, работники райкома! Тем не менее сперва подхожу к Римме:

- Не вызывал?

- Нет, - отвечает Римма.

Уже не теряя времени, я мгновенно распахиваю дверь и вхожу в кабинет. И потому, что голоса замолкают, подхожу к Саркисяну, чувствуя себя неловко, прошу у всех извенения и наклоняюсь к нему.

- Товарищ Саркисян, - быстро шепчу я, - не успел вам сказать. Сегодня я женюсь. Были нужны деньги, поэтому и ждал вас, но сейчас уже поздно. Прошу завтра обязательно прийти к нам домой, на вечеринку. Прошу от моего имени сказать и ребятам. Простите, что помешал вам. Я пошел.

- Куда? – спрашивает Саркисян каким-то хриплым голосом.

- В загс, куда же еще? – смеюсь я, - Нанар ждет в коридоре.

На лице Саркисяна появляется от удивления и растерянности такое глупое выражение, что я еле сдерживаю смех.

- Что случилось? – спрашивает сидящий рядом с ним Бадамян.

- Товарищ Саркисян скажет вам, - застенчиво улыбаюсь я секретарю горкома, - простите, до свидания!

- Обождите, - вдруг строго говорит Бадамян и поворачивается к Саркисяну.

Саркисян, краснея, начинает шептать что-то ему на ухо. Бадамян слушает его с издевкой и время от времени поджимает губы, отчего его щеки смешно надуваются. И вдруг я чувствую, что выражение его лица беспокоит меня. Где-то в груди начинается тупая боль, непонятная и невыносимая, и от этого сердце бьется быстро, сильно и тревожно. Однажды со мной уже такое было, но когда, по какому поводу? Да очень-очень давно, когда я потерял хлебные карточки и ощупывал свои карманы и рубашку. А потом упал на трамвайные рельсы, хотел умереть...

- Садитесь, - слышу я голос Бадамяна, но смысл сказанного не доходит до меня. И вдруг меня охватывает страстное желание выйти из этой комнаты на свежий воздух. Дыхание прерывается. Я чувствую, что сейчас произойдет что-то очень плохое, что-то ужасное и непоправимое.

- Садитесь, говорю! – гневно повышает голос Бадамян.

Я все еще обманываю себя. Мысленно в каком-то тумане убеждаю себя, что ничего не случилось, что, наверное, хотят о чем-то спросить, после чего я выйду и смогу уйти. И поэтому говорю с жалкой улыбкой, а сам со стыдом думаю, что все сейчас видят эту мою жалкую улыбку:

- Не могу, меня ждут... Мы должны пойти в загс.

- Садитесь, товарищ Левонян, - уже кричит секретарь горкома, - здесь бюро райкома, и мы не в куклы играем. Садитесь, говорю, - и он показывает на стул, на котором обычно сидят те, чей вопрос обсуждается.

- Сюда, на скамью подсудимых? – чтобы скрыть растерянность, пытаюсь отшутиться я.

- Ну садись же, - говорит один из членов бюро, кажется, секретарь Медицинского института Сурен, и я, пятясь назад, сажусь на стул.

Этот новый голос приводит меня в чувство, и я оглядываю сидящих за длинным столом моих товарищей и с надеждой жду, что кто-нибудь из них сейчас рассмеется, что потом рассмеются и другие и скажут, что пошутили. Но никто не смеется, никто не поднимает головы: в глубокой тишине растворяется последний проблеск надежды, и я с болью слышу, как шумно бьется мое сердце.

Тишину вновь нарушает Бадамян:

- Товарищ Саркисян, чего вы тянете, ведите же бюро!

Саркисян вздрагивает, выпрямляется на стуле, снова сильно краснеет, откашливается, прикрывая рот белым платком.

- Товарищи! Значит, как вам известно, на повестку дня поставлен вопрос о недостойном поведении комсомольского работника, заведующего школьным отделом нашего райкома Артака Левоняна. По поводу повестки дня возражений нет?

Никто не отвечает. Члены бюро еле заметно кивают головами.

- Нет! – облегченно отмечает Саркисян, - значит, начнем.

Как вам известно, за последнее время школьный отдел райкома непростительно ослабил работу, хотя, казалось бы, должно было быть обратное, поскольку в школах начались экзамены. Это привело к тому, что в отдельных школах комсомольские организации и пионерские дружины фактически провалили составленную ими программу подготовки к экзаменам. Не получая необходимой помощи и поддержки от соответствующего отдела райкома, они пустили работу на самотек, вследствие чего на первых же экзаменах число получивших неудовлетворительные оценки по сравнению с прошлым годом не убавилось, а возросло.

Я уже полностью прихожу в себя и невольно внимательно слушаю, что говорит секретарь райкома. Его выступление меня интересует, потому что так или иначе оно касается нашего отдела. Я только не понимаю, почему Саркисян говорит все это, почему не приводит конкретных цифр, его просто ввели в заблуждение, но ведь он мог спросить у меня? Потом вдруг вспоминаю, что всего несколько дней назад, в этой самой комнате, он заявлял, что доволен работой нашего отдела. Что же произошло сейчас? И, в конце концов, если обсуждается школьный вопрос, почему на бюро не приглашены директора школ, старшие пионервожатые, секретари комсомольских организаций, инспекторы роно, нештатные инструкторы нашего отдела. Но мои мысли мешают мне понять Саркисяна и поэтому я напрягаю внимание.

Секретарь райкома больше не заикается, как вначале выступления, он говорит плавно, свободно. Краска сошла с его лица и уступила место легкой бледности.

- Партия и вождь учили нас быть непримиримыми к недостаткам, - продолжает Саркисян, - всегда помня, что критика и самокритика – мощные движущие силы нашей жизни. Там, где отсутствуют здоровая, честная критика и самокритика, возникает застой и замшелость, и открываются лазейки для буржуазной пропаганды. С этой точки зрения особенно непростительным считаю свое доброжелательное отношение к товарищу Левоняну и в порядке самокритики, положив руку на сердце, должен признать, что виноват я сам. Мы не должны были принимать на работу студента...

Во время его выступления Бадамян, поджав губы, непрерывно кивал головой, делая какие-то заметки карандашом на листе бумаги, но последние слова секретаря райкома заставляют его бросить карандаш.

- Левонян ввел в заблуждение бюро райкома, - говорит он.

Я никак не могу понять, о каком недоразумении идет речь. Наверное, этого не понимает и Саркисян, потому что он останавливается, ожидая, что Бадамян закончит свою мысль, но секретарь горкома продолжает писать.

- Правильно, - мямлит Саркисян и, вероятно, не зная, как продолжить, снова запинаясь, - правильно...

- Дальше, дальше, - поднимает голову Бадамян.

Я больше не могу сдерживаться.

- Что дальше? – кричу я. – Чем это я вас ввел в заблуждение?

- Замолчите! – ударяет рукой по столу Бадамян. – Кто вам разрешил говорить?

- Как то есть замолчите? Кого это я...

- Замолчите, говорю, - Бадамян встает с места, смотрит на меня с нескрываемой ненавистью и шипит сквозь зубы, - научитесь вести себя на бюро, товарищ Левонян, а то мы поговорим с вами иначе. Понятно?

- Но я разве не имею права?..

- Нет! – вновь ударяет рукой по столу Бадамян и язвительно говорит, обращаясь на сей раз к членам бюро, - а вы говорили “простим”, видите, как нагло ведет он себя на бюро райкома? Если наш уважаемый заведующий отделом ведет себя так при нас, представляете себе, каково его поведение в организациях? И у такого должны учиться другие! Вот – наши кадры, - с горечью добавляет он, с укоризной глядя на Саркисяна. – А с вами что произошло, товарищ Саркисян, в горкоме разливались соловьем...

- Сейчас скажу, Каро Бадалыч, - снова краснеет Саркисян, - прямо сейчас и скажу... Но это еще не все, товарищи! Левонян, пользуясь нашими чисто человеческими взаимоотношениями, настолько перешел все границы, что, грубо нарушая производственную дисциплину, каждый день является на работу с 15-20 минутным опозданием...

- Как то есть? - изумляется Бадамян, - и это факт?

Саркисян удивленно смотрит на Бадамяна, но сразу же берет себя в руки.

- Факт, Каро Бадалыч, вожатые приходят, ждут, ждут, а его нет. И вот, наконец, является на велосипеде...

- Погодите, погодите, товарищ Саркисян, я, кажется, плохо понял, - отодвинув ногой стул, встает секретарь горкома, - значит, получается, что для всех одна дисциплина, а для Левоняна другая? Так прикажете понимать? И это говорит секретарь райкома... А зарплату получает полностью, не так ли?..

- Полностью, Каро Бадалыч.

- Очень хорошо, превосходно, ничего не скажешь! Попирается производственная дисциплина, и где?.. В райкоме комсомола! А руководители нашей партии и правительства уверены, что отпущенные средства служат своей цели. Знаете, что это значит, знаете, что вы обманули партию? Знаете, что полагалось за это во время Отечественной войны? Суд, товарищ Левонян! Пятнадцать минут... За пятнадцать минут полагался год тюрьмы. Давайте подсчитаем, да-да, в таком случае давайте подсчитаем, сколько рабочих дней составили прогулы Левоняна. Что получится? Если партия великодушна и сейчас не требует сажать за опоздание, значит, мы должны злоупотреблять ее доверием? Отвечайте, ну, отвечайте, товарищ Левонян! Кто вам дал право обманывать государство?

Это что за кошмар?

- Товарищ Саркисян, но ведь это вы разрешили, ведь несколько дней назад вы сказали...

- Нет, нет, Артак, - вдруг съезжился Саркисян, - я разрешил только на неделю.

- Как на неделю? Я вам сказал, что тренировки будут продолжаться один месяц.

- Нет, нет, - Саркисян смотрит на Бадамяна и отрицательно качает головой.

- Товарищ Саркисян, но ведь совесть хорошая вещь, я...

- Молчать! – снова кричит секретарь горкома, - он еще говорит о совести? Вы давно потеряли совесть, товарищ Левонян! Безответственный, бесчестный пьяница не имеет права говорить о совести.

- Пьяница?

- Да, пьяница. Мы, члены партии, обязаны называть вещи своими именами. Или, может, я ошибаюсь, товарищ Саркисян? Может, я неправильно вас понял, да и сам я видел ночью у входа в ресторан в нетрезвом состоянии кого-то другого?

- Нет, Каро Бадалыч, я бы не сказал, что совсем пьяница, но пьет. Я тоже несколько раз видел у ресторана. Помните, я вам говорил?..

Не знаю отчего, но я вдруг чувствую, что стою с протянутыми вперед руками.

- Что это вы говорите?! – шепчу я, потому что не могу говорить. Меня охватывает такая слабость, что я боюсь разрыдаться, кашляю и потираю лоб рукой, - что это вы говорите?! Я – пьяница? Как я могу быть пьяницей? Откуда у меня деньги на выпивку? Если бы у меня были на это деньги, зачем мне было работать, разве легко работать и учиться? – я вдруг чувствую, что и вправду говорю, как пьяный: тихо, растягивая слова, с хрипотцой.

- Я же говорил вам, что он будет отпираться! – обращается к членам бюро Бадамян. – Он будет утверждать, что мы его с кем-то спутали, что часто видим выходящим из ресторана другого.

- Я каждый день обедаю в ресторане, - тихо говорю я, устав возражать, - обедаю на талоны спортобщества “Динамо”. Да, потом я ведь не могу пить, - оживляюсь я немного, - готовлюсь к соревнованиям.

- Видите? – победоносно оглядывает всех Бадамян, - видите, что он все отрицает? Для Левоняна не существует слова “самокритика”. Я же говорил! Он ничего не примет. Он может даже утверждать, что не призывал рабочих бороться против советского строя.

- Что? – невольно вскрикиваю я.

- Да перестаньте играть! – кричит секретарь горкома, вскакивая с места, - сейчас вы ответите вашим партбилетом. Вызови Партева, - обращается он к Саркисяну.

Секретарь райкома нажимает на кнопку под сукном письменного стола, и в наступившей тишине становится слышно, как в приемной дважды раздается звонок. Я, забыв обо всем, оборачиваюсь, потому что вдруг вспоминаю, что в коридоре меня ждет Нанар. Нанар, Манук, Нвард ждут меня. Нанар, Нанар, Нанар... А я сижу здесь и выслушиваю разные глупости. Ох, уже половина третьего. Сейчас, наверное, закроется загс! Что делать? Невольно встаю с места и снова оборачиваюсь.

Дверь открывается и входит Партев. Мне кажется, что когда дверь открылась, я увидела Нанар, ее лицо было мрачным и грустным. Ну конечно, рассердилась на меня. Но что мне делать, что я могу сделать?

- Садитесь, Левонян, - слышу голос Саркисяна и обессиленно падаю на стул.

- Товарищ Партев, - говорит Бадамян, - повторите дословно то, что рассказывали в горкоме.

Партев? Как то есть? Значит, Партев сказал такую вещь? Невероятно, если и услышу, не поверю. Партев и такая ложь, такая подлость?..

- Ну что говорить, - слышу я его знакомый бас, - все, что было, я сказал в горкоме.

- Нам сейчас нужно, чтобы вы повторили снова, - строго приказывает Бадамян.

Я хочу посмотреть на Партева, но почему-то не могу, стесняюсь, что ли? Удивительно глупая мысль мучает меня, может, думаю, Партева кто-то заставил оклеветать меня, и он попадет в неловкое положение, если я посмотрю на него: растеряется, покраснеет, запутается, и это будет очень плохо, очень плохо.

Но голос Партева неестественно спокоен и тверд.

- Значит, однажды Артак, простите, товарищ Левонян, завтракал со мной в ресторане, мы беседовали, и вдруг Левонян стал рассказывать, как работал грузчиком на консервном заводе. Сказал, что там творились безобразия, начальники обманывали рабочих, воровали их зарплату, и поэтому он...

- Кто “он”? – оборвал Бадамян.

- Левонян, - повернулся к нему Партев.

- Продолжай.

- Поэтому он убеждал грузчиков восстать, выступить против дирекции, говоря им: “Боритесь, потому что вам нечего терять в этой борьбе, кроме своих цепей, но завоюете весь мир”...

- Слова Манифеста, - качает головой секретарь комитета ЛКСМ университета Давид.

- Да, но в **этом** случае – обращаясь к советским рабочим... - говорит секретарь комитета ЛКСМ Министерства Государственной безопасности Беник. – Вот уж этого не ожидал...

- Теперь убедились? – наклоняется к столу Бадамян.

- Да... Это уже другой вопрос, - задумчиво говорит Беник.

Бадамян встает и впервые за время бюро улыбается.

- Товарищ Левонян, - обращается он с откровенным злорадством, - может, вы и этого не примете? Вы привыкли не принимать, что провалили работу, не принимать, что нарушаете дисциплину, не принимать, что занимаетесь пьянством. Может, сейчас вы и от этого отречетесь? Не удивимся...

Но я почти не слышу его, я смотрю на Партева, на его спокойное, полное достоинства лицо, лицо человека, добросовестно сделавшего свое дело, который сейчас ждет, когда его отпустят, чтобы уйти в свою комнату и спокойно продолжить свою работу – требовать какую-то форму номер 3 об уплате членских взносов. Я смотрю на его лицо и чувствую, как яд капля за каплей вливается в мое сердце, я даже слышу, как падают эти капли яда. Я смотрю на него и благославляю судьбу за то, что он стоит далеко от меня. Если б он стоял ближе, я бы не выдержал, ударил бы по этой безмятежной морде; а потом будь что будет! Но я не сделаю этого, не сделаю, потому что ты именно этого и ждешь, товарищ Бадамян, и не надейся – не сделаю. И ты был прав, когда всегда повторял чьи-то слова, что бюро – школа воспитания. Сейчас я учусь в этой школе и, может, даже в выпускном классе.

- Артак, ты действительно говорил эти слова? – в голосе слышится сочувствие, и я сразу оборачиваюсь к нашему второму секретарю Месропу.

- Месроп джан, - говорю я, - значит, ты тоже веришь, что я мог сказать такие слова? Зачем? Зарплату рабочих действительно несправедливо урезали, я пожаловался в партбюро, людям вернули деньги. Вот и все. Я это рассказывал Пар... товарищу Партеву. Причем в шутку, смеясь. И он тоже смеялся, - я добавил к своим словам каплю яда, только одну из тех, что вливал Партев, - в таком случае, спросите его, почему он так искренне смеялся, ведь, по его словам, я сделал антисоветское заявление?

- Я смеялся, чтобы вы чувствовали себя свободно и полностью раскрылись передо мной, - глядя мне в глаза, сказал Партев, - а на следующий день утром пошел в горком и рассказал все товарищу Бадамяну. Я не мог молчать.

- А почему вы прибавили к моим свои слова и мысли, почему приводите выдуманные цитаты?
- выдохнул я.

- Я сказал то, что слышал, - сказал Партев, - товарищ Бадамян, я могу идти?

Наверное, на свете нет ничего ужаснее, чем когда смотрят тебе в глаза и лгут. Во всяком случае, для меня это так. Я становлюсь жалким и беспомощным, немею и не могу говорить, не могу возражать, не могу защищаться. В подобных случаях я слабею, устаю и становлюсь как больной, и все мне кажется пустым, неестественным, постылым. Я какое-то время молчал, даже закрыл глаза, потом сказал только Месропу:

- Но ведь все это можно сейчас же проверить, не так ли? Ребята сейчас на заводе. Я ничего подобного не говорил, поверь, Месроп джан!

- Я верю Артаку, - вдруг взрывается Месроп, - вы все знаете его, он наш товарищ, я его хорошо знаю, он не может быть таким. Почему мы не должны ему верить?

- Ну знаете что, товарищ Месроп, - встает с места Бадамян, - ваша левизна известна всем. Говорите только от своего имени.

- Я уже сказал!

- Значит, замолчите.

- Почему?

- Потому что будете молчать, когда узнаете остальное, - язвительно тянет Бадамян, - до-олго будете молчать, когда я покажу один документ, и тогда вы тоже ответите за то, что взяли Левоняна под защиту. Героя разыгрываете, товарищ Месроп? Но вам не удастся замутировать воду и ввести в заблуждение бюро райкома!

- Это еще вопрос, кто кого вводит в заблуждение.

- Вопрос, да? Так ознакомьтесь с этим документом, уважаемый Месроп.

Бадамян медленным движением раскрывает лежащую перед ним кожаную папку, достает из нее какие-то бумаги. Он просматривает их с явным удовольствием и говорит деловито, даже изменив голос:

- Товарищи, честно говоря, в этом вопросе есть и доля моей вины. Мне в свое время сообщали о некоторых, мягко говоря, преступных поступках Левоняна в университете и за его пределами, но я смотрел на это сквозь пальцы, думая, что он молод, почувствует свою вину, исправится. Я жестоко ошибался. Только сейчас, логически сопоставляя факты, я прихожу к заключению, что

вышеупомянутые действия Левоняна в университете не наивность и не следствие политической нестойкости, а продуманные, запрограммированные звенья одной цепи. Может, вы попытаетесь откреститься и от этого, товарищ Левонян – спрашивает он, потрясая бумагами над головой. – Может, заставьте позвать автора?

- Значит, это не анонимка? – осведомляется Беник.

“Наш староста”! – удивительно спокойно, без злости думаю я и вспоминаю последний экзамен, наш поход в сквер имени Гукасяна, шутивное телесное наказание. Тогда вместо сильного удара Шаварш Микаелян только погладил мое запястье, и я предположил, что он отложил свой удар до более важного, более серьезного случая. Вот он, этот случай.

- Я могу сказать, кто писал, - говорю я, - писал староста нашего курса Шаварш Микаелян, 20 года рождения, кафанец, член партии с 38 года... По профессии негодяй...

- Прекратите – бледнеет от бешенства Бадамян, - товарищ Саркисян, как вы ведете бюро?

Саркисян снова вздрагивает и говорит строгим голосом:

- Товарищ Левонян, вы переходите границы, умеете вести себя на бюро!

- А что написано в этой бумажке, если не секрет? – ехидно спрашивает Месроп.

- Скажу, скажу, - улыбается тонкими губами Бадамян, - скажу только одно. И этого будет вполне достаточно, товарищ Месроп. Знай, что этот твой подзащитный уже два года находится в интимной близости, а сегодня хочет жениться на дочери врага народа.

Мое сердце чуть не останавливается. Этого удара я уже не выдержу. Я чувствую, как кровь отливает от лица, и мне кажется, что я кричу:

- О чем вы говорите, какой враг народа?..

- Какой враг народа? Притворяется наивным. Не знает, что отец его избранницы объявлен политическим преступником и сослан в Сибирь еще в 1937 году за распространение и пропаганду запрещенных книг Чаренца, за националистическую деятельность.

- Ложь, - шепчу я, - это невозможно, неправда, я знаю, он умер, он был неграмотный человек. Какой из него пропагандист? Он был парикмахером на зеленой площади... Какой враг?

- Ну это ты брось, - говорит секретарь комитета ЛКСМ Министерства Государственной безопасности Беник, - я сам смотрел его дело, не валяй дурака.

- А какое это имеет значение, - вдруг восклицает Месроп, - дочь не отвечает за отца, а тем более Левонян.

- Видишь, Саркисян, - обращается к секретарю райкома Бадамян, - вот кто твой второй секретарь! Мы, как видно, должны будем поговорить с ним особо.

- Я тоже думаю, что разговор необходим, - усмехается Месроп, - потому что от этой вашей игры дурно пахнет.

И вдруг повышает голос Саркисян:

- Ну-ну, товарищ Месроп! Сдерживайтесь, как вы разговариваете с секретарем горкома, на него посмотрите, а в другое время сам разглагольствует о дисциплине! Не ожидал, совсем не ожидал!

А я смотрю на Месропа преданными, влюбленными глазами. Я знал, что он честный и смелый человек, но такого не ожидал и я не думал, что он из-за меня будет рисковать собой, поссорится с секретарем горкома и первым секретарем райкома. Теперь мне хочется как-то защитить его, отвлечь от него внимание Бадамяна и Саркисяна. "Спасибо, браток", - говорю я в уме и даю себе клятву до конца жизни быть преданным ему. Но что мне сказать, что? И вдруг мне кажется, что родилась блестящая мысль:

- Товарищ Бадамян, - говорю, - а как же это сын преступника может быть секретарем райкома, а я даже не имею права жениться на дочери преступника.

Сразу наступает тишина, и в тишине звучит удивленный голос секретаря университета Давида:

- А кто сын преступника?

- Товарищ Саркисян, - бросаю я, чувствуя в то же время, что в душе моей рушится что-то очень важное, что-то святое, но уже не могу остановиться, - товарищ Саркисян, - повторяю я, - его отец и сейчас в тюрьме. Мне это сказал тот же Партев.

Лицо Саркисяна пылает, и я окончательно теряюсь. Что это я делаю? Что это я делаю?! Так чего же я удивляюсь? Значит, каждый из нас способен на подлость, и все мы одинаковы. Какая разница между мной и Партевом, которого я, наконец, узнал и ненавижу? Но что мне делать? Ведь они хотят уничтожить меня, что делать? С последней надеждой смотрю на Месропа, вымаливая у него прощение. Но он смотрит на меня морщась, с презрением.

- Это отвратительная демагогия, отец Саркисяна не политический, а уголовный преступник. Надо уметь различать! - кричит Бадамян.

Но я не слушаю его, я слышу только, как Месроп, разочарованно и с болью говорит одними губами:

- За одно только это ты достоин любого наказания.

И все для меня теряет смысл. Я больше не чувствую ни боли, ни обиды. Я даже не могу и не хочу слушать. Мне, кажется, задают вопросы, но я и не думаю отвечать на них. Пусть говорят, что хотят, пусть делают, что хотят, лишь бы оставили в покое. И, наконец, чего им от меня нужно? А они говорят, говорят по очереди и перебивая друг друга, и все говорящие смотрят на Бадамяна, как хористы на дирижера. И вдруг мне кажется, что Бадамян все тот же тощий и

долговязый парень, которого я видел в селе, когда был маленький. В лаптях, с хлыстом в руке, он шагает за волами, сильно ударяет то одного, то другого и кричит тонким голосом: “Хо-хо”! Я всегда удивлялся, почему волы покорно переносят удары, почему не оборачиваются и не поднимают его на рога? Может, боятся хлыста? И мне до слез жалко бывало этих несчастных, покорных волов. Сейчас уже все время говорит Бадамян, и члены бюро молча согласно кивают головами. Что он говорит, кстати, что? Я стараюсь напрячь внимание и из стоящего в голове гула выделить голос Бадамяна.

- В то же время ясно, что после всего этого недопустимо оставлять Левоняна на должности заведующего школьным отделом райкома. Райком должен приложить огромные усилия, чтобы восстановить утраченный среди школьных организаций авторитет. Товарищ Саркисян, зачитайте проект решения.

- “За провал работы, попираание производственной дисциплины, недостойный члена партии и работника райкома образ действий, что выразилось в целом ряде поступков и выступлений, бюро райкома решает:

а) снять Артака Левоняна с работы;

б) поставить вопрос перед бюро райкома партии об исключении Артака Левоняна из рядов Коммунистической партии;

в) предложить Государственному комитету по физкультуре и спорту исключить кандидатуру Левоняна из состава участников Всесоюзных соревнований.

г) настоящее решение разослать по всем райкомам и довести со сведения ректора университета”.

- Голосуй, - поспешно говорит Бадамян.

Еще секунда, и будет поздно. Значит, они действительно хотят уничтожить меня. Говорят, так бывало в 37-м году: вдвоем, втроем решали, и тут же убивали. И отец Манука убивал, может, и отца Нанар, парикмахера Григора тоже убил он. Но почему именно отец Манука, убийцы всегда найдутся: отец Манука, отец Каро Бадамяна, отец Беника... Вот поэтому Манук и плачет. Сейчас они имеют право только снимать с работы и исключать, и они исключают. Если б могли убить, убили бы. И в одно мгновение я понял очень много непонятных, сложных, фантастических вещей, которые раньше не понял бы ни за что. Так, значит, чтобы понять, все люди должны пройти через это мгновение, пройти по обломкам своего оптимизма и веры.

- Голосуй, чего ты ждешь? – рассерженно повторил Бадамян.

- Может, сначала выслушаем Левоняна? – вдруг спросил Месроп. – Он имеет право говорить.

- А по-моему, нет никакого смысла, все ясно и без того, - оборвал Бадамян, - что нового он может сказать?

- Подождите, - сказал я, уже в который раз с чувством безысходности поднимаясь с места. – Подождите, как то есть все ясно, товарищ Бадамян? Вы здесь пишете, что я провалил работу. Вы верите в это? Если провалил, то почему ЦК наградил меня Почетной грамотой за лучшую работу, почему всего несколько дней назад вы заявляли в горкоме, что очень довольны мной и даже обещали вскоре назначить заведующим отделом горкома?

- Ну сейчас вы можете говорить все, что угодно, кто вам поверит?

- Значит, я лгу, не было такой беседы? – спросил я, дрожа от гнева и глядя прямо в глаза Бадамяну.

- Конечно, не было. Это просто новый вид шантажа, - пожал плечами Бадамян.

- Ах не было, да? – вышел я из себя, - наконец, я вас понял. На протяжении всего бюро эта мысль мучила меня, но я не хотел поверить, что вы, руководитель всех комсомольцев нашего города, вы, умеющий говорить красивые речи и оплакивать негритянских детей...

- Да прекратите эту вашу фальшивую истерику! – крикнул Бадамян.

- Нет, нет, - сказал я, - я еще не стал фальшивым. Может, еще стану, но еще не стал, я не умею, вроде вас, смотреть людям в глаза и лгать.

- Он бредит, товарищи, голосуйте и закончим. Саркисян, голосуй, говорю...

- Нет, нет, ребята, не голосуйте, прошу вас, потом вы будете жалеть об этом, ведь вы не знаете, что товарищ Бадамян – близкий друг Везирияна, героя моего фельетона, он сводит счеты. Везириан сказал, что я еще долго буду чувствовать его рядом, сказал, что Каро вызвал меня ради него. Если не напечатаешь фельетон, говорил он, станешь заведомом горкома. Сейчас вы мстите за непослушание, товарищ Везириан, о, простите, товарищ Бадамян. Делайте, что хотите, но почему вы обманывали меня, обманывали нас, ведь мы верили вам, я... я не поверил моему отцу, который знал вашего отца, я верил вам. Почему вы обманываете, разрушаете мою веру?..

Я очень хотел сдержаться, я давил кулаками на грудь, чтоб сдержать слезы, я широко раскрыл глаза, чтобы слезы не блестили, но они струились по моим щекам. Я чувствовал, что это плохо, что не надо унижаться, что люди попадали в более тяжелые переделки, но не поливали слез перед обидчиками, я ненавидел себя и свою слабость, но ничего не мог поделать. Я не был героем, я был обыкновенным человеком.

- Кончай, Артак, ты же не ребенок, - услышал я взволнованный голос Месропа.

- Ребенок... Разве плачут только дети? Нет, нет, Месроп, способность плакать, и вправду, идет из детства, но, может, это самое ценное, что остается на всю жизнь, самое лучшее и важное, что остается от детства. Нет, нет, Месроп, плакать – не детское дело, наоборот – только взрослые люди знают, какая необычная, какая важная вещь плач, поэтому и плачут редко, очень редко, как я сейчас. Это не детский плач, Месроп, наоборот, я плачу оттого, что не видел нормального

детства, а сегодня, здесь, безвозвратно рухнула и моя юность. Я плачу, чтобы больше никогда не плакать.

Я не слышу, что говорит Бадамян, но перебиваю его и говорю с яростной ненавистью:

- Вы бесчестный и подлый человек, лживый и подлый...

Жду, что Бадамян зашумит, закричит, выйдет из себя, но он только улыбается и качает головой. А когда я заканчиваю, строго говорит, обращаясь к секретарю райкома:

- Запротоколируйте все эти оскорбления. А сейчас голосуйте, наконец, что с вами случилось? Или, может, вы не в состоянии далее вести бюро, товарищ Саркисян?

- Сейчас, сейчас, - мямлит Саркисян, берет проект решения, смотрит в окно и говорит хрипло, простуженным голосом: - Кто согласен с этим проектом, прошу поднять руки. Кто против?

Я смотрю на членов бюро, но никто из них не смотрит на меня. Все, опустив головы, повернулись к Саркисяну. Секретарь райкома замечает, что никто не поднял руки и, резко краснея, меняет вопрос:

- Кто "за", пусть поднимет руку.

Бадамян мерно ударяет кулаком по столу, и первый сдается Беник. Не поднимая головы, он протягивает руку. Давид косится на Беника и тоже осторожно поднимает руку. За ним следует Сурен.

- Против нет? – облегченно выдыхает Саркисян.

- Вы не проголосовали, - грубо замечает Бадамян.

- Ах, да, - теряется Саркисян, - я тоже "за". – Он перекладывает проект в левую руку и поднимает правую. – Против нет? – снова спрашивает он, но уже громче.

- Я против!

- Не сомневались, - поджимает губы Бадамян.

- Да, я против и представлю свое мнение в письменном виде, - заявляет Месроп.

- Пишите, пишите, - презрительно кивает головой секретарь горкома, - мы обсудим вашу писанину уже в горкоме. – Затем обращается ко мне, - а вы теперь свободны, товарищ Левонян.

Я смотрю на него, хочу что-то сказать, что-то жгучее, ядовитое, но чувствую, что полностью опустошен. Но что-то, тем не менее, надо сказать, и я говорю насмешливо:

- Благодарю за освобождение!

Потом направляюсь к двери, думая с ужасом, что будет со мной за нею, как буду жить дальше в этом новом, непонятном, странном и ужасном мире.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, БРОДЯГИ!

А за дверью ничего не изменилось. Я скорее чувствую это, чем вижу. Мне казалось, что уже стемнело, но приемная залита ярким, ослепительным светом, и я с трудом различаю лица. Я чувствую, что ничего, ничего не изменилось в мире: Римма быстро, нервно печатает на машинке, из соседней комнаты доносится бас Партева, который говорит с кем-то, лысый мужчина, читавший в углу газету, когда я входил, все еще продолжает читать, другой посетитель, быстро-быстро ходивший взад-вперед по комнате, сейчас стоит и спрашивает меня:

- Теперь я могу войти?

- А я почему знаю? – теряюсь я.

И вдруг Манук обнимает меня, Нвард хватается за руку, а Нанар смотрит на меня опухшими, покрасневшими глазами и тихо говорит:

- Пойдем, Арт, почему мы здесь стоим?

Действительно, почему я стою? Здесь все уже чужое для меня, это уже не место моей работы, а просто райком. В городе таких райкомов четыре. Но нет, люди, наверное, не могут так быстро расстаться со знакомыми и ставшими родными вещами и предметами. Я еще, вероятно, долго буду вспоминать тысячи вещей, и тысячи вещей еще долго будут напоминать мне о моей работе в Спандарянском райкоме. Вот даже эти пионеры, все пионеры, красные галстуки, горны и барабаны, разрисованные, написанные от руки пригласительные билеты... Но погоди, неужели эти малыши ждут меня? Я хочу пройти мимо, но одна из пионерок, длиннокосяя девочка, подходит ко мне и быстро отдает салют:

- Товарищ Левонян, пятый отряд третьей дружины приглашает вас на торжественную линейку.

- Вольно! – говорю я.

Пионеры опускают руки, а девочка вручает мне маленький, прилежно заполненный пригласительный билет. Вот и попробуй забыть! Что мне ответить им? Сказать, что меня сняли с работы? Но они этого не поймут и, наконец, это не имеет для них никакого значения. Отказаться? Нет, отказываться тем более нельзя. Значит, обещать?

- Разрешите идти? – громким голосом спрашивает девочка.

- Идите, - облегченно вздыхаю я, так как обещать ничего не пришлось.

Детей нельзя обманывать.

- Ты совсем не думай об этом, - говорит мне Манук, - это грубейший зажим критики. Только слепой не разглядит. Это продолжение фельетона. Мы им еще юридически покажем!

- Противные, - обиженно говорит Нвард, - низкие, низкие люди.

Нанар молчит. Она только крепко держит мне руку, крепко, как никогда, и ведет меня к двери. На улице я глубоко вздыхаю, а выдыхая чуть не рыдаю. Чувствую как жалок, но не хочу, чтоб меня жалели. Людская жалость меня всегда убивала. Оскорбление я еще могу снести, но к сочувствию не могу привыкнуть, сочувствие разрывает мне сердце.

- Пошли, Арт, - говорит Нанар.

Но я не могу двигаться, не могу смириться с мыслью, что они там, и там останутся, а я не имею права оставаться, я должен идти не знаю куда.

- Подождите, - говорю я.

Я хочу видеть, как они выйдут из этого здания. Я хочу видеть их лица и видеть, куда они пойдут. Не могут же они после всего этого пойти домой? Что они скажут дома? Ведь кто-нибудь спросит у них, какие вопросы обсуждались на бюро? Что они скажут? Бадамян, Саркисян, Беник женаты, когда они сегодня вернутся домой, смогут ли они, как обычно, спокойно сказать своим женам: "Я устал, пять часов заседали на бюро, умираю с голоду, нет ли чего поесть?" И как потом будут есть? Я говорю все это бессвязно, отрывочно, задыхаясь, будто в бреду; такая слабость охватила меня, что я чуть не падаю.

- Ты совсем, ну ни столечко не думай, - сердится Манук, - ты еще столько раз будешь встречаться с ними! Наши дороги еще сотни раз скрестятся. Ведь не зря же земля круглая, братец.

Я молча обдумываю слова Манука до угла улицы, а на углу, у кинотеатра "Москва", останавливаюсь.

- Манук джан, я уже не буду напоминать, завтра вечером вы с Нвард у нас.

- Значит, тем не менее, сегодня женитесь? А почему не интересуешься мнением невесты, может, обстоятельства изменили ее решение?

- Наш приговор обжалованию не подлежит, - вспоминаю я годы курьерства, - да, Нанар?

А Нанар... Нанар ничего не говорит и только улыбается грустными глазами: она счастлива, что я могу еще шутить. Какое счастье, что Нанар всегда со мной!

- Ну, а теперь до свидания, - говорю я Мануку.

- Почему? - удивляется он.

- Хочу остаться один.

- Вдвоем?

- Да, Манук джан.

- Да, это высшая форма одиночества, - смеется Манук.

Я сейчас так понимаю Манука, будто я сам Манук.

Он, как и Нанар, удивлен и обрадован, что я так быстро забыл бюро, боится, что вспомню, и поэтому не оставляет нас, шутит, непрерывно смеется и не понимает, что я именно из-за него притворяюсь безмятежным, притворяюсь веселым, чтобы не грустили они с Нвард, потому что знаю, сегодня будет грустно нам с Нанар, грустно в день нашей свадьбы.

- Да, знаешь кого я вчера встретил? – хлопает меня по плечу Манук, – нашего бригадира с Консервного завода, Гаспара. Он обнял меня, не отпускал, передавал тебе приветы и знаешь, что сказал? Сказал, мол, скоро начнется сезон фруктов, приходите с Артаком – возьму в свою бригаду. Хотя вы и, говорит, немножко лодыри, но хорошие ребята, приходите. Говорит, мол, не хочу брать других людей – будем мы с Маркосом и вы. Хорошо поработаем. Ну как, по рукам?

Манук смеется так громко, искренне и заразительно, что я не могу не засмеяться ради него.

- Гаспар джан, - говорю я, - как же мы будем таскать мешки? Артак уже журналист, я юрист, что скажут? И знаешь, что он ответил, нет, ты послушай, что он ответил, говорит – ради вас возьмем третью смену, ночную, никто не увидит. Приходите, ребята, для вас говорю, в этом году много фруктов.

Манук снова хлопает меня по плечу и смеется с плачущими глазами.

- Ну так пойдем, поработаем пару месяцев, - говорю я Мануку.

- Конечно, - воодушевленно продолжает Манук, - тебе что, ты свободен, тебя с работы...

- Манук! – перебивает его Нвард.

Манук останавливается как ужаленный, ошеломленно смотрит на меня, на Нанар и Нвард, растерянно разводит руками, не зная, как выйти из положения, а потом говорит очень грустно, со слезами на глазах. – Артак, ты замечал, что я осел?

- Э, дурень! – смеюсь я.

- Да нет, что дурень – это факт, но ты не замечал, что я к тому же и осел? – Он грустно качает головой под наш смех и протягивает руку Нвард, - пойдем, пойдем, Нвард джан, пока этого не заметил весь свет.

Мы с Нанар провожаем их взглядом, пока их силуэты не растворяются среди других, и медленно поднимаемся вверх по улице Абовяна.

- Хороший парень Манук, - говорю я.

- Да, - соглашается Нанар.

И мы снова замолкаем.

- Куда мы идем? - спрашивает Нанар.

- Пойдем в сквер Гукасяна, последний раз посидим на нашей скамейке. А, Нанар? Ведь после свадьбы будет бессовестно занимать эту скамейку. Сколько завидуют нам, помнишь? Сейчас у нас будет свой угол, наш дом, и мы обязаны уступить нашу славную скамейку другим, так сказать, парочкам следующего поколения. Разве я не прав?

Нанар ничего не отвечает, только прижимается ко мне, и мы шагаем вверх по улице Абовяна, по старой проторенной дороге. Переходим трамвайную линию, сворачиваем налево, опять налево и оказываемся в нашем укромном уголке. Вершины тополей уже озарены лучами заката, и от земли поднимается теплый пар. На скамейке лежит лист бумаги из тетради, на котором написано: "Пришел, ждал, ждал, ждал, а ты не пришла".

Днем мы еще никогда не сидели на этой скамейке. Сейчас сидим и опять молчим. А голова моя гудит, словно разъяренный пчелиный рой. Я мысленно еще на бюро и, наверное, еще долго, очень долго буду там. Я слышу голоса и шум, слышу вопросы, которых не задавали, и отвечаю так, как не успел ответить. Я знаю только, что вел себя не лучшим образом, и знаю также, что чувство неудовлетворенности меня уже не покинет. Сколько бы не прошло лет, я уже никогда не буду полностью счастлив, потому что только подумаю, что счастлив, сразу окажусь на бюро, буду спорить, драться и униженно просить моих товарищей, чтобы не голосовали, чтобы верили, чтобы не исключали меня.

- Нанар, - вдруг говорю я, - хочу попросить тебя об одном. Я еще как следует не проверял, но мне кажется, что у меня мягкий характер. Боюсь, что забуду нанесенные мне оскорбления, боюсь проявить слабость, если участники сегодняшнего бюро когда-нибудь попросят у меня прощения или улыбнутся мне. Ты запомни их имена и всегда напоминай мне, потому что я не хочу их прощать, потому что есть вещи, которые прощать нельзя.

- Хорошо, - соглашается Нанар.

- Ты видела, что они сделали со мной?

- Ты хорошо вел себя, Артак.

Если б это сказала не Нанар, я бы принял за издевку.

- Ты все слышала? - спросил я с сомнением.

- Нет, - сказала Нанар, - мешала кожаная дверь. Но я слышала, как они кричали. Они вышли из себя и все время кричали. Значит, ты вел себя хорошо.

Я смотрю на нее. В глазах Нанар – необычный и незнакомый мне блеск. Такими бывают глаза матери, когда обижают ее дитя. С удивлением первооткрывателя я смотрю на Нанар и думаю о том, что от нее ничего нельзя скрыть.

- Нет, Нанар, - говорю я, - я никогда не прощу себе хотя бы за то, что упрашивал их, плакал. Правда, плакал я не из-за этого, но какое это имеет значение? Они видели мои слезы. Этого я никогда себе не прощу.

- Брось! – сердится Нанар. – Ты сделал все, ты перепробовал все, чтоб они остались людьми. Даже плакал, чтобы они содрогнулись и вспомнили, что они люди. Не мучай себя, ты не должен их прощать. Я тебе напомню. Ты ведь не знаешь...

Нанар побледнела и сжимает мне руку. Я удивляюсь, как много сил у нее. Но еще больше удивляюсь, видя ее совсем новой, полной материнской вдохновляющей и оберегающей ярости. Это для меня очень странно и неожиданно.

- Ты ведь невиновен. Ты не должен смириться. Ты должен одолеть их. Да кто они такие? – гордо взглянув на меня, шепчет Нанар.

- А с чего ты выдумала, что я смирюсь? – сержусь я.

- Не обижайся, скажу. Ты вышел от них не взбешенный, а усталый.

- Кончай, - сердито кричу я, уязвленный ее правотой, - разве я не понимаю? Ты еще увидишь!

Почему я кричу, почему? Я стараюсь успокоиться, понять и убедить ее, убедить, что, да, я жалею, что так получилось. Я не хотел доводить до драки, потому что не выношу ее. Почему я должен сражаться и почему должен побеждать? Но ведь они начали против меня грязную, нечестную кампанию, и я, хочешь-не хочешь, должен обороняться, потому что я – одна из сражающихся сторон, а из войн еще никто не выходил совершенно чистым. Ни один победитель.

- Ты должен победить, - губы Нанар дрожат, и я боюсь, что она сейчас заплачет.

- Ну и черт с ними, придется победить! – смеюсь я, - у меня нет выхода, Нанар джан.

Я сажусь рядом с ней и с облегчением обнимаю ее. Нанар не отталкивает меня, нет, наоборот, кладет голову мне на грудь, и я чувствую, что по моим рукам медленно струятся ее горячие слезы. Хочу сказать что-нибудь нежное, успокаивающее и вдруг думаю, что она скорбит не только из-за меня, нет. Что она, кто знает, может, вспомнила своего...

- Нанар, - спрашиваю я, - кто был твой отец?

Нанар быстро смотрит на меня и страшно теряется.

- Парикмахер, - запинаясь она, - я... говорила тебе.

- Это я знаю. А где он сейчас? У вас есть какие-нибудь сведения?

Нанар смущенно бледнеет, смотрит на меня своими прекрасными, испуганными глазами. Потом, кажется, понимает все.

- Это они сказали?

Я киваю.

- Значит, жив? – вскрикивает она.

- Не знаю, Нанар джан. Сказали только, что сослали в Сибирь.

Глаза Нанар гаснут. Голова опускается.

- Его увели, когда мне было шесть лет. Не знаю за что, – шепчет она, – и я больше не видела его. Не слышала. После войны к нам как-то зашел нищий. Сказал, был в плену и за это был сослан в Сибирь, сказал, что там видел папу. Он работал на руднике, очень хотел написать нам, но не разрешали. Потом попросил хлеба. Мать дала всю еду, которая была у нас дома, и он ушел. И до сих пор больше никаких сведений, кто знает, может, он все это придумал ради хлеба?

- Кто знает? – сказал я. – А может, и не ради хлеба. Такое творится в мире! Кто знает? Но почему ты не говорила мне обо всем этом, Нанар?

- Боялась... Боялась, что разлюбишь меня.

- Глупая, – смеюсь я, – глупая девчонка.

Потом мы долго, тихонько смеемся, и я вытираю рукой слезы Нанар.

А когда сквер заполняется темными тенями и с невидимых скамеек раздаются сдавленные смешки и шепот, я встаю с места, отряхиваю одежду и говорю:

- Пошли, Нанар.

- Куда? – непроизвольно спрашивает Нанар.

- Домой, куда же, – смеюсь я, – привыкла к бродячей жизни? Пошли, сейчас наш дом полон людьми, сейчас наша ворчливая соседка энергично командует на кухне, сейчас твоя ванская мать и моя шамшадинская мать уже начали самый удивительный и непонятный разговор, сейчас мой отец, обретший новых слушателей, с воодушевлением рассказывает о своей молодости, сейчас Бабкен на балконе разжигает мангал и ругает меня, сейчас Седа отсасывает резиновым шлангом вино из деревянного бочонка и с каждой наполненной бутылкой пьянеет и смеется. Пошли, Нанар. И никакой грусти, ни слова, никакого бюро и никакой мести. Будем милосердны сегодня, Нанар.

Я беру ее за руку, и мы бежим к воротам. Но вдруг я останавливаюсь:

- Минуточку, - говорю я, - я забыл написать на том листке бумаги одну вещь.

И когда запыхавшись возвращаюсь, Нанар с улыбкой спрашивает:

- Что написал, Арт?

- Наше завещание: "Счастливо оставаться, мы идем домой, наконец, поженились! Оставляем скамейку вам. Будьте счастливы, бродяги!"

РЕПЕТИЦИЯ ПРАЗДНИКА

Утром я проснулся со смешанным чувством. Во сне читал со сцены какие-то длинные грустные стихи, которые, якобы, написал я сам. Читал и удивлялся, как это мне удалось найти такие мелодичные и удачные рифмы. Голос мой звучал громко, и я слышал его глухие и торжественные отзвуки. Я стоял на сцене, залитый светом, а в зале было темно. Кто там? – думал я с сомнением и что я декламирую? Слышал слова, но не мог понять их смысла, хотя и был уверен, что это грустные и красивые слова. Потом зал слегка осветился, и я с удивлением заметил, что все там знакомо мне. Вот отец, мать, Бабкен, Седа, Нанар, Манук, Нвард, Петрос-айрик, старушка из Муша, Белла Григорьевна, потом какой-то бородатый мужчина. Лицо его мне очень знакомо, но кто он? Ах, да, философ-швейцар из “Интуриста”. А вот и наш бригадир Гаспар, Маркос, Азат. Гляди-ка, и мои однокурсники собрались. А это кто там в углу, в темноте? погоди, а они как тут очутились? И не подумал бы. Бадамян, Саркисян, Партев, члены бюро. Только Месропа нет. Ах да, Месроп сказал, что не сможет прийти, на заводе открывают какой-то новый цех. Я понижаю голос, перехожу на шепот и слышу, как этот шепот раскатывается в зале. Слова так и текут с моих уст, грустные, похожие на стон слова. Я снова не могу понять, что говорю, но вдруг замечаю, что сидящие в зале плачут, – отец, мать, Бабкен. А интересно, как принимают они? Я тайком смотрю в их сторону и с удивлением вижу, что они тоже плачут, – Бадамян, Саркисян, Партев, остальные. Они бледны, и слезы текут по их небритым лицам. Значит, тем не менее, они тоже люди, с облегчением думаю я, – тем не менее – люди. Я делаю еще более трагические акценты в своей декламации и уже с небольшим злорадством добавляю в уме: “Сейчас, небось, сожалеете, что так подло обошлись со мной, думали, я пропаду, исчезну. Теперь, небось, видите – кто я! Я декламирую, и вы рыдаете, вы становитесь людьми. Раньше рыдал я, а теперь – вы”. Но что это, Нанар, кажется, хочет сказать мне что-то, подмигивает украдкой? Впервые она мне подмигивает. Мол, сохраняй в душе обиду. Я нагибаюсь со сцены и, продолжая декламировать, слышу, как Нанар шепотом предупреждает меня: “Не верь им, Артак, не верь”. Я поднимаю голову и в свою очередь подмигиваю ей, мол, все понял. Нанар довольно улыбается и снова шепчет: “Ну, я пошла в театр”. Почему, почему? – хочу спросить я стихами, чтобы зрители не догадались, но в тот же миг из темноты звучит голос старосты нашего курса Шаварша Микаеляна:

- Как вы разрешаете, чтоб со сцены звучали произведения врага народа?

“Произведения, произведения”, – отражается от сцен зала, и я с ухмылкой думаю, что этому тупице кажется, что я читаю Чаренца. Я смотрю в зал, и вижу, что теперь все рыдают, рыдают громко и надрывно, и в этой их томительной и горькой скорби есть что-то жуткое...

Открываю глаза и облегченно вздыхаю. Ну и сон! Но что это я читал, ведь тем не менее, получалось очень здорово. Ну и сон! Одним прыжком встаю с постели, отодвигаю отделяющую нашу кровать белую занавеску и оказываюсь прямо перед мамой, которая накрывает к завтраку стол.

- Прямо как ребенок, - говорит мама, - напугал.

- А ты почему плакала?

- Когда? – спрашивает мама, и я с грустью думаю, что мама не возразила, не сказала, что не плакала, а только спросила “когда?”

- В моем сне, - говорю я.

- Это хорошо, - говорит мама, - плач во сне – к счастью.

- Значит, сегодня будет радостно многим. А где Нанар?

- Ушла на работу.

- Ага! А ты говорила – женись, женись! Ну и что выгадала, мать? Небось, и для нее завтрак готовила?

- Только чай выпила, - улыбается мама, - да и вот это написала, чтоб я передала тебе.

Половина моего сна сбылась тут же. Нанар шепотом говорила из зала те самые слова, что были написаны в записке: “Ну, я пошла в театр, на репетицию. Помни наш вчерашний разговор. Прошу тебя, будь стоек. Жду тебя и хороших вестей. Нанар”.

Хороших вестей... Откуда мне раздобыть для тебя хорошие вести, Нанар? У меня только одна надежда, одна единственная, и эта моя надежда – редактор. Как он примет меня, встанет ли на защиту? Откуда мне знать? Раньше было иначе. А сейчас я ни в чем не могу быть уверен. Вчера было другое, Нанар.

Быстро одевшись, я иду в хлебный магазин и осторожно опускаю монету в щель телефона-автомата. Сейчас послышится голос секретарши и... Я часто звонил по телефону, но еще никогда так не билось, не сжималось мое сердце.

- Да-а!..

Голос редактора. От неожиданности я чуть не выпускаю трубку. Трудно говорить.

- Да-а, - начинает сердиться голос.

- Товарищ Сарьян, это Артак, Левонян...

- Ну что, ну что, Левонян?..

Очень уж сухо говорит, бессовестный.

- Хотел зайти к вам.

- Ну, значит, приходи, если хочешь. Впрочем, приходи, приходи, есть о чем поговорить. Хорошие новости...

Господи! Неужели на свете еще осталось что-нибудь хорошее?

- Спасибо, товарищ Сарьян. Сейчас приду.

- Не сейчас, не сейчас, часика через два.

- Хорошо, спасибо, товарищ Сарьян.

- Да-а...

На другом конце провода слышится звук опускаемой трубки, и я осторожно вешаю свою. Интересно, о чем это хорошо идет речь? Что могло случиться? Ясно только – он еще не знает, что меня сняли с работы. А когда узнает, останутся ли эти хорошие новости хорошими? Откуда мне знать?

Снова поднимаюсь домой, снимаю с гвоздя на балконе велосипед, машинально смазываю его, счищаю пыль, проверяю крепость спиц и потом только вспоминаю, что он мне больше не нужен. Ведь меня лишили также права участвовать в спартакиаде. На мгновение представляю себе стадион, возбужденных тренеров, моих друзей-велосипедистов, которые сейчас, вероятно, наденут свои ярко-красные костюмы, и сердце вновь сжимается от боли. Почему? Ну почему? Допустим, я действительно провалил работу и меня за дело выгнали из райкома. Но какое это имеет отношение к спорту, к спартакиаде? Значит, если я не могу быть заведующим отделом райкома, то не могу, не имею права и велосипед водить? Нет, здесь явно грубая ошибка, и руководители нашей группы, конечно же, не разрешат, чтобы меня отстранили. Они-то ведь меня хорошо знают. Уже четыре года я член сборной команды республики, чемпион республики среди студентов, осталось всего несколько дней до поездки в Москву. Как же они могут в такое время взять и просто так вышвырнуть меня? Чем будут мотивировать? Нет, это невозможно.

Держась за сиденье, осторожно спускаю велосипед по лестнице, у глинобитного домика Тиграна-ахпара вскакиваю на велосипед и еду на стадион. Теплый весенний ветер бьет в лицо, и я больше не чувствую себя несчастным. Рядом со мной быстро шагают наши ребята, проезжают велосипедисты, громко кричат:

- Быстрее, Артак, опаздываем!

- Сегодня мы будем репетировать в формах, знаешь?

- Только что привезли костюмы.

У входа соскакиваю с велосипеда и, держась за сиденье, иду к спортивному залу. Наш тренер, Рубен Авшаров, взволнованный и возбужденный как всегда, издали грозит нам пальцем.

- Быстро-быстро, вы не велосипедисты, а балерины. Господи, и с ними я должен ехать в Москву! Не поеду, завтра же потребую, чтоб меня избавили от вас. Никогда. Ну, одевайтесь быстрее, чего встали? И глаза вылупили, даю пять минут, кто опоздает, пусть не показывается мне на глаза. Вот несчастье-то!

Его брань звучит для нас, как знакомая и родная музыка. Этот ворчливый старик – наш идол и бог. Худой, жилистый и высокий, он ходит сутулясь и широко размахивая руками, и мы готовы идти за ним хоть на край света. Он искренен, как ребенок, заботлив, как отец, и отдаст за тебя жизнь, если только ты полюбишь велосипед, если признаешь, что лучше велосипеда нет ничего на свете, и станешь смотреть на другие виды спорта свысока. А если вдруг тебе удастся улучшить какой-либо результат, тогда ты почувствуешь, как умеет воодушевляться Рубен Авшаров.

- Орел, орел! – покрикивает он, прямо с велосипеда принимая тебя в объятия, - ты знаешь, что ты сделал? Не знаешь! А я знаю. Мы с тобой в Туле съедим твоих соперников, как цыплят. Съедим, уж поверь Рубену Авшарову. Кто? Семушкин? Семушкин отстанет от тебя на десять метров. Что ты говоришь, ну, накинь, простудишься, - он накидывает свой теплый пиджак на твои плечи. – Надень, говорю, сукин сын, орлиное племя!

А если ты сойдешь с дорожки с низким результатом, то почувствуешь, как умеет покрикивать мрачный Рубен Авшаров:

- Как ты шел, сукин сын? Как морж в детской коляске. Иди, иди, стань борцом, какой из тебя велосипедист? Как мешок муки на кляче. Футболист! Велосипеда бы постеснялся! Посмотри, какой у тебя велосипед, мечта! Легкий, выносливый, работает, как часы. Шахматист! Эх, были бы в наше время такие велосипеды, а то были не велосипеды, а паровозы, сукин сын, теннисист...

Никто не обижался на него, потому что на отца нельзя обижаться. Он сделал всех нас велосипедистами, он всюду отстаивал интересы велосипедистов, первым поспевал на помощь, если ты падал, вдохновлял приятной бранью, когда ты в отчаянии хотел выйти из борьбы. И потом все знают, каким велосипедистом он был в свое время. Чемпион Северного Кавказа и Закавказья, автор многих рекордов. Сам наместник Закавказья Воронцов-Дашков своей высокородной рукой прикрепил ему на грудь какой-то железный крест. Это видно на старой, выцветшей фотографии. Рубен Авшаров стоит, придерживая одной рукой действительно похожий на паровоз грубый и тяжелый велосипед, а другой пожимает белую руку наместника.

Отталкивая друг друга, мы врываемся в зал и получаем наши новые роскошные костюмы: ярко-красные шерстяные пиджачки и короткие темно-синие брюки, маленькие белые шапочки и черные велосипедные туфли. А еще через несколько минут, когда прикрепленные к велосипедам высокие шелковые знамена слегка колышутся от ветра, мы отъезжаем на стадион:

- Строй-ся!..

Я больше люблю предшествующие торжественным событиям волнение и панику. Они куда более искренни и трогательны, чем сами торжественные церемонии, когда все запрограммировано и рассчитано до секунды, и ты, фактически, машинально выполняешь свои

обязанности. А сейчас все смешалось, инструкторы с криками бросаются то туда, то сюда, к своим рядам стремятся опоздавшие спортсмены, перекатываются с места на место гимнастические снаряды, оркестранты в последний раз проверяют свои инструменты, издавая нестройные, несогласованные звуки. И все сверкает и блестит, шумит и переливается яркими, ослепляющими красками.

- Строй-ся!..

Постепенно стихает шум, последние возгласы тают в воздухе, и удивительная тишина опускается на стадион. Над нашими головами ласково шелестят от легкого ветерка шелковые знамена.

- Сми-ирно!..

Перед подтянутыми рядами пробегает командующий парадом, подходит к невесть откуда взявшемуся толстому человеку в белом костюме и кричит во весь голос, будто тот глух.

- Товарищ председатель физкультуркомитета, участники всесоюзного спортивного парада Армении готовы к генеральной репетиции. Разрешите начать.

Но председатель физкультуркомитета будто и вправду не слышит его, потому что рукой подзывает его поближе и говорит что-то почти на ухо. Командующий парадом оборачивается, смотрит на нас, и хоть нас двести пятьдесят человек, тревога, какая-то неприятная боль охватывает только мое сердце. Они могут говорить о тысяче вещей – разве мало чего может сказать председатель физкультуркомитета командующему парадом, - но я могу поклясться, что они говорят только и только обо мне. А когда командующим парадом резко поворачивается и направляется к нам, я уже полностью уверен в этом и молю судьбу об одном: чтобы он сказал все не во всеуслышание. Но командующий парадом, вероятно, очень пунктуальный и исполнительный работник, потому что еще не дойдя до места, он подносит к губам мегафон и объявляет на весь стадион:

- Велосипедист Артак Левонян, по решению бюро райкома...

- Ладно, ладно, - кричу я, выводя из рядов свой велосипед со знаменем, и спешу к нему.

Я готов был сейчас же покинуть стадион, парад, Ереван, мир, лишь бы он не объявлял так громко, лишь бы мои товарищи не узнали о моем несчастье. Я стеснялся их. Я не мог объяснить двумстам пятидесяти людям, что было на самом деле. Сколько из двухсот пятидесяти поверили бы мне? Что делать, что делать?..

- Ладно, ладно, ухожу, - кричу я, бросаясь вперед, как сумасшедший, пытаюсь отвлечь его внимание, помешать ему. Но он, вероятно, очень принципиальный и исполнительный работник...

- По решению бюро райкома вы удалены с парада. Сдавайте вашу одежду и велосипед. Товарищ Авшаров, получите имущество. И оставшиеся талоны – вдруг кричит он.

Я остановился всего в двух шагах от него, не в силах двигаться, униженный и уничтоженный. Если б у меня было оружие, я мог бы убить его в эту минуту. Но у меня не было оружия. В руках у меня был только велосипед, над которым высоко-высоко развевалось шелковое знамя, и я со всей силой толкнул велосипед к нему. Мой велосипед поехал прямо, потом сразу перевернулся и шелковое знамя упало на командующего парадом.

- На, на, - прошептал я, вне себя от ненависти.

Командующий парадом опешил на миг и ошеломленно посмотрел на меня. И взорвался только тогда, когда увидел упавшее знамя.

- Знамя! – заорал он, - сейчас же подними знамя! Герб, герб видишь? Как ты смеешь бросать герб? Знаешь, что с тобой за это сделают? Подними знамя, говорю!

И вдруг я увидел Рубена Авшарова. Он стоял перед командующим парадом, высокий и сутулый, и быстро размахивал длинными руками.

- Чего орешь, погоди! – закричал он, - я подниму. Упавшее знамя замечаете, а человека нет? Ты мне пальцем не угрожай, я Авшаров, и видел много пальцев. Голов вот мало встречаю. А велосипед почему отбираете, знаете, какой он велосипедист? Велосипед дал я. Я, Рубен Авшаров! А если вам не нужны велосипедисты, мы все уйдем. Да, да!..

Он сердито помахал рукой, и все велосипедисты сразу окружили его.

- Дядя Рубен! Дядя Рубен, - попросил я, - не надо, я уйду.

- Заткнись, сукин сын, - повернулся ко мне разъяренный старик, - кто тебе дал право бросать велосипед на землю, а?..

И, как всегда, его покрикивание сразу успокоило меня. Я поднял с травы велосипед и направился к выходу без знамени, с опущенной головой, опустошенной душой, удивляясь, что после всего этого еще могу жить, шагать и слушать, как кричат там командующий парадом и наш тренер, чемпион давних лет, пожимавший белую руку Воронцова-Дашкова старый велосипедист Рубен Авшаров.

В зале я быстро, лихорадочно снял и швырнул ярко-красный пиджак и короткие темно-синие брюки, маленькую шапочку и черные велосипедные туфли. Одел свою старую одежду, осторожно прислонил велосипед к стене, вытер рукавом тонкий слой пыли с блестящего руля и вышел со стадиона медленными, усталыми шагами, прощаясь еще с какими-то ценностями моей убегавшей, удаляющейся юности.

НЕОБХОДИМО ОПРАВДАТЬСЯ

Удивительная вещь жизнь. Всего день тому назад я шагал по этой улице с уверенностью хозяина, здоровался с знакомыми, махал рукой идущим по другой стороне улицы, останавливался, болтал с ними и весело продолжал свой путь, напевал в уме и восхищенно оглядывался вокруг. Все было радостно, интересно и удивительно для меня. Все встречные были веселые и счастливые люди. И все эти люди были моими, моими родными. Моими были цветники и тополя, глинобитные ограды и новостройки, ошеломительно голубое небо с парящими в нем голубями, застывшими, подрагивающими соколами и стремительными стрижами.

Прошел всего один день, и я иду по этой же улице робкими и стыдливymi шагами, будто изгой. Иду быстро, натянув на глаза кепку, и стараюсь не смотреть на прохожих. Мне кажется, что они все знают о случившемся и избегают меня. Тот парень, к примеру, всегда издали здоровался со мной, улыбаясь и махая рукой, а сегодня даже не посмотрел в мою сторону. Сегодня со мной никто не здоровается. Кто знает, может, и с ними что-то случилось?

- Здравствуй, Артак.

Он работает рядом с нашим домом, на молочном заводе, и мы встречаемся почти каждый день.

- Здравствуй, - говорю я, ускоряя шаги.

- Как ты? – спрашивает он. Он каждый день задает тот же вопрос, но сегодня этот вопрос звучит как-то особенно.

- Ничего, - с кривой улыбкой отвечаю я.

- Ты как-то странно выглядишь, ничего не случилось?

- Нет, что могло случиться? – стараюсь засмеяться и чувствую, что смех получается очень неестественный, очень противный.

- Ну и хорошо, - говорит он озабоченно, - до свидания.

- До свидания.

Вероятно, он что-то слышал, но хотел узнать от меня. Иначе, почему задал этот вопрос? Или, может, лицо у меня очень хмурое? Нет, оно всегда такое. Просто одежда у меня старая, нет ничего приличного, поэтому и настроение подавленное. Они тоже, вероятно, смотрят, как я одет, и я уже кажусь им другим. Да и что эта за одежда: выцветшая, простая, протертая около

пуговиц, а про туфли и говорить не стоит... Еще хорошо, что впереди лето, летом легче, наденешь одну сорочку да брюки – и все.

И вдруг во мне поднимается какая-то злость. Ну что мне делать? Нет у меня одежды, ну и что? Почему я должен стесняться? Что имею – на мне. Если б было, разве не надел бы? Это выражение кажется мне очень знакомым. Где я его вычитал? Нет, не в книге. Это было в жизни. Не помню, было это у нас в селе или где-то еще? Но было. Кто-то очень хотел унижить другого и однажды при всем честном народе кинул ему в лицо:

- Да не тот ли ты человек, чей отец умер с голоду?..

Собравшиеся молчали, потому что это было очень сильное оскорбление. Обиженный тоже очень долго молчал. Он хотел возразить, хотел оправдаться, хотел отстоять отцовскую честь. Но что он мог сказать, ведь и вправду его отец умер с голоду в тяжелые и голодные годы. И крестьянин ответил униженно, жалко, но в то же время с неуловимым достоинством униженных:

- Разве было, а он не ел?..

Значит, не было. Не было. У меня тоже нет и плевать мне на имущих. Этого человек не должен стесняться. Работаю и я (работал, - невольно простонал я), работает и отец, работает и Бабкен, работает и Седа, работает и Нанар, и если после всего этого мы не можем сводить концы с концами, что же нам делать? Мы-то не виноваты. Значит – нету. Страна разорена, недавно вышла из войны. “Разве было, а он не ел?” Будто из анекдота. Если рассказать как следует, можно даже засмеяться. Но не знаю почему, хочется плакать.

На редакционной лестнице встречаю фотографа Завена. Он репатриант, энергичен, подвижен, всегда одет тщательно и со вкусом. Непрерывно бежит с аппаратом в руках. И делает все на бегу: говорит, задает вопросы, отвечает. Когда останавливаешь, так переминается и извивается на месте, будто продолжает бежать. Мне всегда кажется, что он и во сне бежит.

- Иду на консервный завод, не пойдешь? – спрашивает он на бегу.

- Нет, - говорю я.

- Жаль, сфотографировал бы, - оборачивается он на бегу.

- Не зарекся? – смеюсь я.

- Нет, - смеется он уже у двери.

...Эта история, действительно, была очень смешной. Со стокилограммовым мешком песка на плечах я шел со склада во фруктовый цех, когда передо мной вдруг выросли начальник нашего цеха Фридман и этот фотограф-бегун. Увидев меня, Фридман сказал фотографу:

- Вот, можешь снимать хоть этого – грузчик, партиец. Выполняет задания на двести процентов.

- О, очень хорошо, - воскликнул фотограф и забегал туда-сюда, выбирая удобную позицию.

У меня подкосились ноги. Я уже представил себе свои фотографии в газете примерно с таким подзаголовком: “Много передовиков на консервном заводе. Вот один из них, грузчик Артак Левонян, который выполняет свои планы на двести процентов”. Или еще что-нибудь в таком роде. Я представил себе также, с каким смешанным с восторгом удивлением будут вырывать друг у друга газету мои друзья и подруги с пятого курса факультета журналистики, наши родственники и знакомые, и именно поэтому без дальнейших церемоний развернулся и быстро побежал с мешком назад, к складу.

- Погоди, - крикнул мне вдогонку Фридман, - ты куда?

А фотограф бегом догнал меня и оказался прямо передо мной.

- Одну секунду, только одну секунду, - сказал он, вскидывая аппарат.

Действительно, ему нужна была для съемки только одна секунда, а я не успел бы за эту секунду объяснить ему, что не имею никаких намерений фотографироваться, что я студент, что скрыл это от Фридмана, так как он принципиально не принимает студентов-грузчиков. Я не успел бы сказать все это ему, и поэтому просто прошептал с угрозой:

- Убери аппарат, а то разнесу вдребезги!

- О! Зачем же? Не хотите, так и скажите, пожалуйста, мы насильно не снимаем, - растерянно забегал фотограф и под удивленный взгляд Фридмана, ничего не понявшего из нашей “любезной” беседы на армянском языке, понесся в другой цех.

- Что случилось? – спросил Фридман.

- Ничего не понимаю, - пожимая плечами под мешком, промямлил я, - говорит, лицо у меня не фотогеничное.

- Да-а, техника! – протянул Фридман, не веря мне, но и не зная, что сказать.

А ровно через месяц после этого случая, когда мы проходили учебную практику в редакции республиканской газеты и нас знакомили с работой отделов, тот же фотограф долго изучал меня и наконец, не выдержав, спросил:

- Мы, кажется, где-то встречались?

- Аппарат разнесу, - прошептал я угрожающе и в то же время подмигнул ему.

Фотограф Завен долго бегал взад-вперед, заливался и еле произносил сквозь смех:

- А я-то... думаю... почему он не хочет... фотографироваться...

В приемной редактора ответственный секретарь и его заместитель растерянно вглядывались в макет нового номера газеты. Скорее всего, они только что вышли из комнаты редактора.

Я прошу секретаршу сообщить Сарьяну о моем приходе. Может, я не вовремя? Может, прийти попозже? Секретарша входит в кабинет и тут же выходит, оставив дверь открытой...

- Входите.

Редактор сидит за большим письменным столом и, положив руки на стол, читает материал. Лицо его спокойно, морщины разгладились. Одновременно он тихонько барабанит пальцами по столу, что является признаком хорошего настроения и того, что он поет про себя. Я даже могу сказать, что он поет, и это может сказать любой из его студентов. Однажды редактор признался, что очень любит и всегда в радостные минуты поет "Сарери овин мернем". Меня, конечно, радует, что у редактора хорошее настроение, но в то же время я с беспокойством думаю, что невольно испорчу ему настроение.

Редактор поднимает голову, улыбается мне и протягивает руку.

- Подойди, подойди, - говорит он, - здравствуй, садись. Твой фельетон наделал много шума, парень. Хорошо написал. Создана комиссия, проверяют. И милиция занимается. Но очень уж твердый орешек, видно, этот Везирян. Много защитников, все трезвонят, душу выматывают. Но это не имеет никакого значения. Получаем сотни писем, благодарят, поздравляют. Народ доволен, и это самое главное. Интересы народа – в первую очередь. Так что поздравляю тебя, сынок!

- Спасибо, товарищ Сарьян.

- Не за что. Что хорошо, то хорошо, а что плохо – плохо. Он встает с места и начинает ходить по комнате, подняв голову и заложив руки за спину. Вспомнив правила хорошего тона, я тоже пытаюсь встать, но он останавливается рядом со мной и пухлыми пальцами левой руки нажимает на мое плечо. Затем, глядя в окно куда-то вдаль, начинает говорить ласково и доверительно, и я снова с грустью думаю, что скоро невольно должен буду испортить ему настроение.

- Наша профессия – одна из самых благородных профессий на свете. Журналист! И заверяю тебя, журналистами не становятся, рождаются. Я говорю, конечно, о настоящих журналистах. Вот я преподавал вам, нет? Пустое. Кто должен стать – станет, а кто нет – того хоть десять лет учи. Да, да, не возражай. (А я и не пытался возражать). Это, конечно, не означает, что учиться не нужно. Наоборот, журналист должен знать все, все... Как клоун, - вдруг сказал редактор и, заметив, что я вздрогнул от неожиданности, засмеялся. – Не удивляйся. Это так. Ты в цирке не замечал? Фокусник выполняет свои сложные номера и удаляется, а за ним выходит клоун и запросто повторяет их. Он умеет одновременно и ходить по канату, как канатоходец, и подобно акробатам, совершить сальто, и подражать жонглеру и даже понимать язык зверей. Вот в этом самом смысле мы и похожи. Журналист должен знать все...

Тихонько звенит телефон, и редактор тут же оказывается у маленького столика.

- Слушаю. Да. Здравствуйте. Ничего. Да! Слушаю. Да! – его лицо начинает краснеть и покрываться морщинами. – Да-да! Но вы откуда? Да! Вас просто... - он долго молчит, далеко отставив трубку, из которого слышно громкое жужжание, будто туда залетела муха и ищет выхода из трубки, из маленькой дырочки. Муха замолкает на мгновение, и редактор спешит заговорить:

- Сейчас объясню... - и так как муха снова начинает жужжать, Сарьян повышает голос... - Послушайте, дорогой товарищ, у телефона два конца, по одному слушают, а по другому говорят. Если это вас не устраивает, выступайте по радио. До свидания.

Он еще рассержен, но в то же время как-то по-детски улыбается. Наверное, доволен своим ответом. И говорит, качая головой:

- Наверное, я поспешил, язык зверей не так-то легко понять, - потом снова улыбается по-детски. – Удивительное дело, - добавляет он, - сегодня ничего на меня не действует. Ничего. И знаешь почему? Отправил в типографию хороший материал. Только прочел – сразу настроение поднялось. Ни слова не изменил, ни запятой. Так обрадовался, словно сам написал. Очень хорошая статья. Два раза прочел, но завтра, когда напечатают, снова прочту. В печатном виде совсем другое дело. Хорошее становится еще лучше. Та-ак, товарищ Левонян, - по привычке протянул редактор, - так надо писать. А теперь перейдем к делу. А то времени нет. Университет окончил, да?

- Да, товарищ Сарьян.

- Ну, значит, кончай свои дела в райкоме, потому что мы решили взять тебя к нам.

Он снова встает с места и смотрит на меня, вероятно, ожидая выражений благодарности и удивления, которые обязательно были бы всего днем раньше. Один день! Но я молчу и не смотрю на него, и редактор думает, что я или не понял, или растерялся от радости.

- Без лишних церемоний скажу, что это для тебя большая честь. Очень большая честь. Я сам побывал в нескольких редакциях, пока достиг этого места. Да-да. Занимался черной работой. Работать в республиканской партийной газете – наивысшая честь для журналиста. Заруби это себе на носу, товарищ Левонян! Ты теперь должен будешь доносить до народа слово партии. Да. И потом – и потом, знай также, что больше нигде человек так быстро не находит признания, как в газете. Это вопрос тиража. Так что поскорее сдавай дела в райкоме. Если будут тянуть – поставь меня в известность. Впрочем, хочешь позвоню?..

Теперь я уже не могу молчать.

- Не нужно, товарищ Сарьян, я уже освобожден из райкома.

- Правда? Значит, нет никаких препятствий, - он смотрит на меня и, по-видимому, что-то замечает, потому что вдруг перегибается через стол, – погоди, как то есть освобожден?

- Меня сняли с работы.

- Сняли? Почему?

И мне вдруг все это кажется лишним. Чувствую, что не могу говорить. Как объяснить? Бюро продолжалось несколько часов, а я так до конца и не понял, почему меня сняли с работы. Как же теперь сказать это в нескольких словах? А если сразу заявлю, что за фельетон, может не поверить. Что сказать?

- Почему сняли, парень?

- Не знаю, - говорю я.

- Как то есть не знаешь? Что сказали?

- Сказали, что я пьяница, провалил работу, занимался антисоветскими высказываниями, нарушил дисциплину... - говорю я быстро и громко, снова чувствуя в горле спазмы.

Мне казалось, что он не поверит, решит, что я глупо шучу, даже рассмеется, но редактор сразу же поверил. У глаз его собрались морщины, он отодвинул стул и сел передо мной, растерянный и озабоченный.

- Так и сформулировали?

- Да.

- А факты у них были? Доказательства?

- Нет, Бадамян очень хотел снять меня и снял.

- А Бадамян что имел против тебя?

- Он друг Везиряна.

- Что? – удивился редактор, - откуда ты знаешь? – Потом он выслушал меня, прикрыв глаза и беззвучно барабанил пальцами по столу. – Да-а!.. Неприятная история. А о Везиряне не было ни слова?

- Я сказал об их дружбе, но никто не обратил на это внимания.

- Да-а!.. Неглупы. Но ведь там был не только Бадамян? Что говорили члены бюро?

Я усмехнулся и пожал плечами.

- Только один выступил в защиту, так что скоро и его вопрос будет обсуждаться.

- Да-а!.. Впрочем, что может сказать член бюро райкома, когда говорит первый секретарь горкома. Да!.. Неприятная история. Очень неприятная. Весь вопрос в том, что не можешь все это

прямо связать с фельетоном. Не можешь доказать. Хитро придумано. – Долго, до красноты он тер лоб. – Ну и что ты решил делать? Можешь оправдаться на бюро райкома партии?

- Не знаю, товарищ Сарьян.

- Ну что ты заладил “не знаю, не знаю”. А кто должен знать? – рассердился редактор, – за тебя в жизни никто ничего делать не будет, ни сейчас, ни потом. Это усвой твердо. Может, это и противоречит принципам, но это так. Ты обязательно должен оправдаться еще и потому, что не виновен. И потом, существует еще вопрос чистой анкеты. Это снятие с работы будет преследовать тебя всю жизнь. Да-да, даже в случае, если ты оправдаешься. На каждой ступеньке твоей жизни найдется кто-то, кто сочтет нужным покопаться в твоих документах и извлечет на свет божий этот факт. И пока проверят, найдут оправдывающие тебя бумажки, будет уже поздно. Это так. И, наконец, скажут: “Значит, что-то было, раз обсуждали и сняли с работы. Нет дыма без огня”. Этот “дым” останется на всю твою жизнь.

- Но что делать? Я, конечно, хочу оправдаться, но кто меня будет слушать? Должен пойти в горком, но меня снимал секретарь того же горкома, можно обратиться в ЦК, но секретарь горкома – член бюро ЦК. Кого же выслушают, кому поверят? Ему или мне?

- Мно-ого говоришь! Вселенная гибнет. Если ты прав, всегда найдешь защитников, может, поздно, но найдешь. А если ты не прав...

- Товарищ Сарьян, неужели вы тоже сомневаетесь? Если так, то я никуда не пойду. Будь что будет, потому что я хочу только, чтоб вы верили мне, только вы...

- Вот именно поэтому ты должен оправдаться. Эй, парень, душа моя, ты хотя бы только подумай, я ведь не могу принять на работу в нашу редакцию снятого с работы человека! Что скажут? Работник редакции должен иметь самую чистую биографию, без единого пятнышка.

- А разве я просил, чтоб меня принимали на работу к вам?

- Ну-ну, не позируй! Я хочу принять. Я! Садись, садись, говорю. Да, да, я хочу, но мне нужно, чтоб о тебе не было никаких разговоров. Понятно? На него посмотрите, позы принимает перед своим лектором... Конечно, я сейчас же позвоню секретарю вашего райкома партии, но...

- Не нужно, – искренне сказал я.

- А я тебя не спрашиваю, на него посмотрите!.. – Редактор раскрыл маленькую красную книжечку и набрал три цифры на диске красного телефона. – Алло, здравствуйте, Сарьян из редакции. Ничего, спасибо. У вас, в райкоме комсомола, работает один парень, Артак Левонян. Да, да, тот самый. Сейчас его прижали, что-то там затеяли. Да и я, честно говоря, подозреваю кое-что иное. Потом скажу. Поэтому и прошу вас лично выслушать Левоняна и заняться самому. С полной беспристрастностью. Спасибо, – Он повесил трубку, и хоть мне казалось, что он сейчас улыбнется, но не улыбнулся, а сказал строго, глядя на меня ставшими темно-синими глазами:

- Но если они окажутся правы, не появляйся мне на глаза. Иди.

Когда я выходил, к редактору вошли двое, и я услышал, что редактор говорит им:

- Удивительное дело. Сегодня ничто не может омрачить моего настроения. И знаете почему? Я послал в типографию хороший материал...

САМЫЙ ЗАСТЕНЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

На первом этаже я вдруг остановился и посмотрел вверх. Когда успел спуститься? Прошел три этажа, не чувствуя, что спускаюсь. Ничего не слышал и никого не замечал. На углу улицы снова остановился и посмотрел назад, потому что не чувствовал даже дороги. Ноги быстро двигались сами, и я был не властен над ними и продолжал идти, не зная куда. Улыбался мысленно, говорил с редактором, угрожал Бадамяну. У меня уже появилась надежда. Надежда! С удивлением вспомнил свою вчерашнюю трагедию и сегодняшнее отчаяние. Да что же случилось? Никогда не надо отчаиваться, никогда, откуда-нибудь обязательно забрезжит свет. Вот, кажется, ничего и не изменилось, я тот же выгнанный, что и вчера и два часа назад, но теперь все прошло, я чувствую себя легко, да и одежда моя, кажись, ничего. Значит, источник всего внутри нас. Снаружи могут бросить камень и замутить этот источник, но он все равно станет прозрачным, ясным, очистится, если его больше не тронут или хотя бы пообещают, что не разрешат другим сделать это. Источник всегда готов к очищению. Так не швыряйте камней, пожалуйста, не швыряйте камней, люди!

У гостиницы “Севан” собралась группа людей. Вначале мне показалось – приезжие, ищут пристанища. Но нет, в середине толпы виднеется голова одного из выдающихся юродивых нашего города. Он высок, худ, со включенными волосами и удивительно ясными глазами, а когда поднимает глаза, очень похож на Христа с иконы. Старухи, увидев его, спешат достать из каких-то тряпок деньги, положить к его ногам, на землю, и перекрестить его. Он не попрошайка, не протягивает руку за подаванием и не кладет у ног своих шляпы, и может, именно поэтому ему дают денег больше, чем другим. Он смотрит на людей ясными, чистыми глазами и не говорит ничего, ни слова. Но когда дают деньги, он закрывает руками лицо и тихо шепчет:

- Мне стыдно, мне стыдно! Ведь мне очень стыдно.

У него спокойный, мирный, ласковый характер, и люди, особенно пьяные, любят поговорить с ним, потому что он единственный в нашем городе, кто не отвечает ни на один вопрос, никогда не возражает и не спорит. А ведь многие хотят сказать что-то и хотят, чтобы их кто-то выслушал, выслушал и не ответил. Мог бы выслушать. Этот необыкновенный человек, кажется, создан, чтоб выслушивать других. Я часто видел, как кто-нибудь стоит перед ним и покачиваясь говорит:

- Да, брат джан, так вот случилось. А теперь мне говорят – уходи. Как уйти, скажи? Как уйти? Не говоришь, да? Да, так-то, братец. Трудно. Я знаю, что ты меня понимаешь...

А юродивый смотрит мирными, ясными, грустными глазами и ничего не отвечает. Но мне кажется, что, поговорив с ним, люди уходят с каким-то облегчением, как после исповеди. Они уходят, а юродивый смотрит на прохожих грустными и понимающими глазами и ничего не

говорит, будто окаменевший, пока кто-нибудь не положит деньги к его ногам. Тогда он сразу закрывает лицо и тихо шепчет:

- Стыдно мне, стыдно. Ведь мне очень стыдно.

Те, кто его не знает, услышав это признание, останавливаются и качают головами:

- Стыдно, так иди работать, почему попрошайничаешь? Роняешь честь города, другой бы сквозь землю провалился! И куда смотрит милиция, почему не забирает его, братцы?..

Но так как юродивый смотрит на них, они не выдерживают его невинного взгляда и спешат уйти.

Говорят, что у каждого города есть свой юродивый. Мне кажется, с этой точки зрения, мы обогнали все города. Число наших юродивых велико, и каждый из них знаменит по-своему. Конечно, их венец – это Карабала, этот сумасшедший обожатель цветов с лицом Хемингуэя, и поэт, певец цветов, который каждое утро объявляется в нашем городе с полной корзиной весенних цветов и медленно идет по улицам из дома в дом и из кафе в кафе, бесплатно и неожиданно раздавая свои цветы. Поднесешь стакан – выпьет, не дашь: - “Возьми, возьми цветок, мне за него ничего не нужно, ануш джан”, - скажет только.

Никто не знает его настоящего имени, не знает, откуда он приносит цветы и когда пришел в этот древний город. Говорят, что он пришел сюда с первыми цветами и уйдет с последними, потому что без Карабалы какие же цветы и весна?!

- Эй, эй! Я принес песню, песню!

Это Далуле. Он очутился в нашем городе во время войны. Во время войны огрубели песни, посуровели, стали маршами. Не время было для песен о розах и любви, это хорошо понимали оставшиеся в тылу руководители. Но Далуле был сумасшедшим. А с юродивого какой спрос? И так как сходили с ума и молодые девушки, они окружали Далуле, кормили его и просили петь. Нет, не марши, а песни о любви и розах.

И ходил Далуле по дворам, хлопал по своей изодранной военной шинели, хлопал по своим потрепанным ватным штанам, с силой ударял лаптями о землю и пел с улыбающимся лицом, сверкая глазами:

Я голубь сиротливый, я шип розы,

Далуле, далуле, далуле джан.

- Не эту, не эту, про яблочко! – шумят девушки.

И Далуле радостно хохочет и подмигивает им.

Брошу яблоко, чтоб завертелось,

Далуле, далуле, далуле джан.

Укушу в щечку, чтоб не забыла,

Далуле, далуле, далуле джан...

И хохочут, и плачут девушки, и бросают в его потрепанный, ободранный, пыльный хурджин свои порции черного хлеба...

Не знаю почему, я вдруг чувствую внезапную потребность подойти к похожему на Христа, стыдящемуся всего света юродивому, подхожу и вместе с другими смотрю на него. Он тоже смотрит на нас. Удивительные глаза у него: большие, голубые, влажные и ласковые – и в этих глазах есть какое-то сочувствие, понимание, такая глубокая чистота... Говорят, то ли Чингизхан, то ли Тимур-ленг специально держал лань: когда он, разъяренный, возвращался после кровавых битв и резни, подзывал к себе лань и долго смотрел ей в глаза, чтобы не сойти с ума, смотрел, смотрел и очищался. Мне кажется, что глаза этого юродивого похожи на глаза той лани. Только не понимаю, чего он стыдится, что случилось с ним за гранью сумасшествия, и почему он принес с собой в мир безумия только эти слова:

- Стыдно мне, стыдно мне. Ведь мне очень стыдно.

Много лет назад я как-то увидел в психиатрической больнице человека, который шагал из одного конца комнаты в другой, разворачивался, останавливался, строго смотрел и шептал:

- Негодяй!

Потом шагал в другой конец, останавливался и снова строго шептал:

- Негодяй!

И так весь день, пока его не укутывали и не укладывали спать.

- Кто он? – испуганно спросил я у знакомой медсестры...

- Он был полковником, - сказала она.

И я понял. Я представил себе, отчего он мог сойти с ума. А этого юродивого не понимаю. Впрочем, кто знает, может, он и был тем самым человеком, которого полковник на каждом шагу называл негодяем. Называл, и от этого сошел с ума. Откуда мне знать? А этот человек сошел с ума, потому что его называли негодяем. Кто знает? Говорят, каждый сходит с ума по-своему.

Сбоку, слегка толкая меня, продвигается вперед худощавый старик, подходит к юродивому и кладет в его карман какую-то мятую ассигнацию.

- Стыдно мне, стыдно мне... - закрывает руками лицо похожий на Христа человек.

- Не стыдись! – вдруг кричит старик, отходит назад и снова кричит, театрально разводя руками.
 – Не стыдись! Ты, наверное, единственный человек в мире, который не имеет права стыдиться. Больше нет стыда. Конец. Стыд ликвидирован, как класс.

Сейчас загадка решится, старик, наверное, знает этого человека. Я и остальные одновременно спрашиваем его:

- Кто он? Отчего сошел с ума? Кем был?

Старик удивленно смотрит на нас и отчего-то краснеет.

- Откуда я знаю, кто он, – снова кричит он, – человек, да! Но человек, который стесняется. Мне все равно, чего он стыдится, главное то, что ему стыдно, а мне не стыдно, тебе не стыдно, ему не стыдно, никому не стыдно, никому!

Он уходит, крича и ворча, а вокруг начинают злобно шуметь.

- Еще один псих, наверное.

- Да нет, просто напился старикашка. Интересно, где это набрался с утра пораньше?

Может, он и в самом деле был пьян. Вероятнее всего, был пьян, потому что на углу он остановился качаясь, но после его ухода тишина стала глубже, стало вдруг как-то труднее смотреть в невинные глаза стыдливого юродивого. Люди быстро разошлись, а он остался стоять, прижавшись во весь свой длинный рост к стене, подняв и наклонив голову вправо, уставившись в небо влажными глазами. Я вдруг почувствовал острый запах курящегося ладана, мне показалось, что я совсем маленький, и бабушка привела меня в церковь. Зажгла свечу, встала на колени на черный влажный камень и горячо молится, подняв голову и до боли сжимая мою руку, чтобы я тоже встал на колени.

- Стань на колени, на колени, дитя мое, – говорит она.

- Ну как же я встану, а? – плаксиво говорю я, – ведь я октябренок.

- Стань, говорю, чтобы тебе, октябренку, пусто было, – прокликает бабка, – господи, и этот малютка стал безбожником. – И потому, что я упорствую, начинает слащаво уговаривать, – стань, дитя мое, когда придем домой, дам тебе манпас, яблочек, стань, да перейдут на меня грехи твои, боль твоя. Ну, хорошо, хорошо, хоть возьми в руки свечку и зажги ее.

И я, соблазненный яблоками, монпансье, которое дошло до села Чоратан Шамшадинского района под названием “манпас”, изменяю организации октябрят и прикрепляю пахнущую медом горящую свечу к черному, блестящему, мягкому камню. И свет моей свечи бросает еще один луч на грустно поблескивающие иконы...

Я нащупываю в кармане две рублевки. Хочу дать обе этому странному стыдливому человеку, но вспоминаю, что голоден, очень голоден. Лучше дам одну, а вторую оставляю себе. Так будет

справедливо. Я кладу рублевку в его карман и быстро удаляюсь, чтобы не слышать, как он повторяет непонятное, ужасное воспоминание.

ПО ЗАКОНУ КУКОЛ

Контролерша кукольного театра не потребовала у меня билета.

- Поздравляю, - вдруг сказала она растроганно, пропуская меня, - такая девушка, как моя Нанар, принесет в ваш дом счастье.

- Спасибо, - отвечаю я.

- Мы ее очень любим, - сказала контролерша, поправляя шерстяную шаль, - я люблю ее как родную дочь.

- Хорошо, что как дочь.

- Почему? – изумилась она.

- Я очень ревнив.

Она засмеялась сперва тихо, потом во весь голос, отпустив шаль, она зачарованно смотрела на меня и продолжала от души хохотать, видя мое серьезное лицо. Наверное, приняла за сумасшедшего. Наверное, я сейчас чем-то похож на того несчастного, стыдливого Христа.

- Проходи в зал, - сказала контролерша со слезами на глазах, - прямо у двери есть свободный стул.

- Может, здесь подождать?

Ей все еще было смешно. Она хотела избавиться от меня, чтоб как следует посмеяться. Я знал, что потом она выйдет на улицу, будет громко хохотать, не в силах ничего объяснить прохожим, будет смеяться, бессильно разводя руками.

- Входи, входи, - прыснула она, - прямо у двери есть стул. – Она снова прыснула, прикрывая рот концом шали, но, испугавшись, что я обижусь, сказала, давась от смеха: - очень ты удивительный парень.

- Пожалуйста, не говорите Нанар ничего об этом, - приставив палец к губам, прошептал я, - она не знает, что я очень удивительный. Пусть это останется нашей тайной. Хорошо?

Контролерша замахала руками и выскочила на улицу, а я тихонько открыл дверь зала, ощупью нашел стул и сел.

Сцена полыхала светом, маленькие занавеси, сверкая, как языки пламени, тянулись вверх. Музыка звучала торжественно и величаво. Наверное, скоро спектакль кончится. Спектакли, в

каком бы театре они не шли, кончаются торжественно и величественно, причем горят все прожектора, софиты и фонарики. И все сверкает, пылает, блестит. Это так, люди любят, когда все кончается хорошо, когда добро побеждает зло, когда сверкают все огни. Тогда легко бывает возвращаться домой в темноте. Это тот случай, когда интересы всех совпадают. Те, кто хочет, чтобы зритель был оптимистом, чтобы сохранял светлую веру в будущее и мог переносить неприятности и заботы будней, достигают своей цели. А зритель, в свою очередь, не возражает, чтобы его немножко обманули. Ничего, лишь бы всегда побеждала правда, громко звучала труба справедливости, лишь бы хоть здесь, на сцене, в книгах все кончалось светло и мирно.

Два года назад я написал маленький, сентиментальный рассказ. В конце рассказа умирала мать героя. Я прочитал маме, она заплакала. Она плакала, а я торжествовал, значит, хорошо написал, если она плачет. Я ожидал оценки, а мама все плакала, а потом сказала сквозь слезы:

- Сынок, хорошо, только жалко эту женщину.

- Ну что мне делать, мама, - гордо улыбнулся я.

- И без того всю жизнь мучилась, страдала, зачем же ты ее убиваешь, сынок?

Я снисходительно усмехнулся.

- А что, если захочешь, разве не можешь сделать так, чтобы она не умирала? – доверчиво спросила мать.

- Почему не могу?

- Ну так и сделай, да?

- Но ведь получится не то, мама, это рассказ. Если она не умрет, ты не будешь плакать.

- А почему ты хочешь, чтобы я плакала? – грустно спросила мама, - мало я плачу?.. Весь этот мир - сплошные слезы, да!

Что я мог сказать? Ведь не мог же объяснить ей сущность темы, сюжета, идеи, в которых и сам не ахти как разбирался. И поэтому решил попытаться утешить ее.

- Мам, а ты не принимай так близко к сердцу. Это ведь неправда. Я написал, я тебе и говорю, что это неправда. Не все ли равно, умрет она или нет?

- Нет, - сказала мама, - если б была неправда, ты бы не допустил, чтобы она умерла. Грустной лжи не бывает...

А на маленькой сцене происходили большие события. Добрый и старый армянский царь, приложив руку ко лбу, нервно метался из стороны в сторону, разыскивая на дорогах своего сына Ари, который ушел на войну с врагом. А когда царь куда-то провалился в левом углу, справа объявился конный вестник. Он искал царя, но был достаточно умен, чтобы долго не

искать. Он просто-напросто подошел к краю сцены, нагнулся и сразу обратился к сидящим в зале маленьким зрителям:

- Дети, я вестник князя Ари, приехал сообщить царю, что его сын, наш доблестный и храбрый князь Ари, возвращается домой с победой. Не знаете ли, где царь? В какую сторону пошел?

- В ту сторону, в ту сторону! – зашумел зал.

- В какую сторону?

- Налево, налево! – дружно загудели малыши.

- В эту? – показал всем телом в противоположную сторону вестник.

- Нет, нет! – зашумели дети, - это правая.

- А, значит, левая эта? – показал телом в другую сторону гонец, - спасибо, мои маленькие друзья. Ну, я неграмотный человек, в школу не ходил, левую от правой не отличаю.

Вестник в конце концов нашел царя, и когда объявил ему о победе сына, до места доехал на своем богатырском картонном коне и сам князь Ари. Громко зазвучали трубы, загрохотали барабаны, а потом все, наклоняясь то налево, то направо и сильно качая головами, спели хриплыми голосами песню, в которой прославлялась победа справедливости и были слова прощанья с маленькими зрителями.

Опустился занавес, и зал погрузился в полумрак. Публика зашумела, заволновалась, прогрохотали аплодисменты, заскрипели стулья, дети стали звать своих матерей, нашли друг друга и, громко разговаривая, обмениваясь впечатлениями, прошли мимо меня взволнованные и раскрасневшиеся, унося с собой за дверь шум и веселье.

Зал сразу опустел, стал холодным, непривлекательным. И бессмысленным. Наверное, ничто не бывает так бессмысленно пусто, как обезлюдивший зал. Может, только еще и радиоприемник без батареек. Эта мысль мне понравилась, я извлек из кармана блокнот и стал писать.

- Артак, - услышал я вдруг голос Нанар.

- Я здесь, - сказал я, приоткрывая дверь и пряча блокнот. Но за дверью никого не было. Я высунул голову, но Нанар не было и в коридоре. В растерянности я оглядывался вокруг, когда снова раздался ее голос:

- Артак, я здесь.

- Где? - громко спросил я, продолжая искать ее глазами, - где, Нанар?

- Разве ты меня не видишь? – тихо рассмеялась она.

Я посмотрел в ту сторону, откуда доносился смех. Маленький лучик осветил занавес сцены, один из уголков его немного приподнялся, оттуда на меня смотрела серая кошечка с глазами-бусинками. Она одной лапкой терла мордочку, а другой махала мне.

- Иди сюда, Артак, мяу!

Я подошел, не зная куда смотреть: на кошечку, которая сейчас умильно виляла хвостиком, или на бархатный занавес, за которым, по-моему, скрывалась Нанар.

- Был у Сарьяна?

- Ага, - сказал я, стараясь все-таки разыскать Нанар. Очень трудно говорить с человеком, которого не видишь.

- Говорят не “ага”, а “да”, - смешно выставила мордочку кошка, - понятно?

- Ага, - сказал я.

- Что он сказал?

- Ну кончай, - рассердился я, вынужденно обращаясь к кошке, - выходи, поговорим нормально.

- Не могу, - опустив голову, пожаловалась она, - скажи сейчас, пожалуйста, Артак джан, очень прошу.

- Что сказать, - сдался я, - обещал помочь, позвонил секретарю райкома партии, тот не знал, очень удивился, сказал, что займется лично. Ну, выходи.

- А ты не пойдешь к секретарю райкома? – вопросительно задрала длинные усы кошечка.

- Нет, вероятно, сам вызовет.

- Теперь видишь, что все будет хорошо? А ты и нос повесил. Вай, вай, вай, что мне делать, как жить, вуй, вуй, вуй!..

Говоря это, кошечка дрожала, каталась по сцене, била себя лапками по голове и сверкала глазами. Не засмеяться было невозможно.

- А что, я должен был радоваться?

- Нет, но и не должен был падать духом. Надо было ходить вот так, вроде меня, задрав нос и пренебрежительно шипя. Надо было с легким презрением смотреть на своих обидчиков.

- Отсюда легко говорить, - обиженно сказал я, - особенно когда слушатели – дети.

- Ну ничего, ничего, не грусти, - сказала кошечка, хлопая огромными ресницами, - ну, ну, улыбнись. Все будет хорошо, малыш. Улыбнись, вот так. Скоро победишь, и мы вместе

спляшем, да? Они не дали нам потанцевать на нашей свадьбе, но мы еще потанцуем, да? Ты знаешь, как я танцую?

Нанар никогда не говорила со мной так свободно. Это было и необычно, и в то же время смешно. Она просто играет, пользуясь тем, что я ее не вижу. А что я могу сказать этой серой кошечке с блестящими глазенками, которая пляшет, вытянув мягкие лапки по краю сцены.

- Ты баловница, - сказал я, - ты просто-напросто избалованная кошка. Выходи, говорю!

- А ты меня любишь? – спросила кошечка и, честное слово, я увидел в блестящих бусинках ожидание.

- Ты меня с ума сведешь, - слегка рассердился я.

- Нет, скажи, любишь, любишь? – протянула лапки кошечка.

- Нет, - сказал я.

- А я тебя люблю, - сказала Нанар, - а я тебя люблю...

- Нанар джан, - сквозь смех сказал я обрадованно и покорно, - прошу...

- Минуточку. – Кошечка нырнула за занавес, и мне показалось, что прямо против меня, в стене раскрылась какая-то дверь и раздались шаги. Нанар, вероятно, вышла наконец. Но нет, вот опять дрогнул занавес и в углу появилась глуповатая мордочка серенькой кошечки. – Ты хотел мне что-то сказать, Артак? – приложив лапку к уху, спросила она.

- Слушай, - теряя надежду, повысил я голос, - хватит в куклы играть.

- Это кто угрожает Нанар? – раздался вдруг чей-то бас, и я от неожиданности повернулся. С другого конца занавеса на меня смотрел волк. При разговоре его челюсти шевелились и виднелась красная пасть. – Я тебя сожру!

- Не надо, товарищ Павлос, - засмеялся я, узнав знакомый еще с детства бас старого актера, - лучше сожрите Нанар. Мы законные супруги, а она отказывается идти домой. Ведь вы, обычно, пожираете с воспитательными целями.

- А Нанар тянет ради нас, - оказалась рядом с кошечкой лиса.

- Моя подруга Маро, - познакомила кошечка, и лиса кокетливо наклонила голову.

Я окончательно вышел из себя.

- Знаете что, молодой человек, ваш брак никогда не будет считаться законным, пока вы не женитесь по нашим кукольным законам, - сказал волк, - гражданин Артак Левонян, возьмите, пожалуйста, за лапку вашу невесту кошечку. Мы должны благословить вас.

Кошечка подалась вперед и протянула лапку, я со смехом отпрянул.

- Держите его, держите! – разинул пасть волк.

- Ну хватит, товарищ Павлос, - совсем растерялся я.

- Нет, нет, по нашему кукольному порядку, - сказал волк.

- Поспеши, брат, - зевнула лиса, - какой ты нудный жених.

Я не знал, что делать. Они были так искренни, что я боялся огорчить их отказом. Может, у них действительно так принято? Потом, кроме всего прочего, я тоже будто стал маленьким, и мне уже не казалось неестественным свидетели светлых сказок моего детства. Я смотрел на них блестящими глазами и терялся еще больше.

- Ну, - подстегнул волк.

Я взял мягкую маленькую кошачью лапку, которая на секунду задрожала в моей ладони. Потом кошечка другой лапкой погладила мои пальцы и тихонько положила головку на мою руку.

- Ура! – закричал волк. – Поздравляю!

- Спасибо, товарищ Павлос, - сказал я.

- Долгой жизни и счастья вам! –закричала лиса.

- Спасибо, спасибо, - повторил я растерянно, не зная, что еще сказать.

- А теперь, может, пригласите нас к себе? – сказал волк. – Я голоден, как волк.

- Конечно, конечно, товарищ Павлос, – сказал я, – но только выйдите, наконец.

Лиса и волк скрылись за занавесом.

Я облегченно вздохнул и захотел высвободить руку, которая все еще была в лапках у кошки, но Нанар не пускала. Смеясь, я стал тянуть кошку за лапку, и вдруг кукла осталась у меня в руке. Только на мгновение открылся занавес, и я увидел Нанар. В следующую секунду я поднял тяжелый бархат и снова увидел Нанар. Она одиноко стояла в центре маленького помещения и смотрела на меня смешливыми сверкающими глазами.

- А где остальные, - ошеломленно спросил я.

Она показала глазами на лежащих на стуле безжизненных волка и лису.

- Значит, все это была ты?

- Ага, - сказала Нанар.

Я долго смотрел на нее, не зная, что сказать, и сжимал в руке еще теплую серую шкурку маленькой кошечки.

- Прости меня, Арт, - вдруг сразу погрузнев, сказала Нанар, - я чувствую всем сердцем, что больше не буду играть. А я так хотела, чтобы ты видел, как я умею играть.

- Почему, с чего ты взяла?

- Не знаю, - сказала Нанар.

ГИБЕЛЬ СТАРОГО ГОРОДА

Разрушают наш старый город. В разные часы дня то здесь, то там вздымаются в небо огромные столбы пыли и, говорят, прилетающие в наш город люди, в ужасе и панике сгрудившись у маленьких иллюминаторов, ищут бомбардировщиков в ереванском небе.

Разрушают наш старый город. Война давно кончилась, но люди до сих пор не могут привести в порядок тылы, продолжают воевать теперь уже против голода и нищеты и против всего того, что называется последствиями войны. И вот, параллельно с фронтом по ликвидации проблемы хлеба происходят другие большие изменения, становится насущной необходимостью строительство предприятий легкой промышленности. Люди больше не хотят видеть серые и грубые ткани, им нужны высококачественные разноцветные, легкие и светлые одеяния, изящные, модные туфли на высоких каблуках и даже шляпы с широкими полями. Почему бы нет? Им нужны белоснежные крахмальные сорочки. Затем, согласно логике, выдвигается вопрос духовной пищи. Создаются веселые песни, поощряются даже нежные любовные стихотворения. Конечно, не так, чтобы узко личные, и, следовательно, малосодержательные, но любовные стихотворения, значит, писать можно. Профсоюзные организации перестраивают свои программы. При всех учреждениях, предприятиях и школах создаются кружки европейских танцев. Но чтобы не напоминать об отвергнутых в прошлом, несущих буржуазное влияние танго, румбе и фокстроте, эти танцы сейчас деликатно называются не европейскими, а современными. Те, кто не посещает танцевальные кружки, сейчас считаются отсталыми, и с ними долго беседуют на заседаниях профкома. И правильно делают. Каждый гражданин обязан уметь танцевать.

Пройди у любого большого здания в нашем городе и ты услышишь, как невидимый учитель танцев вдохновенно командует своим невидимым питомцам.

- Начали, помните, с левой ноги и... раз-два-три...

Как бы то ни было, перестройка продолжается. Предъявляют свои законные права и архитекторы с градостроителями. Они находят, что нельзя мириться с тем, что в центре города, рядом с многоэтажными новыми розовыми зданиями, ютятся и портят вид города оставшиеся еще со времен персидского хана жалкие глинобитные домишки. Правда, Еревану более двух тысяч семисот лет, но это не означает, что надо сохранять разведенную двадцать веков назад грязь. Столицу Армении надо застраивать по высшим нормам современного градостроительства.

И вот разрушают наш старый город.

Сотрясаясь, подобно разъяренному быку, машина вздрагивает, дрожит от внутренней силы, потом сразу срывается с места и с грохотом ударяет в толстую и хрупкую глиняную стену. А

стена давно готова рухнуть и ждет только случая, не возражает, не сопротивляется, беззвучно оседает, и только пыль надолго застилает окрестности. Каждый разрушаемый дом имеет своих зрителей, и среди них нетрудно узнать бывших домовладельцев. На их лицах – то радость, то грусть. Конечно, они получают новые квартиры, но все-таки трудно уходить оттуда, где прошло детство, а, может, и вся жизнь. Некоторые из них, скорее, растеряны, бегают взад-вперед, и просто не знают, что делать. Фасад дома уже рухнул, и видны комнаты с тремя стенами, на которых еще сохранилась краска, видны узоры, ободранные бумажные обои, белые следы от сорванных семейных фотографий и снятых маятниковых часов. Кажется, что смотришь на театральную декорацию, но когда эта иллюзия проходит, чувствуешь себя неудобно и подавленно, будто подглядывал исподтишка за чужой жизнью. Старик в потрепанной меховой шапке переходит от одной группы собравшихся к другой, обращая внимание людей на одну из полуразрушенных комнат, и сообщает как особо важную тайну:

- Видите ту стенку? Нет, нет, не эту, другую, да, да, ту, на которой видны бронзовые пальмы. Я ровно пятьдесят пять лет спал у этой стены. Да!..А над изголовьем моим был портрет моего старшего сына. Видите место, вон то...

Он ждет, что его начнут спрашивать, но никто вопросов не задает, и старик в потрепанной меховой шапке подходит к другой группе.

- Вон ту стену видите?.. – спрашивает он.

Но и здесь его не слушают, потому что начался куда более интересный разговор.

- Как только бульдозер – трах! – ударил в стену, вдруг – зиг! – со звоном выкатился бронзовый сосуд, – самозабвенно рассказывает парень в замасленном пиджаке тракториста. – Бульдозерист закричал: “Не трожь, это мое!” Но кто его послушает, ребята с криками набросились на сосуд. Смотрят, горлышко залито смолой, ну и давай ножами – чхк, да чхк! – не смогли открыть. В конце концов один ка-ак ударит топором... доньшко отлетело в сторону. Смотрим, а там...

- Что?! – воскликнули слушатели.

- Николаевские бумажные деньги.

Собравшиеся разочарованно засмеялись, а старик в меховой шапке, воспользовавшись удобной минутой, снова закричал:

- Видите ту стенку?.. – Он кивнул головой в сторону своего дома и так и застыл с раскрытым ртом. Машина бешено набросилась на дом, послышался треск, и пыль закрыла все кругом. Старика, которого до сих пор никто не слушал, кто-то спросил:

- Которую стену, дядя?

Старик не ответил. Он продолжал смотреть туда, где только что стоял его дом. И откликнулся только, когда вопрос повторился.

- Нет, ничего, я так...

- Как то есть ничего? - почему-то разозлился спрашивающий.

А старик хотел сказать.

Он хотел сказать, что там только что была стена, что на стене в прошлом году маляр нарисовал бронзовые пальмы, что у этой стены он спал пятьдесят пять лет. Но не сказал, ибо больше не было ни бронзовых пальм, ни стены. Ничего не было. И все эти исчезнувшие вещи сложились и стали домом, которого тоже не было. Так, что же он мог сказать?

- Вон там, - сломленным, жалким голосом произнес старик, - только что был дом. Это был мой дом.

- Да! – сказал человек.

- Артак, - обратился ко мне Манук, - ты находишь сходство между мной и этим бульдозером?

- Послушай, что случилось? – засмеялся я. – Последнее время ты сравниваешь себя с чем попало.

- Не знаю как ты, а я нахожу, - продолжил Манук, - и эти рушащиеся стены загадочным образом напоминают мне Везирияна и Бадамяна. По-твоему, чем я был занят эти пять дней?

- Ссорился с Нвард.

- Это в перерывах. А в основном?... Занимался расследованием. Ты знаешь, что я приступил к работе в прокуратуре следователем? Итак, значит, знай также, что, кроме своей основной работы, я занимаюсь частной практикой и без ложной скромности должен сказать, что я гениальный следователь.

- Не сомневаюсь, - сказал я.

- Попрошу без издевки, - сказал Манук, - буду говорить фактами. Так ты говоришь, сколько детей у Везирияна? Не знаешь? А вообще есть ли они у него? Нету, дорогой, нет у него детей. Но взамен у него две автомашины, одна на имя жены, другая – тещи. Великолепное поколение женщин-шоферов. У него два особняка, один на свое имя, другой – на имя жены. В первом кое-как размещаются он, жена, теща и домработница. А кто живет во втором? Не знаешь? Даже представить не можешь. Второй особняк занимает наш общий друг Каро Бадамян. Шах!

- А что в этом такого? – ничего не понял я.

- Доказательство, что они близки.

- Он может сказать, что живет по найму.

- Не может. Этот особняк ему подарила супруга Везирияна. Мат!

- Подарила? Просто так?

- Просто так никто никому ничего не дарит. Тем более – особняк. Времена графа Монте-Кристо прошли, хотя и он просто так не расточительствовал. Сейчас дарственные производятся следующим образом: либо обеим договаривающимся сторонам выгодно изображать дарственную, дабы впоследствии не пришлось давать объяснения, откуда приобретена или что сделано со ставшей средством торговли огромной суммой, или же дарственная производится в ответ на оказанные большие услуги в качестве взятки недвижимым имуществом, что соответствует второй части статьи 144-й уголовного кодекса Армянской ССР.

- Значит, по-твоему...

- Я только излагаю факты. Дополнительно могу сообщить, что Везириан разоблачается не в первый раз. В предпоследний раз о его махинациях был сигнал за три месяца до того, как Бадамяну был подарен особняк, или, точнее, ровно четыре года назад. Однако комиссия по расследованию нашла, что ничего особенного нет, что приведенные в сигнале факты умышленно раздуты и искажены. Комиссия сделала вывод, что Везириана можно оставить на той же работе и ограничиться устным выговором. И еще одна маленькая деталь – комиссию возглавлял Каро Бадамян.

- Не может быть! Он не такой наивный!

- Везириан тоже не наивный. Поэтому он и оформил особняк на имя жены, с которой в официальном браке не состоит, и эта самая жена, в свою очередь, подарила дом жене Каро Бадамяна. И концы в воду.

- А как ты раскопал?

На губах Манука появилась такая ухмылка, что ей позавидовал бы сам Шерлок Холмс. А я дрожал. Месть! Месть! Месть! Кто бы мог подумать, что это удастся так быстро. Неужели это возможно? Месть!.. За мои бессонные ночи, за мои полусумасшедшие монологи, за исчезающую веру, за болезненно сжимающееся сердце. Ведь я не спал целыми сутками. Не было ни секунды, чтобы я, оставаясь наедине с самим собой, мог думать о тысяче разных вещей, как это делают другие люди. Каждый раз перед глазами вставал кабинет Саркисяна, и Бадамян, Везириан, Партев, Беник. Каждую секунду я дрался, спорил, убеждал, просил, смеялся, плакал, кричал, жаловался, и все это в уме, в мыслях. “Ты еще долго будешь чувствовать меня рядом”, – сказал мне тогда Везириан. А теперь не только он, они, все они рядом со мной, и невозможно убежать, избавиться от них. Я ходил по улицам, невольно останавливался и спорил с ними, садился в трамвай и спорил, здоровался со знакомыми и спорил, обедал и спорил, ложился спать и спорил, и спорил... Месть, месь, месь! “Ешь, обед остывает”, – вздыхала мама, а я смотрел на нее и говорил Бадамяну: “Ты подлец, подлец!”; “Хочу взять отпуск”, – говорил отец, а я, задыхаясь, просил: “Месроп джан, хоть ты поверь мне”; “Видите ту стенку?” – спрашивал старик в потрепанной меховой шапке, а я плакал и протягивал руки: “Нет, нет, ребята, прошу вас, не голосуйте...”; “Мне стыдно, ведь мне очень стыдно”, – бормотал нищий с лицом Христа, а я смотрел на него и говорил: “Мне тоже стыдно. Хочешь, я стану рядом с тобой, потому что

мне тоже стыдно. Ты счастлив, ты сумасшедший, ты можешь говорить, а я стыжусь говорить, как мне стыдно”... Месть, месть за нашу грустную свадьбу, за сдерживаемые стенания моего отца, за неискренний смех Нанар и ее искренние слезы тайком.

Мы довольно далеко ушли от места, где поднимались столбы пыли и разрушали наш старый город. “Ножи точу, ножи, ножницы”, – выкрикивает кто-то голосом муэдзина, созывающего с минарета мусульман. Под землей, в открытом люке переругиваются работники телефонной сети. Я вдруг обнял Манука и крепко стиснул его.

- Что случилось, эй? – засмеялся Манук.

Он знал, что случилось. Его глаза блестели от счастья. Он действительно был похож на человека, успешно прошедшего следствие. А я смотрел на него и думал, какая все-таки хорошая вещь жизнь. И думал еще, что все в мире имеет какую-то цель. Если б не было этого организованного против меня заговора, кто знает, представился бы мне когда-нибудь случай убедиться, какой настоящий друг мой Манук. Говорят, друзья познаются в беде, в решающие минуты жизни. Так оно и есть. Я узнал Нанар, Нвард, Манука, Месропа, потом еще многих других. Еще издали завидев меня, кто-то из моих друзей переходил на другую сторону улицы, и я с грустью распознавал его. Неожиданно столкнувшись со мной, другой спрашивал, отводя взгляд: “Как ты?”, и, не слушая, что я говорю, добавлял: “Ну прости, я спешу”, – и я распознавал еще одного. Сейчас все они вернутся, придут, будут ходить по одной со мной улице...

- Но это же победа, Манук!

- Конечно. Этого удара они не выдержат.

- И это все ради меня?..

- Не только ради тебя, – сказал Манук, – это ради нас. Мы не должны разрешать, чтобы с нами обращались, как им вздумается. Мы уже взрослые. И потом, честное слово, это был мой экзамен, хотел проверить, на что я способен.

- Кто знает, как ты намучался!

- Что правда, то правда. Хорошо поработал. Но какая у него теща, знаешь? Если в этом Везиряне есть хоть капля порядочности, он должен поставить ей бронзовый памятник. Типичная партизанка на допросе: “Не знаю, не слышала, не скажу”. Управдома рядом с ней ничто, хотя и ей пришлось чуть ли не в любви объясняться, пока дала справку.

- Значит, ты даже справку взял?

- Удивляюсь, почему ты все время забываешь, что имеешь дело со следователем?

Я закурил папиросу, и от первой затяжки, как всегда, слегка закружилась голова. Вот и победа. Жаль, что сегодня воскресенье и я не могу хоть издали показать эту справку Каро Бадамяну. Показать и посмотреть ему в глаза, показать и расхохотаться, показать и крикнуть его голосом:

“Признаете или нет?” Интересно, как он себя будет вести? Вначале, конечно, побледнеет, потом станет лебезить и улыбаться, напомним, что мы почти родственники, скажет: “ты мой младший даи” и попросит простить, забыть. Простить, забыть!.. Но разве это можно когда-нибудь забыть? Нет, лишь бы он не стал жалким, лишь бы кричал, угрожал, опровергал, говорил, что это клевета. Тогда я знаю, что мне делать. А если он станет жалким, я скорей всего сжалюсь. Но я не хочу прощать его, нет!

- Когда я был маленький, - сказал я Мануку, - однажды обидел брата, и он хотел меня побить. Я спрятался за спиной мамы, вцепился в ее подол, а он непрерывно нападал. “Пусти, пусти!” – говорил он маме, - я должен его убить”. И вдруг мама, разъяренная и уставшая, вытащила меня из-за спины и подтолкнула к Бабкену: “Ну убивай, - сказала, - убивай. Будьте вы оба прокляты”. Мама была моим оплотом и надеждой, а тут и она отринула меня. Я стоял перед Бабкеном, потеряв надежду и готовый ко всему, подобно жертвенному ягненку, и ждал, что он меня изобьет. А он не бьет, стоит и растерянно смотрит на меня. “Ну убивай, э, - говорит мама, - что ж ты не убиваешь?”. “Да как убить? – захныкал Бабкен, - он не убегает, э! Ну скажи, пусть бежит...” Сперва гордо и счастливо засмеялась мама, потом Бабкен, а за ним и я. А потом мы обнялись и смеялись уже вместе.

- То есть? – улыбнулся Манук.

- Если он раскается, эта справка нам больше не пригодится, - сказал я.

- Ты удивительный человек, - обиженно сказал Манук, - тебя подло, бесчеловечно хотят уничтожить, а ты разыгрываешь христосика. И потом, у человека должны быть принципы. Что ты в них хочешь простить? Один – преступник, а второй – укрыватель, который по первому же поводу готов вычеркнуть невинного человека из жизни. Тут ведь дело не только в тебе. Таких людей надо наказывать во имя всеобщих интересов. Это вредные люди, если б была моя воля, я возбудил бы против них уголовное дело.

- Но на Везиряна уже заведено дело, нет?

- Да, но он преспокойно ходит по городу, пирует, старается бывать на людях. Например, был на встрече наших и китайских баскетболистов, чтобы показать, что ничего не случилось, что он невиновен и скоро в газете появится опровержение. А ты говоришь – “простим”...

- А откуда ты знаешь о встрече?

Манук покосился на меня.

- Когда я занимаюсь чем-нибудь, то занимаюсь основательно. У меня для тебя еще один сюрприз, хоть ты, как видно, этого не заслуживаешь. Смотри.

Он достал из кармана и протянул мне маленький фотоснимок. Это был снимок со стадиона во время встречи. Во весь кадр были аплодирующие люди. И вдруг среди многих голов я заметил две. Они сидели рядышком, один наклонился к другому и смеясь что-то говорил ему.

- Не понимаю, - сказал я в недоумении, - рядом с Везиряном Саркисян, но это невозможно. Он все же не такой человек. Если б они были близки, он сказал бы мне.

- А разве я утверждаю, что они близки? Я только собираю факты.

- Ну хорошо, а как ты раздобыл снимок?

- Это пустяки, брат. Задача для первокурсника. Если бы ты был немного повнимательнее, то обнаружил бы в углу снимка и мою прекрасную голову. Видишь? Молодец! Я заметил, что нас снимают. Сразу после игры подошел, узнал, что это фотограф газеты "Авангард", сказал, что он случайно снял и меня, и попросил сделать девять экземпляров снимка.

- А почему именно девять?

- А разве членов бюро райкома партии не девять?

Некоторое время я молча, с удивлением смотрел на Манука. То казалось мне, что я полностью понимаю его, то совсем не понимаю. Конечно, он рад, что фактически сумел спасти товарища. Целыми днями думал, строил планы, метался туда и сюда, проверял факты, разговаривал с людьми, будучи твердо уверенным, что я просто жертва. Конечно, его вдохновляло и то, что он впервые занимался своим профессиональным делом, и когда, в конце концов, достиг успеха, еще больше вдохновился. Я знал, что он честный и смелый человек, он всю жизнь доказывал это. Меня смущало только одно: его твердая решимость и черствость, неразборчивость в средствах, и вместе с этой решимостью его легкий, шутливый тон, в частности, по отношению к людям, которых ожидают неприятности и удары. Неужели все это обусловлено профессией? Не понимаю.

Мы проходили мимо пивного ларька, и я вдруг почувствовал, что в горле пересохло.

- Не выпить ли нам пивка, Манук?

- Выпьем, - согласился он.

Мы взяли две кружки пива и зашли за ларек. Там лежали пустые ящики, а вокруг валялись остатки воблы и высохшая колбасная кожа. Одним глотком я осушил почти пол-кружки и посмотрел снизу вверх на Манука.

- Я прошу, прежде чем ты начнешь ругаться и называть меня неблагодарным, - сказал я, - подумай, не боишься, что невольно пойдешь путем своего отца?

Он будто ждал этого вопроса, потому что усмехнулся и сразу ответил:

- Боюсь, и именно поэтому никогда не пойду по его пути.

- Ну так давай мне эту справку и снимки, - попросил я, - я очень благодарен тебе, Манук джан. Может, нам не идет сентиментальничать друг с другом – в конце концов, мы питомцы

бригадира грузчиков Гаспара, но будь уверен, что я сделал бы и сделаю для тебя все, что ты сделал для меня. И довольно. Дай мне эту справку.

Я хотел объяснить ему то, что, казалось, чувствовал и понимал сам, но не мог выразить словами. И поэтому говорил долго, длинно и получилось ужасно напыщенно. Я говорил ему, что если бы знал этот факт до бюро, обязательно обнародовал бы его. Но сейчас – другое дело. Получается, что я не могу опровергнуть выдвинутые против меня на бюро обвинения и поэтому пытаюсь очернить Бадамяна, выискиваю темные пятна в его биографии. То есть поступаю так, как они поступили со мной. То есть все мы одинаковы. А я не хочу быть таким. Не могу. Самое большее, я покажу эту справку Бадамяну, и, может, скажу пару слов. А может, и не скажу ничего. Вот и все. А снимок – это просто случайность.

- Без этой справки не выйдет, - рассердился Манук, - что ты мечешься? Или ты должен доказать, что тебя сняли за фельетон, или вообще не выходи на улицу, потому что надо же иметь хоть каплю стыда.

В глубине души я давно был уверен, что Манук прав. Другого выхода не было. Но что я мог поделаться, если с появлением этого документа вся накопившаяся во мне злость исчезла. Будто все уже знали, как все произошло, и это меня полностью удовлетворяло.

- Ладно, - сказал я, - пусть пока останется. Только обещай, что никому не покажешь, а, Манук? Я задумал одну вещь.

- Что?

- Послезавтра скажу, честное слово.

Манук рассмеялся, встал с пустого ящика, подошел к полуоткрытой задней двери ларька и тихонько сказал:

- Два стакана белой, - потом вернулся с двумя стаканами водки в руках и протянул один мне.

- Выпьем, и я скажу тебе свою тайну.

Мы выпили, запили пивом, и Манук сказал:

- Знаешь, Артак, ведь я тебя давно знаю, знаю, как облупленного. Когда я утром вызвал тебя и хотел рассказать о справке, точно знал, что ты обнимешь меня, скажешь “брат мой”, скажешь “ты меня спас” и “я никогда тебя не забуду”. Поверь, я это точно знал. Слушай, давай выпьем еще по стаканчику, а?

- Выпьем, - сказал я.

И мы выпили еще по одному стаканчику водки.

- Потом? – напомнил я.

- Потом, братишка, я ведь тебя хорошо знаю, да? Я по твоей линии отличник. Точно знал, что через пару часов ты снова обнимешь меня: мол, давай покончим с этой справкой, мол, давай не будем делать зла людям. Разве я не прав? Не так получилось?

- Ладно, дальше?

- А потом то, что я и себя хорошо знаю и, будучи твердо уверен, что в конце концов ты одолеешь, и чтобы потом не жалеть, я вложил эту проклятую справку в красивый конвертик и вчера отправил твоему редактору Сарьяну, а копию – секретарю райкома партии.

- Что?

- Все! Я пьян и больше ничего не понимаю. Может, еще по стаканчику выпьем и разойдемся навсегда, а? Ну, давай, разводи пальцы.

- А кто тебя просил вмешиваться в мои дела? – закричал я, - почему ты без меня...

- Ладно, ладно, больше не буду вмешиваться, - грустно покачал большой головой Манук, - но ты разрешишь хоть издали любоваться, как тебя будут кушать?..

- Ну и пусть съедят, черт с ними, - беззлобно и устало сказал я. Водка начала действовать, в груди разлилось приятное тепло и разъяренный рой загудел в голове, - лучше, чтоб тебя кушали, чем ты других. Это, кажется, чужие слова, но ты воспринимай так, будто это мое открытие. Впрочем, может, я и открыл, кто знает? В конце концов, пока не почувствуешь, что тебя хотят съесть, подобного открытия не сделаешь.

- Ради бога, не говори о еде, я умираю с голоду, - сказал Манук, и я почувствовал, что он тоже пьян. Он встал, подчеркнуто прямо подошел к киоску и вернулся с двумя стаканчиками водки и несколькими пирожками. – Пирожочки, пирожочки, - засмеялся он, - аж окаменели от удивления, что их не едят. Им, наверное, годика два. Настоящее холодное оружие, если ударишь острым концом – никакого спасения! Эх, пирожок, пирожок, а ведь всего пару лет назад как мы тебя любили, как мечтали о тебе, тосковали без тебя, сочиняли песни. Тогда ты назывался “перашки”.

*О перашки, перашки, каждый раз
Ты отрада студенческих глаз...*

- Манук, ты отправил письмо без подписи? – спросил я.

Манук улыбнулся, отрицательно покачал головой.

- Как ты хочешь, чтоб я оказался подлецом... Нет, товарищ Левонян, я подписал письмо, как положено, указал место работы, адрес, номер служебного телефона, очень хотел написать и номер домашнего, но пока у меня нет ни дома, ни телефона. Как только получу, сообщу дополнительно. Кончили? Впрочем, нет, не кончили, - он достал из кармана и швырнул передо мной на ящик стопку фотографий со стадиона.

Я взял один из снимков и сердце вновь наполнилось горечью. Как они отравили мою жизнь, о чем мы говорим, чем занимаемся! Чего бы не дал сейчас Бадамян, чтобы увидеть нас здесь, за пивным ларьком, пьяными, сидящими на пустых ящиках среди отбросов, остатков колбасы и рыбьих костей со стаканами продаваемой из-под полы водки в руках. Он бы, конечно, немедленно приказал сфотографировать нас и через два дня на бюро райкома партии победоносно потрясал бы этими снимками. Отснял бы, обязательно отснял, и не в девяти, а в ста экземплярах, отснял бы, как Манук поручил отснять этого беднягу Саркисяна рядом с Везирином. Они - нас, мы - их, они - нас, мы - их. И вот мы уже похожи друг на друга. Мы одинаковы. Со стороны не поймешь, кто начал, кто виноват. Со стороны скажут: "Ну ладно, кончайте, стыдно; скажут: что было— было, забудьте; скажут: и тот виноват, и другой! Вот почему я не хотел бороться и побеждать. А Нанар не понимает, говорит: "Ты должен победить". А Манук помогает мне победить. Как отравили мою жизнь!

Я разорвал снимки на куски и швырнул под ноги. Манук тихо, пьяно засмеялся и сказал, заикаясь:

- Я тоже... понял, что не стоит, и п-поэтому не отправил. Я ведь тоже п-пока честный человек. Давай выпьем за наше честное здоровье, п-пока не поздно.

В глазах у меня все плыло, плыло, извивалось. Я смотрел под ноги, на клочки снимков, и мне казалось теперь, что их много, очень, бесконечно много, и на каждом снимке аплодирует и смеется Везириан, и на каждом снимке он наклоняется и шепчет что-то Саркисяну. Что он говорит Саркисяну, что? Наверное, радуется, что и такого честного человека, как Саркисян, сделал подобным себе. Наверное, говорит, что по его просьбе Бадамян выдвинет его, сделает секретарем горкома. И как радостно смеется! Смейся, смейся, смейтесь, смейтесь!.. Снимки кружились, кружились непрерывно, как этикетки на пластинке, и я уже не различал лиц, а только черные тени, которые наплывали и отдалялись, наплывали и отдалялись. Я слышал только смех – невыносимо долгий и звериный.

– Не выпить ли нам еще? – спросил Манук.

– Выпьем, – сказал я, – твое здоровье, Манук.

– Останемся людьми, – сказал Манук.

Мы выпили этот стакан медленно, неведь почему глядя друг другу в глаза. Потом я почувствовал, что он что-то напевает. Прислушался, но ничего не понял.

– Это что ты говоришь, Манук?

– Декламирую. – сказал он. И вдруг закричал охрипшим, густым голосом: - Мы все, все сирые дети⁹ – потом замолчал и опустил голову.

⁹строка из стихотворения Вагана Терьяна.

– Продолжай!

– Манук поднял голову, и в его больших, потускневших глазах уже стояли слезы. Я ждал, что он снова закричит, но он потупился и произнес дрожащим, прерывистым шепотом:

– *“Мы все, все несчастные дети...”*

МЫ – ГРУЗЧИКИ

Еще издали я заметил, что у входа стоит Татос-пет.* (начальник)

На нем была та же зеленая гимнастерка и заправленные в сапоги с высокими голенищами широкие кавалерийские штаны, а на лице навечно застыло выражение “Никуда вы от меня не денетесь”. Его не любили почти все, и причина была не в том, что он обыскивал людей. Нет. Выходящих с завода проверяли все вахтеры, но в его ищущих движениях было что-то очень оскорбительное. Когда его пальцы ощупывали карманы моего плаща или пиджака, мне казалось, что по голому телу ползают дождевые черви. Ему все время объясняли, что нет необходимости ощупывать людей, что это консервный завод, и если кто-нибудь захочет отсюда что-нибудь вынести, то это будут либо фруктовые, либо овощные консервы, а не, к примеру, бриллианты. Но он продолжал ощупывать людей, подтверждая этим слушок, что во время войны был надзирателем в каком-то лагере. Он тоже заметил меня и ждал приветствия. Но я сухо спросил:

- Вы вахтер?

Татос-пет посмотрел на меня с обидой и сомнением, но потому что мое безмятежное лицо ничего не говорило ему, бросил сквозь зубы:

- Я начальник охраны.

- Ну это все равно, - сказал я высокомерно, - мне нужно кое-что проверить у вас. Я из редакции.

Он долго рассматривал мое корреспондентское удостоверение, держа его довольно далеко от глаз и беззвучно шевеля губами, потом поднял голову и посмотрел на меня.

- Что, есть что-нибудь подозрительное? – ехидно осведомился я.

- Нет, нет, - сразу ответил он, поспешно возвращая мне удостоверение.

Он колебался. Явно чувствовалось, что ему нестерпимо хочется задать вопрос, но он не осмеливается. В конце концов любопытство пересилило.

- Говорю, ваше лицо очень знакомо.

Я пожал плечами:

- Не думаю, чтобы я вас где-нибудь видел.

- Говорю, на нашем заводе, э-э... - Он, наверное, хотел сказать “грузчиком”, но не рискнул. - Не работали?

- С чего вы это взяли?

- Да нет, просто спрашиваю, - снова обиженно сказал он, - простите. Канцелярия направо.

Я медленно открыл дверь проходной, точно зная, что он снова обратится ко мне, чувствуя на затылке ошеломленный взгляд Татоса-пета и еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться...

- Товарищ, товарищ! – прозвучал его голос.

Я обернулся и недовольно нахмурился.

- Говорю, есть ли у вас брат?

- Есть, - сердито ответил я, - начальник управления милиции, а что?

- Нет, нет, ничего, - качая головой, сказал он тонким голосом, - Говорю – простите.

Я бросился на заводской двор и вволю посмеялся. Вот тебе, осьминог, за все твои ощупывания и обыски. И сразу забыл Татоса-пета. Заводской двор был таким же, как год назад, наверное, изменились только фотокарточки на Доске почета. Вдали, под высоким навесом, были расставлены, словно фишки лото, пузатые бочонки с джемом и повидлом, их пустые собраты принимали чуть поодаль паровые ванны и скатывались один за другим к фруктовому отделению. Слева, из полуоткрытых ворот овощного отделения валил густой пар, распространяя по всему заводу тот своеобразный запах, который невозможно забыть, если хоть когда-нибудь работал на консервном заводе. Утром я почувствовал именно этот запах, когда заведующий промышленным отделом сказал, что по поручению редактора я должен отправиться на консервный завод проверить небольшое дело.

Вот и мой завод. Как быстро пролетел год.

* * *

... Это было ровно год назад. В дни летних каникул.

Манук не появлялся несколько дней. Потом вдруг объявился, с шумом уволок меня из дому, сказал, что расскажет удивительные вещи, что он потрясен, изумлен, сказал, что до сих пор ничего не видел и не понимал в жизни. Его глаза блестели от восторга, на мои вопросы он не отвечал, а только тряс головой и издавал какие-то бессмысленные восклицания. Я не выдержал:

- Хорошо, что случилось?

- То есть как? Я все рассказываю, а ты до сих пор ничего не понял? – засмеялся Манук. – Я работаю на консервном заводе.

- Юрисконсульт?

- Грузчиком.

Он это выпалил сразу и теперь посматривал на меня сбоку такими смеющимися глазами, будто ждал, что я с воплями радости брошусь ему в объятия.

- Свихнулся, что ли?..

А на следующее утро мы с Мануком уже шагали по направлению к консервному заводу, и он давал мне последние советы:

- Главное, не волнуйся. Держись независимо. Если спросят, есть ли расческа, говори – нет. Это ловушка. Они не выносят людей с расческами. Говорят – пижон. Особенно старайся понравиться Гаспару. Знаешь, какой парень, взвалит на плечи два стокилограммовых мешка и бежит себе. Да, чуть не забыл, разговаривая с ними, выпячивай грудь. – Тут Манук выпятил свою узкую грудь. Это было очень смешно, но я не засмеялся. Я действительно был взволнован.

А Гаспар оказался действительно таким, каким описал Манук. Это был высокий молодой человек с длинными мускулистыми руками, со смуглым, обветренным лицом горца-сасунца и строгими глазами. С него можно было рисовать Давида Сасунского, или, вернее, Мгера-младшего, потому что он ходил так легко и осторожно, будто боялся, что земля не выдержит его. Но Манук, по-видимому, перехватил в одном: из кармана его пиджака торчал конец расчески. Впрочем, кто знает, может, это провокация?

- Этот? – прогрохотал Гаспар, указывая глазами на меня, и студент пятого курса юридического факультета университета Манук Ширинян с покорной улыбкой кивнул.

- Ты кто? – спросил меня Гаспар.

Я не понял, в каком смысле задан вопрос, и беспомощно посмотрел на Манука.

- Спрашивает о профессии, - перевел тот, - говори, говори!

- Журналист, - сказал я.

Гаспар посмотрел на меня взглядом, в котором сквозило – “вот и попробуй выполнять план по переноске грузов с этими журналистами да юристами”. Потом осмотрел нас внимательнее, как, наверное, осматривали на невольничьем рынке в Алеппо чернокожих рабов, и, похоже, остался доволен, так как повернулся и направился к складу сахарного песка. Манук ободряюще подмигнул мне, и мы последовали за бригадиром Гаспаром.

На длинном и просторном складе сахарного песка двое грузчиков не спеша укладывали какие-то мешки на железную тележку, и по описаниям Манука я сразу узнал Маркоса и Азата. Маркос был крепкий коротышка с покатою спиной профессионального грузчика. Азат казался рядом с ним ребенком. Пока Гаспар и Манук переодевались, мы познакомились. Оба сняли войлочные рукавицы. А еще через несколько минут мои новые знакомые уже раскачивали мешок, чтоб взвалить мне на плечи. Экзамен начался. Мы по рельсам довели полную сахарного песка

тележку до отделения. Рельсы отсюда вели дальше, в отделение, а мешки надо было перенести направо, к цеху сахарного песка. И нести надо было на спинах. Прямо под нашими ногами, поднимая клубы пара, текла река горячей воды, которую мы впоследствии нарекли Гольфстримом. Я должен был переправиться через эту реку по двум наклонным доскам, пересечь сухой отрезок пути до здания, войти в здание, подняться по железной лестнице, сделать еще несколько шагов и сбросить мешок у огромного котла, в котором бурлил кипящий сироп.

- Ну! - воскликнул Гаспар.

Маркос и Азат не промедлили.

- Раз-два, взяли! – откликнулись они и закинули качающийся мешок мне на спину.

В мешке было сто килограммов песку: от сырости на складе он слежался, окаменел. Один из комков сильно ударил меня по позвоночнику, и я на мгновение потерял сознание.

- Дыши глубже, дыши глубже! – откуда-то издали донесся до меня сочувствующий голос Манука.

Я глубоко вдохнул и еле разглядел длинные доски, перекинутые через горячую реку. Значит, надо пройти по ним. Я крепко зажал в пальцах концы мешка, несколько раз мысленно прошел этот путь, пока сделал первый шаг. Потом остановился. Ноги дрожали, готовые в любую секунду подкоситься, шея нестерпимо болела, челюсть вдавилась в грудь, перед глазами появлялись и исчезали черные круги, снова появлялись и кружились, кружились, кружились как бешеные. Я снова глубоко вздохнул и сказал сквозь стон:

- Закиньте мешок на спину, шея...

- Неси, неси, - услышал я голос бригадира Гаспара, - нести надо на шее.

Мне стало стыдно. В конце концов что случилось? Раз надо нести, значит, надо. Не я же один. Все, наверное, так несли свою первую ношу. Ну, пошли, ноги, пошли, выхода нет. Я сделал еще два шага и оказался на одной из досок, потом, стараясь не потерять равновесия, поставил правую ногу на вторую доску и снова остановился. Доски дрожали и раскачивались. Нет, пройти по ним невозможно. Сказали сто кило, нет, не может быть, здесь явно больше. Нет, падать нельзя. Люди несли и более тяжелые вещи. Мой отец всю свою жизнь запросто нес на плечах груз забот о семье, или, как говорил Гаспар, на шее, на шее! Будь что будет, лишь бы не упасть, лишь бы донести до места. Потихоньку, не спеши, подожди, пусть дрожь пройдет, теперь левой маленький шагок, а теперь правой. А теперь дыши, дыши! Бедный Манук, как он сейчас переживает за меня. Ага, еще шаг, теперь правой. Господи, откуда они взяли эти длиннющие доски? Конца им нет, вон еще сколько идти. Ну ничего, пройдешь, братишка, только не спеши. Потихонечку. Что за вода льется из мешка? Ах да, это пот. Ну ничего, пусть себе льет. Наверное, так он и лился, что люди стали говорить: живет трудовым по'том. Конечно! Но тяжелая, очень тяжелая вещь этот трудовой пот. Ну ладно, отдохнул, теперь снова левой. Ты должен дойти до места, дыши и иди, дыши глубже. Если дойдешь до места, то

одержишь победу, исполнятся все твои желания. Я сделал сразу несколько шагов, прошел доски и, покачиваясь, широко расставляя ноги, вошел в здание. Теперь надо повернуть налево, но я не могу, мешок толкает меня прямо вперед. Сколько шагов потерял! Интересно, избавлюсь ли я когда-нибудь от этого груза? Осталась лестница. Ступеньки влажные, скользкие. На них просыпался песок и смешался с водой. Как пройти, чтоб не проскользнуться? Я напряг все свои силы, поставил правую ногу на первую ступеньку и оперся на нее. Еще раз! Нет, поднялся! Только вместе с рывком мешок соскользнул с плеч и сейчас он где-то на спине. Руки ломит, пальцев я уже не чувствую, а мешок все тянет и тянет вниз. Остались еще три ступеньки. Много, очень много! Хоть бы мешок не скользил, как одновременно и удерживать его, и подниматься. В уме я уже сотню раз поставил правую ногу на вторую ступеньку, но сам продолжаю стоять, а мешок тянет меня со страшной силой. Лишь бы не вырвался из рук, господи, лишь бы не вырвался! Ведь осталось всего три ступеньки! Сейчас я подниму правую ногу и поставлю на край второй ступеньки железной лестницы. Ну, поехали! Я поднял правую ногу, потом наклонился до земли, уперся боком в железные перила и, кряхтя, встал на вторую ступеньку. Ага, теперь надо выпрямиться. И сразу же почувствовал, как левый угол мешка выскользнул из онемевших пальцев. Мешок сразу развернулся на моей спине и упал бы, если бы я не согнулся в три погибели и свободной левой рукой не повис на железных перилах.

- Пойти помочь? – услышал я тревожный крик Манука.

- Нет, - прогрохотал Гаспар, - сам должен донести.

Но я не понимал их. Для меня не существовало ничего, кроме железной лестницы, кроме двух ступенек, которые я еще должен преодолеть. Две ступеньки. Ну не падать же теперь, сказал я себе, осталось всего две ступеньки, и ты должен подняться. Ну, тащи. Я сильно напряг вцепившуюся в перила руку и почти на коленях очутился на третьей ступеньке. Вот, теперь остается одна ступенька и все. Конец! Конец чему? Все для меня вдруг стало одушевленным: мешок, мои руки, ноги, железные ступеньки, и мы все будто вышли на совместный бой. Я уже был не я. Я смотрел на себя со стороны и говорил ободряюще: теперь остается только одна ступенька, только одна, после чего ты сможешь сбросить эту ношу. Только одна! Встряхнись! Не срамиться же на последнем шаге! Все смотрят на тебя. Ну шевелись, братишка! Хочешь немножко отдохнуть? Облокотиться на перила – это была хорошая мысль! Но теперь хватит, а?

Неправда, что самое трудное – последний шаг. Самое трудное – дойти до последнего шага. Теперь я был уверен, что выйду победителем, я снова поднял правую ногу, наклонился до земли и хотел подтянуть левую, когда вдруг мешок, вобрав все тяжести мира, перелетел через мое плечо и с шумом ударился о землю рядом с котлом. В следующую секунду мне показалось, что мешок снова надвигается на меня. Я в ужасе закрыл глаза и ударился головой о твердую массу мешка, сразу поняв, что упал. Потом поднялся победоносно и легко. Легко, без груза, без тяжести. И тогда только понял, как это хорошо – оказаться без ноши.

И тут же я с ужасом заметил, что мешок распоролся, и белый сахарный песок медленно струится на грязный пол. Вот и все, подумал я, сейчас меня выгонят, и еще заставят оплатить стоимость песка. Это было очень стыдно, но в глубине души я радовался, что так получилось. Не примут, и я уйду с этого завода и... Да здравствует свобода!

Сейчас Гаспар закричит разъяренно. И он закричал... но не на меня, а на Манука.

- Чего стоишь? Закидывай мешок, а вы дайте ему новый, - сказал он Маркосу и Азату.

- Что? – спросил я, - значит, не выгоняете?

- А разве мы тебя принимали, чтоб выгнать? – вдруг засмеялся Гаспар, - ну!..

- Раз, два, взяли...

Когда я с бешеными усилиями донес, наконец, второй мешок и, облегченно вздыхая, подошел к ребятам, Гаспар сказал: “С сегодняшнего дня работаешь. Завтра одень что-нибудь старое. Расческа есть?” – вдруг спросил он.

- Нет! – немедленно ответил я. – Зачем мне расческа?

Гаспар посмотрел на Манука, и они с Маркосом и Азатом стали хохотать. Манук сильно покраснел, поняв, что его провели, и сам тоже засмеялся.

- Ладно, - сказал Гаспар, - Маркос и Азат, вы разгружайте тележку, а мы пойдем на склад.

По дороге мы все молчали, только у самого склада я спросил Гаспара:

- А что делать с просыпанным сахарным песком?

Гаспар махнул рукой.

- И прибыль, и убыток общие.

... Нанар ждала меня на их узкой улочке. Мы должны были пойти в кино, но я не мог сдвинуться с места. Все мое тело болело и ныло, как раненое. Сначала она решила, что я пьян, потом узнала, вздохнула, беззвучно прослезилась, положила голову мне на плечо, и потому что я со смешком ойкнул, не в силах удержать даже ее голову, взяла меня под руку и проводила домой. И впервые в жизни я разрешил, чтобы она вернулась одна. Дома сказал, что болен, и лег в постель. Такой физической усталости и боли я никогда не ощущал: захотел выпить воды, но не мог поднять стакана. Повернулся, наклонился, выпил стакан воды и засмеялся над своим бессилием. Не спалось. Как всегда, я решил почитать. Сперва взял книгу в руки, но через несколько минут онемели пальцы. Положил книгу на колени и вытянул руки, чувствуя, как вопит каждая мышца. Ладони мои горели. Я с огромным усилием согнул руки и спрятал их под прохладную подушку. И вдруг... и вдруг мои пальцы нащупали углы подушки. Сердце забилось с болью и тревогой, мне показалось, что сейчас появятся Маркос и Азат и крикнут:

- Раз, два, взяли!..

И мешок с песком снова опустится на мои измученные плечи.

Потом я долго улыбался, не в силах шевельнуться, не в силах заснуть от усталости, но и с удивительным блаженством раскинувшись на мягкой постели, вкушая заслуженный отдых поработавшего человека, впервые в жизни понимая и отца, и всех тех, кто несет и свою ношу, и ношу всего мира “на шее”.

* * *

Полдень. Мы сидим в проходе между сложенными в три этажа бочками на деревянных ящиках. Манук принес из магазина хлеб, сыр и бутылку водки. Азат принес две банки баклажановой икры, а Маркос – отварную картошку. Мы едим медленно, молча и с достоинством. Скоро будет месяц, как мы вместе, и все, что есть здесь, на складе, – дело наших рук. Напоминающие издали фишки лото большие бочки мы прикатали по одной сами, подняли, сложили в трехэтажное длинное строение. Мы перенесли, сложили и загрузили в вагоны тысячи ящиков с вареньем и фруктовыми соками и перенесли весь этот сахарный песок на своих плечах со складах в цех. А сейчас сидим между бочками, изредка удивленно смотрим на содеянное нами и неторопливо едим. До гудка еще много времени.

- Забавное дело, – вдруг хихикает Азат, – видели экскурсантов? Идут они, значит, по отделению, останавливаются у котлов, а наш Фридман рассказывает им все по-русски. Вдруг вижу, одна женщина потихоньку отстает. Думаю, почему это она отстает? И тут она украдкой направляется к бочкам. Там одна бочка плохо сбита, сбоку просачивается джем. Она как оглянется вокруг и – палец в джем. Потом облизнула палец и глаза закатила. Видели бы вы ее лицо! Умора! Я как засмеюсь... Покраснела и удрала.

Манук презрительно смотрит на Азата, хочет что-то сказать, но Гаспар опережает его:

- Дурак. “Умора”! Другой бы заплакал. Думаешь, мало сейчас людей, истосковавшихся по сладкому? Смешно было, когда ты здоровался с товарищем Ангиняном.

Азат краснеет, съеживается, а Манук смеется. Я тоже смеюсь, невозможно без смеха вспоминать эту историю.

Несколько дней назад, в конце работы, Азат подошел ко мне и попросил, чтоб я одолжил ему на день свой плащ. Я сразу же дал, не спрашивая зачем, но он объяснил, что идет на свидание и боится попасть под дождь. В действительности же плащ должен был послужить совсем для другой цели. Дождавшись, когда мы уйдем, Азат попытался спрятать банку варенья в широком кармане плаща. Но карман оказался узким, и Азат вынужденно сунул в карман руку и прямо сквозь карман сжал под плащом банку варенья. Беседуя с опоздавшими рабочими, он вошел в проходную, зная, что вахтер сегодня не Татос-пет, скрывая под фальшивой улыбкой свой страх, прошел через проходную и оказался на улице. На улице он облегченно перевел дух. Все, не попался! Но кто может знать, где таится опасность? Откуда ни возьмись перед ним возник председатель завкома Ангинян. По всей вероятности, он возвращался с какого-то совещания, где говорилось о внимательном и заботливом отношении руководства к рабочим. Потому что товарищ Ангинян поспешно подошел, улыбаясь во все лицо Азату, протянул ему руку и спросил:

- Как дела, наш молодой передовик?

Польщенный таким вниманием Азат, забыв обо всем на свете, вынул руку из кармана, и в тот же миг под их ногами с шумом взорвалась стеклянная банка с вареньем. И пока испуганный и растерянный председатель завкома рассматривал свои измазанные туфли и носки, молодой передовик огромными шагами удирал, с твердым намерением более не возвращаться на завод. Но мы его вернули. Гаспар дал слово товарищу Ангиняну, и похититель варенья был передан на наш суд. Прокурором был Манук. Суд был тяжелый.

Во время перерыва мы ели и говорили. Говорил даже Маркос, а он говорит только тогда, когда мечтает, а мечтает он только тогда, когда вспоминает о квартире.

- Ребята, говорю, был бы у человека дом, свой дом! Хочешь – ложись, хочешь – играй в лото. Чтобы дом был твой, да. Хочешь – плачь, хочешь – смейся.

Он смотрит куда-то в сторону, и глаза его грустны и мутны. Маркос – примак. Двадцать лет назад он приехал из Баязета. Не было у него ни дома, ни угла, ни одежды, ни обуви. Ничего не было. Стал работать в одном доме и спал в сарае. Вдовая дочь хозяина смотрел на Маркоса и смеялась. Видит – рубит дрова – смеется, видит – носит воду – смеется. А когда Маркос вечером пошел в сарай и притулился в углу, на сене, пожалела его вдовая дочь хозяина дома. Нагрела воды, отнесла в сарай и сказала Маркосу:

- Искупайся, парень.

Потом, когда Маркос выкупался, она протянула ему через полуоткрытую дверь одежду, одежду своего умершего мужа и сказала:

- Одевайся, парень.

А когда Маркос оделся, дочь хозяина вошла в сарай и села рядом с ним на сено. В темноте она сверкала глазами и смеялась, взъерошила мокрые волосы Маркоса и смеялась. Задевала Маркоса и смеялась. И спросила сквозь смех жарким, дрожащим голосом:

- Возьмешь меня, парень?

- А почему бы нет? – стесняясь, сказал Маркос.

Молодой был Маркос. Надел чужую одежду, взял чужую жену, вошел в чужой дом. И весь мир стал для него чужим. И все, все, складываясь одно к одному, смешалось, выросло, умножилось, стало огромным это “чужое”. И сквозь тысячу чужих вещей до сих пор шагает грузчик Маркос, разыскивая свое, то, что не было бы чуждым, не было бы чужим, а было бы своим. И Маркосу казалось, что от всего остального он сможет избавиться, если хоть одно из тысячи не будет чужим. Дом.

- Давно бы ушел отсюда, но хорошо платят. Двадцать лет работаю, и слава богу, отложил немного денег. Поработаю еще несколько лет и куплю дом. Ребята, маленький дом. И знаете,

что я сделаю? Куплю хороший английский замок, закрою дверь. Возьму ключ, погуляю немного, потом вернусь и открою дверь. Войду внутрь, кашляну, постучу ногами по полу, снова выйду и закрою дверь. И так весь день. Свой дом – это другое дело, ребята! Все остальное ерунда. Каждый человек в мире должен иметь свой дом.

И шагает каждый день с тяжелым мешком на спине, выставив свой горб, Маркос к своему дому. А мне кажется, что он зачастую даже не знает, какой груз несет на плечах, что это ему безразлично, так как раз и навсегда решил, что несет камень для своего дома и идет искать его.

Однажды, после долгих сомнений и совещаний с Мануком, я отвел Гаспара в сторонку и сказал: давай поработаем сверхурочно и половину нашей месячной зарплаты дадим Маркосу. Пусть купит, наконец, свой дом. Гаспар почесал затылок, посмотрел на меня слегка удивленными и ласковыми глазами, а потом покачал головой:

- Не выйдет. Раз его семья чужая ему, разве мы не чужие? – Потом подумал, что я не пойму, и добавил, - Маркос хочет иметь свой дом, свой, понимаешь, студент?

Как-то особенно произносил Гаспар это слово “студент”. В его голосе были и грусть, и восхищение, и уважение, и издевка, и еще тысяча оттенков. И чтоб избавиться от всего этого, Гаспар часто добавлял “понимаешь?” и немного веселел от этого. У Гаспара двухклассное образование. А потом он пас овец в горах, дрался с волками и даже однажды убил оббитой гвоздями дубинкой рысь. Но до этого рысь набросилась на него сзади, и когда Гаспар умывался, казалось, что дикая кошка только что спрыгнула с его спины. Он ушел на войну, но еще не увидев ни одного немца, был тяжело ранен под Моздоком осколком дальнобойного снаряда и, ругаясь, вернулся в село. Вернулся и увидел, что матери уже нет, захотел уйти в горы, сказали, что и овец нет, сдали на мясозаготовки. У него два класса образования, но когда он выпьет, очень любит декламацию и просит Манука:

- Ну, ну, студент!

А Манук знает до конца только две вещи: речь Цицерона, обращенную к гражданам Рима, и монолог Гамлета “Быть или не быть”. И после работы, расположившись между бочками, Гаспар, Маркос, Азат и я слушаем с полузакрытыми глазами голос далеких миров и людей. Гаспар слушает, не шевелясь, со строгим лицом и полураскрытым ртом, мучительно пытаясь понять, что кроется за такими красивыми и величественными словами. Он зачарованно следит за игрой каждого мускула на лице Манука, и горе тому, кто во время декламации что-нибудь скажет или пошевелится шумно. Когда Манук в пылу вдохновения протягивает руку в сторону склада, Гаспар тоже поворачивается и пристально смотрит в том направлении или сразу подымает взор к небу, когда Манук считает нужным посмотреть вверх. За эту декламацию Гаспар открыто покровительствует Мануку, вызывая нашу зависть. Посылает его всегда на легкие участки, не разрешает работать сверхурочно, сам переносит грузы, предназначенные Мануку, и просит:

- Сегодня тоже, да, студент... Вон то, где говорит: “О граждане свободного Рима!”

Слушает Манука и пьет, слушает и пьет, потом морщит лоб, хочет и сам что-нибудь сказать, думает, думает, уходит мыслью вдаль, во второй класс скрытой в дымке гор школы своего села, садится на пол, на рогожу, беззвучно шевелит губами и вспоминает всегда только одну строчку, только одну строчку, и выкрикивает эту единственную строку:

- Труден для многих, длинен в школу путь...

Потом застывает надолго, прямой и строгий, похожий на старого индейского вождя. А когда встает с места вместе с гудком, в нашей группе грузчиков начинается ажиотаж. Он громкими криками заставляет нас работать быстрее, бежать с грузом. Когда одно дело кончается, сразу придумывает другое, и сам вместе с нами, впереди нас, бежит со склада на склад с двумя мешками вместо одного, бежит в каком-то бешеном порыве, будто рассердившись невесть на кого и на что, будто бьющийся о прутья клетки леопард, у которого перед глазами бескрайние просторы пустыни, бежит до потери сил, до одышки.

В конце месяца выяснилось, что наша бригада грузчиков значительно обогнала грузчиков других смен и завоевала переходящее знамя. Состоялось даже небольшое торжество. Председатель завкома товарищ Ангинян протянул левой рукой треугольный красный вымпел, а правой пожал руку Гаспару и провозгласил:

- Слава нашим передовым грузчикам!

Но, говоря это, он с подозрением посмотрел на землю и довольно широко расставил ноги.

- Бесстыжий, - исподтишка ткнув Азата в бок, прошептал Манук, - лишил человека доверия. Бедный после каждого приветствия ждет взрыва.

Азат прыснул, чем привлек внимание товарища Ангиняна. Председатель завкома улыбнулся и погрозил пальцем Азату. Этим торжество и завершилось.

А через два дня произошло новое событие. Несмотря на перевыполнение производственного плана, наша зарплата не изменилась. Это было подозрительно. С разрешения секретаря партбюро мы с Мануком проверили наши наряды и заставили товарища Фридмана выплатить неизвестно почему невыписанные деньги за сверхурочную работу. Товарищ Фридман покраснел, обругал учетчиков, извинился и выплатил, а потом, улыбаясь, сказал бригадиру:

- Прости, Гаспар, ошибочка!

- Ты, товарищ Фридман, сволочь, - на удивительно чистом русском языке сказал Гаспар, демонстрируя, что не зря дошел от Талина до Моздока.

Потом он хлопал своей тяжелой рукой по плечу меня и Манука и громко спрашивал:

- Парень, как ты догадался, э, студент, студент!..

Вечером мы собрались на дополнительную зарплату, или, как определил Маркос, на свалившиеся с неба деньги, кутить в ресторане “Зангезур”. Маркос был растроган, сказал, что если всегда будем получать такую высокую зарплату, то, может, через пару лет у него будет свой дом, а потом неожиданно для всех спел простую и грустную песню о рыбаке, который вышел в Севан и не вернулся. Манук тоже разошелся. Цитируя великих классиков философии, он изложил свои взгляды на счастье и место человека в жизни. Сперва ему никто не возражал, но когда он, желая конкретизировать, сказал в качестве примера, что Гаспар может быть вполне счастлив в своей работе, Гаспар сердито покачал головой, а Маркос сказал, что человек может быть счастлив только в своем доме. Манук уже дошел до Гегеля, но вдруг очнулся, посмотрел на нас, забыл немецкого философа, загрустил и замолк. В наступившей тишине я поднял стакан и выпил за здоровье Гаспара, Маркоса и Азата, особенно за Гаспара, и сказал, что если мы с Мануком когда-либо будем пить за здоровье наших любимых вузовских преподавателей, то присоединим к этому тосту и Гаспара, потому что очень многому научились у него.

- Правда? – вдруг просиял Гаспар.

- Да, - сказал я, - правда, Гаспар.

И еще я сказал, что за два месяца мы стали братьями, и где бы ни встретились, встретимся как братья. Потом попросил выпить за нас с Мануком, потому что с завтрашнего дня в университете начинаются занятия, и мы не сможем больше приходить на работу. А свидетельством тому, как мы привыкли, как полюбили и как не хотим расставаться пусть будет то, что мы до последнего дня ходили на работу.

- Э-эх! – огорчился Маркос.

- Правда, ведь завтра первое сентября, - сказал Азат, - в прошлом году я завтра пошел в школу.

А Гаспар повернулся к Мануку.

- Шутишь, студент?..

- Нет, - сказал Манук и встал, - Гаспар джан, Маркос джан, Азат джан... - и снова сел, обхватив голову руками.

Выпили мы много, официанты качали головой, буфетчик вышел из-за стойки, подошел и стал восхищенно смотреть на нас, а посетители уже давно разошлись. Мы пили и молчали, только Гаспар время от времени огорченно произносил:

- Студент! Студент...

Потом Манук предложил обняться напоследок. Мы встали, склонились над столом, сдвинули головы и крепко обхватили друг друга руками. И стояли так довольно долго, и не стыдились. А когда сели, Гаспар был уже пьян:

- Ребята, - сказал он, - сейчас уходите, да? Идите. Идите учитесь. И ты тоже иди, - обратился он к Азату, - иди, не показывайся мне на глаза, иди учись, стань человеком. Понял? Все идите, а своих детей я прибую – пусть учатся, они тоже должны стать людьми. Пусть и они с вами... А мы останемся, - он положил руку на плечо Маркосу, - нам некуда идти, правда, брат? Мы все должны будем нести наш груз, а вы идите, идите. Как это, а, студент?.. “О граждане свободного Рима...”

Маркос забеспокоился, зашевелился и сказал скромно:

- Нет, Гаспар джан, когда будет дом, мой, э, мой дом, я тоже уйду.

- Иди, - ласково сказал Гаспар, - ты тоже иди. А я останусь. Кто-то должен остаться. Кто-то всегда должен оставаться, - он замолк, сжал губы и сказал с горечью: - “Труден для многих, длинен в школу путь”, - снова замолк и вдруг повернулся к Мануку. – Как не забыл, а, студент? Двадцать четыре года прошло, э. Целая жизнь!..

* * *

Вот и мой завод. Как год-то пролетел! Как много изменилось, а завод не изменился. Разве только удивленные лица на Доске почета. Впрочем, нет, здания напротив не было. И этого не было, - подумал я, глядя на снующие электрокары. На одном из них лежали белые мешки. Молодой парень поворачивал рычаг, и тележка послушно меняла направление и легко катила дальше. Сердце сжалось. Я представил себе высокого и мрачного Гаспара на такой маленькой тележке. Не совмещалось. Впрочем, если на заводе много электрокаров, смена грузчиков, наверное, ликвидирована. А что будут делать Гаспар, Маркос, ведь и зарплата снизится? Может, они больше на работают? Нет, Манук сказал, что встречал их.

Мимо меня проходили рабочие и работницы, но их лица не были мне знакомы. Я больше не выдержал, остановил одну:

- Где может быть Гаспар?

- Какой Гаспар? – спросила женщина, поправляя косынку.

- Бригадир грузчиков, - сказал я с непонятым волнением.

- А, наш Гаспар? – засмеялась женщина, - во фруктовом отделе.

- Маркос тоже? – спросил я ей вслед.

Женщина обернулась и махнула рукой. Значит, они здесь. Это хорошо. Я прошел мимо овощного отдела, помахал рукой вставлявшим стекла мастерам, прошел бочарный цех, услышав возглас с электрокара, обернулся и хоть и не узнал водителя, но поздоровался и с ним и подошел к складу сахарного песка. В дверях склада какой-то рабочий стоял спиной ко мне и развязывал узел на подвесном электротранспортере. Я сразу узнал его. Такая спина была на

свете только у одного рабочего, эту спину я узнал бы и за километр. Это был Маркос. Я тихонько подкрался и крепко обнял его сзади, пряча голову.

- Вай! – вскрикнул Маркос, - это кто, а? Вай! Это не из наших, это что за белые руки? Ты кто, э?..

- Это я, - отпустил я его.

- Студент! – завопил Маркос и по-медвежьи обнял меня. Потом сразу отшатнулся, - слушай, я же твою одежду испачкаю. Но что делать, э?..

- Ничего, - сказал я и сам обнял его, - как ты, а, Маркос, как ты, брат?..

- Хорошо, хорошо! - вопил Маркос, - вот, совсем немного осталось. Дом куплю, свой дом...

- Кто это, а? – раздался со склада голос Гаспара.

И он появился в дверях, высокий и строгий, как всегда, с мешком сахарного песку на плечах. Он почти не изменился, только волосы немного... Впрочем, может, сахарный песок просыпался на его темные курчавые волосы.

- Ва! – сказал Гаспар, - Ва! – Он забыл даже сбросить мешок, наклонился прямо так, обнял меня правой рукой, похлопал по спине, потом легко забросил мешок на тележку, отошел на шаг и воскликнул, качая головой, - вот тебе и студент!..

- Ну что вы тоже – студент, да студент. Больше нет студента.

- А кто ты? - улыбнулся глазами Гаспар.

- Журналист. Фельетоны пишу. Не читаете?

- А что такое фельетон? - спросил Маркос.

- Мусор, - сказал я, - черт знает что. И хорошо, что не читаете. Неграмотные вы мои!

- Что с тобой, эй, парень? – спросил Гаспар.

Я не знал, что со мной, но был счастлив. Наверное, я давно не был так весел. На душе было легко-легко, хотелось все время смеяться. Их грубая неправильная речь и восклицания звучали для меня как песня. Я заставлял их говорить и слушал. Очень уж хорошо говорят они, ведь они прямые люди! Если говорят что-нибудь, так и понимай, уже не думай и не переживай, что скрыто за словами и почему это сказано. Да и ты тоже. Говори, ничего, что неправильно строишь предложение, ничего, что ошибаешься, они поймут, потому что верят тебе. Вот и весь секрет. Они верят!

- А где Азат? – спросил я.

Маркос ухмыльнулся и посмотрел на Гаспара снизу вверх.

- А я разве не сказал? – удивился Гаспар, - ушел за вами. Какой техникум был? Ах, да, обувной, туда поступил.

- Сейчас кожу таскает?

- Ничего, - сказал Маркос. -Кожа не банка, не лопнет.

- Ну не стойте, работайте, я пойду рядом с вами, поговорим.

Тележка уже была нагружена, и они, толкая, покатали ее по узким рельсам.

- Это что за бумага у тебя в руках? – спросил Маркос, заметив мой красный блокнот со штампом редакции.

Я ответил.

- Значит, ты по делу.

- Да, - сказал я, - надо проверить кое-что в бухгалтерии.

- Проверяй, проверяй,- обрадовался Маркос, - кто знает, вдруг зарплата снова повысится?

- А Манук что делает, Манук? – спросил Гаспар. – Помнишь: “О гражданах свободного Рима!” Очень хороший парень.

- Он следовательно, - сказал я, - далеко пойдет. Но вы же встречались, Гаспар?

- Нет, - сказал Гаспар, - совсем не виделись.

Значит, в тот день он придумал это нарочно, чтобы отвлечь меня. Ах, Манук, Манук!..

- А мне он сказал, что встретил тебя и ты сказал – возьми Артака и приходите в нашу бригаду. Хорошее дело есть.

Гаспар засмеялся, а Маркос сказал:

- Вай, вай, вай, большой шутник, да!

Тележка остановилась. Рельсы уходили отсюда во фруктовое отделение, а мешки надо было нести направо, в цех варки сахара. Через “Гольфстрим” были перекинuty длинные доски и впитывали пар. Сердце приятно и с какой-то тревогой забилося в груди.

- Помните, как проверяли меня? – спросил я, - Маркос и Азат говорили: “Раз-два, взяли” и закидывали мешок мне на шею.

Наверное, в моем голосе кроме вопроса было еще что-то, потому что Маркос засмеялся, а Гаспар сказал серьезно:

- Соскучился.

Он не спросил, он уверенно сказал “соскучился”, и поэтому я без долгих слов попросил разрешить мне перетаскать несколько мешков.

- Человек, ты что, спятил? – засмеялся Маркос.

- А как же, - сказал я.

Быстро скинув пиджак и шляпу, я повесил их на тележку, стал рядом с Маркосом, спиной к мешкам. Убедившись, что я не шучу, Маркос снял с головы пустой мешок и передал мне. Я накинул угол мешка себе на голову, как в прежние дни, и сказал дрожащим от волнения голосом:

- Ну!

Гаспар и Маркос раскатали мешок.

- Считайте, - попросил я.

- Раз-два, взяли!

Спина моя согрелась. Я слегка покачнулся, еще не уверенный в своих силах, потом пошел, прошел по длинным доскам, вошел в здание, резко повернулся, осторожно прошел по скользкому каменному полу, поднялся по железной лестнице – раз, два, три, четыре – сделал еще несколько шагов и сбросил мешок на пол, у котла. Слегка задыхаясь, бегом вернулся назад.

- Ну!

И я все шагал и шагал, чувствуя, как приходит усталость и как все тяжелее становится на плечах мешок. И так легко мне было под этой тяжестью. Я все шагал и шагал, думая о тысяче вещей, думая, что груз – это еще не тяжесть, потому что в этом странном мире есть куда более тяжелые вещи. И я думал, что, наверное, прав был тогда в ресторане Манук, когда говорил, что никогда не знаешь, где ты более счастлив. Обычно тебе кажется, что ты был счастлив там, откуда уже ушел и куда больше никогда не сможешь вернуться.

НЕ ДАЮТ, НЕ ДАЮТ...

По лестницам я спускался усталый и потерянный. Нанар появилась откуда-то сбоку и взяла меня за руку. Наверное, ждала в коридоре.

- Не говори, не говори, я уже знаю, ты победил, - прошептала она.

- С чего ты взяла? – устало улыбнулся я.

- Все шептались, смотрели на меня и здоровались. И знаешь, Бадамян тоже поздоровался.

Я хотел ответить ей, но тут услышал шаги и, обернувшись, увидел Саркисяна.

- Артак, - сказал он, - здравствуйте, - повернулся он к Нанар. – Артак, поверь, клянусь отцом, я не был знаком с Везирином. Это просто случайность.

- Знаю. Я ведь и там сказал, что уверен в этом, товарищ Саркисян.

- Нет, я хочу, чтоб ты поверил.

- Верю, товарищ Саркисян.

- Спасибо. Простите, - сказал он Нанар.

И мы стали спускаться дальше.

(Несколько минут назад на бюро райкома партии Саркисян чуть не расплакался. Я решил не говорить об этом, но они заставили. У меня не было другого выхода. Я сказал им, что наверное, нет ничего легче, чем скомпрометировать человека. Пусть Саркисян ответит, что он делал позавчера рядом с Везирином. А если он будет отрицать, я могу показать фотографию. Члены бюро многозначительно переглянулись, а Саркисян побледнел и вскочил с места:

“Это правда, он сидел рядом со мной но, честное слово, я с ним и словом не перекинулся, прошу поверить мне, я его почти не знаю”. “Чем докажете? – спросил я. – А я уверен – вы хвастали, что сняли меня с работы, и предвкушали благодарность”. И тут Саркисян повернулся ко мне и произнес дрожащими губами те слова, которые только что повторил на лестнице: “Артак, клянусь отцом, я Везириана не знаю”. Воцарилась зловещая тишина, даже Бадамян съехался и опустил голову. И я снисходительно улыбнулся. Я верю товарищу Саркисяну, сказал я, верю. Верю, что это была случайность. Я просто хотел доказать вам, что человека очень легко скомпрометировать. Имея этот факт, я мог сказать вам все, что угодно, товарищ Саркисян, но я вам верю. Так почему же вы не хотели поверить мне, почему на бюро вы четыре часа требовали у меня оправданий, хотя обвинения придумали сами? Саркисян поднял голову

и враждебно, с ненавистью посмотрел на Бадамяна, а председатель исполкома райсовета, старый и усталый человек, сказал Бадамяну: “Ты еще молод, парень, откуда в тебе столько яду, как ты мог поднять руку на невиновного?”

- Значит, говоришь, Бадамян поздоровался с тобой, да? – спросил я Нанар.

- Да, - сказала Нанар, - я очень удивилась. А потом подумала – значит, ты победил.

- Нет, Нанар, ты их не знаешь, они здороваются со всеми. Тот же Бадамян до начала бюро поздоровался и со мной, когда пришел снимать меня. У меня был товарищ, он тоже был таким. Однажды он возмущенно рассказывал мне об одном человеке, приводил жуткие факты о том, что тот сделал лично против него. Я проникся ненавистью к этому человеку, потому что верил своему товарищу. Я всегда здоровался с его обидчиком, но решил больше не здороваться. Потом мы вышли на улицу и по случайному совпадению встретили этого человека. Я демонстративно отвернулся, а товарищ подошел к нему. Он улыбался, болтал, смеялся. Я был взбешен. И что же? Мой товарищ совершенно искренне заявил, что он и сейчас очень плохого мнения о том человеке, и если подвернется случай, отомстит ему, но почему он не должен разговаривать, здороваться? “Что в этом такого?” – сказал он.

- Значит, не победил? – вдруг подозрительно спросила Нанар.

Это ее упорство было просто смешным.

- Ты хорошо знаешь историю Древней Греции? – спросил я.

- Хочешь сказать, что это Пиррова победа?

- Верно, - сказал я. – Это, действительно, была Пиррова победа. Я победил, но не знаю, что осталось у меня после этой победы, Нанар, я потерял многое, очень многое!

(Они сразу набросились на меня. Бюро только началось, когда с места встал Бадамян. Он не надеялся, что Саркисян сумеет провести решение бюро, и поэтому пришел сам. Почти полчаса говорил он и, кстати, говорил более убедительно, чем во время предыдущих выступлений. Его слушали внимательно и сочувственно, и Месроп огорченно качал головой. Очень страстно и красиво говорил Каро, порой я даже забывал, что он говорит против меня, и зачарованно слушал его. Потом вспомнил его выступления о негритянских детях и улыбнулся. Был бы здесь мой отец, сказал бы “Сын своего отца!” Потом выступили Партев, Саркисян, Беник. Они повторили свои предыдущие выступления, и впечатление уже было создано. Присутствующие время от времени бросали на меня недружелюбные взгляды и с неодобрением мотали головой. И вдруг попросил слова Месроп. Я был уверен, что он выступит, и снова преисполнился благодарности к нему. Но секретарь райкома не дал ему слова.

“Я знаю, что вы хотите сказать, садитесь”, - сказал он.

“Но мне есть, что сказать”, - запротестовал Месроп.

“Знаю, ваше заявление у меня, садитесь”, – ласково, но решительно перебил его секретарь.

Я растерялся, а Бадамян открыто ликовал, не мог спокойно усидеть на месте, бросал победные взгляды на Месропа и меня, наклонялся, что-то шептал то одному, то другому соседу, посмеивался в кулак. И я снова почувствовал, что теряю самоконтроль. Неужели и здесь повторится то же? Если Месропа не слушают, меня тем более не будут слушать. Неужели всему этому нет конца? И вдруг вспомнил письмо Манука. Значит, хотят скрыть. Не позволю, хватит! Пусть будет, как они сами захотели. Драться, так драться, жертвы сосчитаем потом).

- Пойдем домой, да? – спросила Нанар.

- Что?

- Говорю, пойдем домой.

- Ну конечно, – сказал я.

- А куда ты идешь?

- Я? Домой, куда же?.. Разве так нельзя идти?

- Наверное, можно, – взволнованно, растерянно сказала Нанар.

(Я попросил слова, но не смог говорить. Каро, ухмыляясь, смотрел на меня, и я задышался. Начал бессвязно... О почетных грамотах, вожатых, кампании по сбору металлолома. Секретарь райкома несколько раз перебил меня, советуя успокоиться, но я продолжал тонуть. Меня уже не слушали, люди шепотом переговаривались между собой. Каро Бадамян, глядя на меня со злорадством, что-то говорил сидящему рядом районному прокурору и даже хихикал. Это меня окончательно взбесило. “Хорошо, не буду говорить, – закричал я, – все, что я сказал – мелочи. Весь вопрос в том, что Каро Бадамян – друг Везириана и мстил мне за него”. Собравшиеся зашумели, так как им надоело, а Каро, смеясь, заплодировал и обратился к районному прокурору: “Я же говорил, говорил, что сейчас он скажет об этом”. Прокурор кивнул, и в ту же секунду встал секретарь райкома. Все замолчали. У секретаря были грустные черные глаза и большой шрам возле уха, а когда он поднял руку, я увидел, что его пальцы недвижимы под черной перчаткой.

“Товарищ Бадамян, Вы, действительно друг Везириана?”

“Нет, что Вы, Апет Левонович, – вскочил с места Каро, – это явная клевета и имеет целью отвлечь внимание бюро. Я знаю его только как члена актива, вот и все”.

“А какого мнения вы о фельетоне?”

“О фельетоне?.. Фельетон тут ни при чем. Говорят, факты раздуты, но в общем, хороший. Я, кажется, так и сказал Левоняну”.

“Вы мне ничего не говорили. Ну как же Вы отрекаетесь от своего друга?”

Бадамян, снисходительно улыбаясь, посмотрел на секретаря райкома, будто желая спросить, стоит ли мне отвечать. А я сразу вспомнил Манука. Все же он намного лучше знает людей, чем я. Чуть было не простил этого! Теперь, теперь будь что будет – я скажу об особняке.

“Простите, – сказал секретарь райкома, – но разве Вам не известно, что Ваша жена и жена Везирыана очень близкие подруги, почти сестры?”

Вот, вот. Ну, держись, товарищ Бадамян.

“Кто это сказал?” – спросил Каро, но он уже был заметно растерян.

“Документ, – спокойно сказал секретарь, – разве незнакомые люди дарят друг другу особняки, товарищ Бадамян?”

Мне показалось, что у Бадамяна будет удар. Его лицо побелело. Собравшиеся заволновались. Третий секретарь пытался вырвать из рук второго какую-то бумагу. Наверное, справку. Некоторые потребовали подробных объяснений. Но они меня не интересовали. Я не видел никого, кроме Каро Бадамяна. Я смотрел ему в лицо и ждал, что же он скажет? Было противно, но я вдруг почувствовал, что, тем не менее, жалею его. Но при чем тут я, он сам захотел этого.

“Апет Левонович, может, мы поговорим об этом отдельно? – сжав губы, прошептал Каро, – как секретарь я... уверен, что здесь глубокое заблуждение...”

Он опять играл. Понял, что разоблачен, и мог хотя бы теперь быть искренним, у него еще была возможность оставаться человеком, но иначе был устроен этот Каро Бадамян, он ни на секунду не забывал, что он секретарь горкома, и, чтобы выиграть время, прийти в себя, прикрылся этим, как щитом. Но было, вероятно, уже поздно.

“Мы не рассматриваем вопросы, входящие в компетенцию горкома, – спокойно сказал секретарь райкома, – я спрашиваю Вас, как коммуниста, коммуниста нашего района. Вы продолжаете утверждать, что Ваше беспринципное поведение в отношении Левоняна не имеет связи с Везирыаном, или опубликовать достаточно подробный документ о Вашей с Везирыаном совместной деятельности?”

Бадамян не ответил. Он смотрел на меня с ненавистью, но и – удивительная вещь – то ли с удивлением, то ли с уважением к достойному противнику. Больше всего его сейчас волновало, вероятно, откуда мы все это узнали.)

- Слушай, с тобой здороваются, почему ты не отвечаешь? – дернула меня за руку Нанар.

- Кто, кто здоровается, Нанар джан? – спросил я.

- Вон тот, дважды кивнул головой, а ты...

- Да, это наш сосед Маис, ничего, при следующей встрече я кивну четырежды, – сказал я.

(“Ты сделал, да? – с горечью спросил Каро.

“Нет, - сказал я, - но и у меня есть друзья”.

“Кончайте, - повысил голос секретарь райкома, - все ясно. Кто хочет выступить?”

Все хотели говорить. Люди, еще недавно смотревшие на меня с укором и недоброжелательностью, теперь ободряюще улыбались и смотрели на Бадамяна укоризненно и недоброжелательно. Районный прокурор даже с шумом отодвинулся от него. Сидевший с другой стороны завроно опустил голову и рисовал на лежащей перед ним бумаге большие квадратики. Все, почти без исключения, предложили считать недействительным решение райкома комсомола и объявить бюро выговор. И самое удивительное было то, что это предложение поддержали также Беник и Партев. Они заявили, что достойны более сурового наказания, потому что невольно оказались оружием в руках Каро Бадамяна. Только Саркисян не перестроился так мерзко. Он попытался, тем не менее, частично защитить решение, заговорил о производственной дисциплине, но его никто не слушал. Бюро райкома решило объявить Саркисяну строгий выговор, а всем членам бюро, за исключением, конечно, Месропа, выговор и поставить перед городским комитетом партии вопрос о строгом наказании Каро Бадамяна.

“Остался вопрос работы Левоняна”, - напомнил второй секретарь.

“Все ясно, оставить на работе”, - кивнул председатель исполкома.

“Нет, - сказал секретарь райкома, - утром звонил товарищ Сарьян и просил освободить Левоняна от его обязанностей в связи с переходом на работу в редакцию. Так и сформулируем”.

Месроп изо всех сил уцепился за меня сбоку, а Партев, как ни в чем не бывало, засмеялся дружелюбно и сердечно.

“Вот видишь, чего тебе еще надо, из-за тебя мы заработали по выговору”, - не краснея и не смущаясь, сказал он.

Какие удивительные люди есть на свете, господа!

“Но имейте в виду, что я этого так не оставлю, - в общем шуме вдруг сказал Бадамян, - это все – усилия редакции. Я очень хорошо понял это. Мы еще встретимся, где надо!”

Секретарь райкома только пожал плечами, а прокурор, забыв о многом и вспомнив что-то, бросил сквозь зубы:

“Вот по ком веревка плачет...”

Бадамян, не глядя вокруг, надел, стуча ногами по полу, калоши, надел кепку, прошел мимо меня и вдруг...)

- Послушай, - сказал я Нанар, - ты удивляешься, что Бадамян поздоровался с тобой, а знаешь, что он со мной попрощался?

- Пожелал бы хоть счастья, - засмеялась Нанар.

(Когда все вышли, я подошел к секретарю райкома, поблагодарил его от всей души и попросил помочь в одном деле.

“Ну чего еще тебе нужно?” – засмеялся он.

“Скажите, чтоб меня послали на спортивный праздник, - попросил я, - ведь они меня и оттуда выгнали”.

“Ладно, ладно, позвоню, - улыбнулся секретарь райкома, потом по-отцовски взъерошил мои волосы здоровой правой рукой и озабоченно сказал: - Но для твоих лет у тебя слишком много врагов...)

- Вот что осталось у меня после победы, - сказал я Нанар.

- Что? – спросила она.

Мы стояли на мосту через Гедар. Весна была жаркая. Река стала мелкой, жалкой и струилась теперь под камнями, усталая и безвольная. Но так только казалось. Так Гедар мог обмануть только постороннего. Но я-то хорошо знал его. Ведь мы росли вместе. Не кто-нибудь другой прорыл это огромное ущелье, и колоссальные обломки скал не родились сами на этих берегах. Их принес Гедар в дни своего буйства и бешенства и в один прекрасный день с шумом унесет их с собой. Посторонний остановится здесь в изумлении, заслышав громкий рокот маленькой речушки. Но зря он будет смотреть по сторонам, пытаясь найти водопады. Это Гедар, маленький и жалкий сегодня Гедар, течет со стоном по своему руслу, вспоминая бурные дни и мечтая о потопах.

- Артак джан, не будь таким, да? – сказала Нанар, - разве я уже надоела тебе? Почему не говоришь со мной, почему не отвечаешь?

- Не дают, не дают, - сказал я, - разве не видишь, что не дают?

МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ

В нашем доме столпотворение. Мама, Седа и Нанар, волнуясь, спеша, снуют туда-сюда, сталкиваются, смеются и быстро-быстро переговариваются. Мама тоже растерялась. То вдруг появляется в комнате и останавливается потерянно, стоит и смотрит по сторонам, кладет руку на подбородок и говорит озабоченно:

- Зачем это я пришла?

Никто ей не отвечает, и мама снова уходит на кухню.

В центре комнаты в беспорядке лежат раскрытые чемоданы с какими-то свертками, мешочками и одеждой. Но, как видно, этого мало, потому что приносят все новые и новые. Седа помещает в уголке одного из чемоданов уют и вдруг поднимает аккуратно завернутого в бумагу плюшевого мишку с оторванным ухом.

- А это кто положил? – спрашивает она, смеясь.

Все хохочут и смотрят на маму. А она улыбается в ответ обиженно и растерянно:

- Так это я, что ли, положила?.. – спрашивает она, точно зная, что так оно и было.

Это становится поводом снова по-одному проверить свертки. Отец рассерженно кашляет у окна.

- Ну и работнички!.. Мать, пошевеливайтесь, э, опаздывают люди!

- Почему опаздываем, папа? Еще три часа есть.

- Уезжающий выходит пораньше, - говорит отец.

Это его привычка. Если он выезжает вечерним поездом, то уже с утра будет ждать на вокзале. Отец очень взволнован. И это нетрудно заметить, подбородок его то и дело вздрагивает и хоть короткая деревянная трубка торчит в его зубах, он беспокойно хлопает себя по карманам, постукивает по спичечному коробку и кричит на мать:

- Мать, эй, Ануш, куда эта штука девалась, а? Только что была у меня.

Потом радостно вскрикивает, обнаружив трубку, и тайком зажигает ее, посмеиваясь над собой.

Вовремя вспомнив, я достаю из кармана и передаю отцу взятую в домоуправлении доверенность.

- Восемнадцатого числа каждого месяца будешь ходить в Дом связи на площади, на пятый этаж, там редакция радио, и получать половину моей зарплаты, - говорю я.

- А ты как будешь жить, дитя мое? – грустно спрашивает отец.

- А что нам, папа? – говорю я, ловя довольный взгляд Нанар, - на худой конец, Нанар устроит на улице кукольное представление, проживем!

- Э-эх, - вздыхает отец.

Из соседней комнаты выходит Бабкен, встает на пороге, зевает, подымая мускулистые руки, и говорит со свойственным ему напускным недовольством:

- Эх, не дали поспать, что случилось, почему такая суета, не понимаю? С утра все чхк да чхк, бряк да бряк. Седа, если еще раз обольешь меня водой, отправляйся прямо в отцовский дом, а то будет смертоубийство.

Большой мастер поспать Бабкен. Сейчас еще ничего, а раньше будить его по утрам было главным занятием всей нашей семьи. Причем использовались самые иезуитские методы: его грубо дергали, трясли за голову, обливали водой, щекотали. Однажды мать рассердилась и решила не будить Бабкена, чтобы выяснить, сколько может он спать, и брат мой с честью вышел из этого испытания, проспав ровно пятьдесят шесть часов. Это истинная правда, а его, Бабкена, рассказ – просто шутка. Он говорит, что во время войны, в Крыму после нескольких бессонных ночей, вдруг заснул на позиции, а когда проснулся, узнал, что уже два дня идут тяжелые бои, а высота несколько раз переходила из рук в руки. “Если б осколок не ударился о каску, я бы не проснулся”, – сказал Бабкен...

- Я же с тобой говорю, что случилось? – снова спрашивает он у Седы.

- Не знаешь, что Артак с женой уезжают? – набрасывается на него Седа, с трудом закрывая один из чемоданов.

- Уезжают, уезжают!.. Можно подумать, в Сибирь едут, - язвит Бабкен, - через каждые два дня я езжу в командировки, почему же ради меня не устраивается такой переполох? Значит, уезжаете, да? – обращается он ко мне.

- Да, Бабкен джан.

- Это хорошо, - говорит Бабкен, - длительное свадебное путешествие в солнечную страну Шемс-эд-дин, или Шамшадин. Седа, мы совершали свадебное путешествие?

Седа, не отвечая, отталкивает со смехом его ногу и начинает запихивать еще что-то в другой чемодан. Бабкен отходит в сторону, пропуская мать, и продолжает, не в силах выйти из взятого уже тона...

- Не совершали! Следовательно, вы несравненно счастливее нас. Шамшадин!.. Покрытые лесом склоны гор, мычание коров, бляение ягнят, собачий лай на луну, неповторимая грязь, усталые, но счастливые лица передовых табаководов, грозный лозунг “Участвовал ли ты в сборе урожая?”, голубоватая кизиловая водка и вязаные лапти. Передачу вел шамшадинский корреспондент радио Артак Левонян. Ну как?

- Здорово, - смеюсь я.

- И почему я связался с уголовными элементами – вздыхает Бабкен.

- Каждому свое – говорит Седа.

А мы снова весело смеемся, мы молоды, для нас все легко, для нас уезжать не значит отдаляться, и тем более не значит немного умирать, как гласит притча. Для нас отъезд даже приятен и интересен, немного страшен, но больше всего привлекателен. Мы знаем, что можем раскинуть где угодно палатку и сказать – это наше, это наш дом. Мы молоды, и наш дом всегда с нами. Мы молоды и можем уехать куда угодно... потому что у нас еще много времени, чтобы вернуться или осесть где-нибудь навсегда. Прошлую ночь мы не смогли заснуть. Лежали и мечтали шепотом, чтоб не разбудить наших, шептали друг другу на ухо. Нанар говорила почти как Маркос:

“У нас будет свой дом, маленький, красивый! Ты будешь уходить на работу, а я стану убирать, приводить все в порядок. Буду готовить твои любимые обеды, ведь я знаю, что ты любишь. Потом сниму передник, сяду у окна, буду поджидать тебя и вязать тебе носки”. “Не сиди у окна, ревную”, - сказал я. Нанар тихонько засмеялась. Тихо! Тихо! “Ты придешь домой, вместе пообедает, потом прочитаем книжку, я прочитаю тебе, хорошо? А вечером...”. “Заснем”, - сказал я. “Э, нет, вечером пойдем в кино, а когда вернемся, сядем у радио и послушаем, что сообщает из шамшадинского района наш собственный корреспондент”. “И будем подсчитывать гонорары”, - сказал я. Нанар снова засмеялась. “Э-эх, - вдруг раздался из дальнего угла сердитый голос отца, - шурх да шурх, шурх да шурх, не хватит шептаться? Спите. Утром рано в дорогу!” Мы немного помолчали, трясаясь от беззвучного хохота, металлические шарики кровати зазвенели, и наш смех усилился. Нанар застеснялась, стала сердиться на меня и себя, кое-как замолчала, а я не мог уговориться. Я смеялся, и смеялся уже громко, безудержно и говорил сквозь смех. “Ничего... папочка... прости... последний день...” “Э, псих, - огорчился в ответ отец, - “последний день”... Смотри, что говорит, а!”

Меня привел в чувство голос Бабкена.

- А с редактором повидался? – спрашивает он.

Я киваю головой...

* * *

Со Всесоюзного спортивного праздника в Москве я вернулся в хорошем настроении и с большими надеждами. Издали все, действительно, кажется легким. Я был уверен, что за прошедший месяц все вопросы разрешились: что Везирян и Бадамян сошли со сцены, а в редакции ждут моего возвращения, чтобы взять на работу. В библиотеке я уверенно перелистал номера газеты, но, к удивлению своему, нигде, и в том числе под рубрикой “По следам наших выступлений”, не было никакого упоминания о фельетоне и его последствиях. Обеспокоенный, я позвонил в общежитие, Мануку, и мы встретились. То, что он рассказал, было почти невероятно.

После известных мне событий прокурор вызывает Манука, объявляет благодарность за проявленную инициативу в вопросе об особняке и просит официально заняться этим делом. Прокурор предлагает присоединить к имеющимся материалам и факты злоупотреблений, отмеченные в фельетоне. Манук добросовестно приступает к расследованию, но через несколько дней тот же прокурор города снова приглашает его и просит вернуть ему материалы, мотивируя это тем, что одна из вышестоящих инстанций выразила желание ознакомиться с ними. А еще через несколько дней выясняется, что в возбуждении уголовного дела отказано в связи с нецелесообразностью. Вышестоящая организация ограничилась снятием Везиряна с работы и вынесением ему партийного выговора. Партийный выговор был сделан также Каро Бадамян.

Манук разозлился, счел несправедливым отказ в возбуждении уголовного дела и написал об этом прокурору республики. Никакого ответа. Потом Мануку стало известно, что на следующий день после снятия с работы Везирян был назначен начальником стройуправления другого объединения.

Рассказывая это, Манук от обиды чуть не плакал. Я махнул рукой и сказал: “Ну и черт с ними, и этого с них достаточно”, но он не успокаивался: “Я этого не оставлю, нельзя, я доведу это дело до конца”. Расстались мы невесело. А на следующий день я пошел в редакцию. Редактора не было на месте, но мне сказали, что он скоро придет. Я просматривал свежий номер газеты в приемной, когда вдруг по наступившей тишине почувствовал, что вошел редактор. Я сразу встал.

- А, Левонян, вернулся? – протянул мне руку Сарьян, - входи, входи, посмотрим, с какими новостями ты приехал из столицы.

В кабинете он извинился и, будто между делом, но явно взволнованный, позвонил в несколько мест, а потом, не в силах ответить на какой-то внутренний вопрос, пожал плечами, положил локти на стол и, подперев голову кулаками, спросил:

- Ну, рассказывай, что нового?

Я знал, что это его не интересует. Редактор был равнодушен к спорту, а московский праздник достаточно подробно освещался в газете. Тем не менее я стал рассказывать. Он время от

времени кивал, но я был уверен, что меня не слушает. Темно-синие глаза его неподвижно уставились в стену, а мысли, вероятно, были где-то далеко.

Я замолчал. Редактор шевельнулся, его явно беспокоила тишина:

- Дальше?

- Товарищ Сарьян, - спросил я, - вам сказали, чем кончилось дело с фельетоном?

Я ведь знал, что он честный человек. Он тихо вздохнул, рассердился, сразу покраснел, достал из кармана платок и стал нервно протирать стекла очков, рискуя сломать их.

- Сказали, ну и что?..

- Почему Везирына не отдали под суд?

Он снова глубоко вздохнул и спросил, продолжая внимательно изучать стекла очков:

- А разве мало, товарищ Левонян, что его сняли с работы и объявили партийный выговор?

- Сняли, - сказал я, язвительно добавив, - и тут же назначили начальником другого управления.

- А что, по-твоему, он не должен был больше работать?

- Но он совершил крупное уголовное преступление, обманывал государство. Помните, товарищ Сарьян, вы говорили...

- Говорил... Говорил... - редактор в смятении поднялся и стал тяжело ходить по комнате, сжав кулаки, - говорил и снова говорю. Но другие говорят другое, товарищ Левонян. Да, да. И эти другие намного выше и тебя, и меня по положению. Что делать?.. И потом, и потом мы же не боги, товарищ Левонян, есть вещи, с которыми приходится считаться...

А мне, действительно, казалось, что он бог.

Ему было не по себе. Я никогда не видел его в таком состоянии. Вначале он говорил не свои, чужие слова, и мучился от этого, потому что сердце подсказывало ему совсем другое. И сейчас, в минуту благородного негодования, он был искренен, но и мучился еще больше, думая, быть может, имеет ли право преподаватель говорить такие вещи своему студенту, если не так давно говорил ему совсем другое с высоты университетской кафедры.

Он шагал по кабинету взад-вперед, и мне было до слез больно видеть его страдания. Наверное, на свете нет ничего обиднее и грустнее, чем бессилие сильного человека. И я пожалел, что пришел в редакцию. Разве мало было того, что, наверное, впервые в жизни этому человеку пришлось перешагнуть через какие-то святыни, будучи не в состоянии сопротивляться кто знает каким могучим силам? И вот я пришел и по-глупому, безжалостно...

- Знаешь что, Левонян? – снова заговорил редактор, и голос его был ласков, почти нежен, - знаешь что, может, я даже не имел права говорить тебе... некоторые грустные истины, но увы, есть вещи, с которыми не можешь не считаться.

Он оправдывался, и мне от этого становилось еще хуже.

- Ну конечно, я понимаю, товарищ Сарьян, – от души пытаюсь успокоить его, сказал я.

- Это работа. Порой приходится уступать в чем-то, чтобы разрешить многие другие вопросы. Да, да, это так. И в конце концов что случилось? Правда, были махинации, но ведь эти махинации были разоблачены? Государству возмещен убыток. Был написан фельетон, человек был разоблачен и передан суду общества. Это тоже немало.

- Конечно, – покорно согласился я.

- Ты обратил внимание, что мы до сих пор не поместили ни строчки в разделе “По следам наших выступлений”, потому что совсем не согласны с результатами? Но они... Большого, наверное, невозможно было сделать.

- Ну конечно, - тихо сказал я.

Я вдруг вздрогнул, услышав возглас редактора:

- Что “конечно, конечно”? Нет здесь никакого “конечно”! Так не должно быть! Мне будет очень горько, если вы будете такими. Вы должны говорить – нет! Мы сделали немало, но вы должны сделать намного больше. Мы прошли через трудные времена. Мы видели войну... И потом, и потом мы сыновья батраков, угнетенных, и эта проклятая угнетенность сидит, наверное, в нашей крови. А вы - наши потомки, поймите это. Вы должны быть еще лучше, еще сильнее!..

Он дрожащей рукой надел очки, строго посмотрел на меня, сел за письменный стол и сказал подчеркнuto грубым голосом:

- Заговорились. Ну когда-нибудь это должно было быть. И хватит. У тебя есть еще что-нибудь?..

Но я уже не мог говорить ни о чем. Я должен был все обдумать. Потом сразу вспомнил свою вчерашнюю встречу с заведующим сельхозотделом радио. Он сказал, что в Шамшадине открылось место собственного корреспондента, и он может послать меня туда. Тогда я дал уклончивый ответ, потому что ждал, что скажет Сарьян. Но сейчас я ни за что не хотел бы заставлять его говорить об этом. Нет, хватит!

- Товарищ Сарьян, - сказал я, - честно говоря, я пришел проститься. Не хотел уезжать, не повидав вас.

- Почему? Куда ты едешь? – удивился он.

- В Шамшадин. Корреспондентом радио. Уже оформлен, - добавил я.

Он взгрустнул, потом обрадовался и снова взгрустнул оттого, что я понял его состояние, и разозлился, что он в таком состоянии, и, как всегда в минуты гнева, лицо его покраснело:

- Нет, – сказал он вдруг, решительно ударив кулаком по столу, разъяренный и взбешенный; – нет! Ты никуда не поедешь. Довольно. Ты должен работать здесь. Да! Мне нужно немного времени, совсем немного. Потом мы поговорим. Я им скажу, что...

- Не нужно, товарищ Сарьян, я очень прошу, – сказал я, – неудобно, меня уже приняли. И потом, я сам хочу ехать. Весь наш выпуск разъехался по районам, и будет некрасиво, если я останусь. Кроме того, я еду на свою родину. Большое спасибо вам за все... Большое спасибо...

Я выпалил все это одним духом и сейчас стоял перед ним, протянув руку для прощания.

Сарьян несколько секунд молча смотрел на меня, потом покачал головой и встал с места:

- Ну ладно, пусть будет так. Поработай пока. В конце концов, мы все начинали так, сынок...

- И что сказал редактор? – спрашивает Бабкен.

- Он отличный человек, Бабкен, – говорю я.

Входит мама и на сей раз ведет Нанар за руку к чемодану.

- Этот мешочек, на котором буква “Н”, отдашь моей сестре Ноемзар, а этот, где “В” – Варсеник, не спутай, доченька.

- Не спутает, не спутает, грамотная, – смеется Седа, закрывая последний чемодан.

- Говоришь, да... – И в ту же секунду, почувствовав, вероятно, с щелчком замка, что подготовка окончена и мы вот-вот уедем, мама вдруг обнимает Нанар, целует ее и всхлипывает. – Доверяю сына тебе, – говорит она неуверенным, обидчивым, дрожащим голосом, – хорошенько присматривай, да!..

- Ну, ну, – сердится отец, – на дорогу не плачут, – и кашляет, кашляет, вытирая слезы, и говорит недовольно, сквозь кашель, – этот кашель меня в могилу сведет.

Что делать, постарели мои родители.

... На автостанции к нам подходят Манук и Нвард.

- Ничего себе, поспешаете, – издевается Манук, – автобус сейчас тронется.

Мы быстро подходим к автобусу. Из окон, со светом и пеленой далеких дорог в глазах, смотрят вниз пассажиры, смотрят с ласковым сочувствием и гордостью. Им уже нечего делать внизу, с шагающими по своим делам людьми, они почти в пути. Водитель, поигрывая ключами, стоит в дверях и уговаривает штурмующих автобус граждан.

- Не могу, душа моя, все билеты проданы, у тебя есть место, есть билет – тогда, пожалуйста! А так не могу...

Нанар и Нвард обнялись, и я говорю Мануку:

- Ну, счастливо оставаться, для свадебного путешествия сейчас очень рекомендуют Шамшадин. Мы ждем.

Манук смеется.

- Нет, у меня пока голова кругом. Вчера вызвали, хотят избрать судьей. Все из-за того дела, – подмигивает Манук, – лишь бы я оставил их в покое. Но не верь!.. Пока не сделают министром, не оставляю. А ты езжай, братец, езжай, чтоб вернуться. Если я не ошибаюсь, Давид Сасунский с определенной целью добирался аж до Диарбекира.

Мы обнимаемся, толкаем друг друга и снова обнимаемся. Тяжело, очень тяжело мне будет без них.

- Нанар, пошли, Нанар!

Мы, извиняясь, пробираемся сквозь толпу собравшихся, и поигрывающий ключами человек спрашивает нас, как спрашивал у всех:

- У вас место есть? Место!

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПУТЬ НА СВЕТЕ

- Внимание! Внимание! Через десять минут с республиканского стадиона будет дан старт марафонского бега. Участники совершат круг почета, а затем продолжат соревнование на пригородном шоссе.

Ожидалась очень важная футбольная встреча. Стадион был переполнен, и хриплый голос диктора то появлялся, то исчезал в гвалте болельщиков, подобно лодке в бушующем море. Очень важная ожидалась футбольная встреча, и поэтому немногие обращали внимание на полуобнаженных людей, которые в волнении ходили взад-вперед на беговой дорожке. А они достойны были большего внимания. Они должны были пробежать сорок два километра и еще несколько сотен метров, потому что в свое время столько пробежал их древнегреческий предшественник. Марафонцы были великолепны в своих спортивных формах. Белоснежные рубашки подчеркивали смуглую мускулистость их рук и сильные шеи. Их ноги дрожали от волнения, как у готовящихся к прыжку скакунов. Они несли в себе тайну силы и красоты и напоминали древних богов.

Оркестр заиграл марш, и древние боги мирно и дружно двинулись вперед по беговой дорожке. Они бежали спокойно и легко, высоко поднимая головы. Они смотрели вперед, и им не было никакого дела до шумящей вокруг толпы. У них была цель, и каждый из них был уверен, что достигнет своей цели. А иначе как можно выходить в путь длиной в сорок два километра и еще несколько метров. И когда одетая в белое группа марафонцев, совершив круг, исчезла, мне вдруг показалось, что это белые голуби, и я запустил их с плоской крыши сарая Тиграна-ахпара.

... Голуби летели, подымались ввысь, прочерчивали белые линии в синеве неба, сверкали под солнцем своими снежно-белыми крыльями. А я ложился на плоскую позеленевшую крышу сарая Тиграна-ахпара и, полузакрыв глаза, следил за их красивым полетом, запуская в небо вместе с голубями свои мечты.

Если на втором круге первый голубь отстанет, загадывал я, то завтра я получу на контрольной “отлично”. Если сизарь перевернется пять раз подряд – придет письмо от Мелика. Если сейчас, на этом повороте, стая развернется и верхний голубь станет вожаком, папа купит мне велосипед. Если за три следующих круга хоть один из голубей оторвется от стаи, я умру в этом году. И кружились, кружились в небе мои призрачные детские заботы и мечты, то безнадежно сгущаясь, то светлея. И быстро, тревожно билось сердце за каждого взлетевшего в небо голубя.

И вдруг я почувствовал, что эта очень важная футбольная игра меня совсем не волнует. Толпа, затаив дыхание, следила за красным кожаным мячом. А я думал о тех, что только что исчезли в своих белых формах, торжественно и легко, подобно белым голубям, взлетевшим с пыльной и

плоской крыши Тигран-ахпарового сарая. И унесли с собой мои мечты и счастье. Я поставил на них самый большой заклад, все свое богатство без всякого остатка.

И хоть я не знаю, выиграю или нет, но знаю, что не буду роптать на судьбу. Не буду роптать, что бы ни случилось. Потому что все свое достояние я поставил на всех вместе и на каждого в отдельности. Я буду с каждым из них, в каждом из них. Я знаю, что такое марафон. Это самый трудный путь на свете, но все невольно участвуют в нем. И хоть все начинают его в белой одежде, торжественным легким бегом, уверенные в своей победе, но побеждают немногие. А зачастую не побеждает никто. Победит ли сегодня хоть кто-нибудь из них, хоть одно из моих мечтаний пройдет ли почетный круг? Не знаю. Но я с ними. Они – это я. И получивший травму, вышедший из соревнований, и потерявший надежду, делающий последние шаги, и тот, кто упал у финиша, и тот, кто еще продолжает бежать. И хоть бежит уже не в ослепительно белой одежде, не так быстро и легко, как раньше, но бежит...

СТАРАЯ БОЛЬ И ТОСКА	2
АХ, НАТАША, НАТАША.....	9
В МИРЕ “ЧУТО”	13
РАДОСТНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ.....	20
ИДУ ОСВОБОЖДАТЬ	24
КАК МОЖНО НЕ ВЕРИТЬ?.....	32
ВОЛОСАТАЯ РУКА.....	42
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ТОВАРИЩ САРЬЯН?	48
МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ	53
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО НАШИ	58
ЧУДЕСНЫЙ ПЕРСИК ИЗ ЧЕРНОЙ ВОДЫ.....	66
ПО УЗКОЙ КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ	71
АХ, ЭТА РАНДЖАНА ДЖАТРА!.....	76
НЕЖДАННЫЙ ВИЗИТЕР	84
ПРОСТИТЕ, ДО СВИДАНИЯ, СПАСИБО	92
НАЧИНАЮ УЗНАВАТЬ ЛЮДЕЙ.....	96
ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ	101
МОЖЕТ, НАМ ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ	116
СУМАСШЕДШАЯ ВЕСНА	122
СЕГОДНЯ НАША СВАДЬБА.....	130
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, БРОДЯГИ!	148
РЕПЕТИЦИЯ ПРАЗДНИКА	155
НЕОБХОДИМО ОПРАВДАТЬСЯ.....	161
САМЫЙ ЗАСТЕНЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ	169
ПО ЗАКОНУ КУКОЛ.....	174

ГИБЕЛЬ СТАРОГО ГОРОДА	181
МЫ – ГРУЗЧИКИ	192
НЕ ДАЮТ, НЕ ДАЮТ... ..	207
МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ	213
САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПУТЬ НА СВЕТЕ.....	221